

ЛЕХАИМ N 4 (216)

АПРЕЛЬ 2010г.

НИСАН 5770г.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

Сознание, определяющее бытие

Составители Йосеф Гинзбург и Герман Брановер



Существование Б-га

Упрек

18 сивана 5719 <24 июня 1959>

В продолжение моего предыдущего письма, где я отвечал на Ваш прямой вопрос: «Существуют ли убедительные доказательства существования Творца, которые могли бы убедить нас, скептиков, не оставив в этом ни малейших сомнений», я счел необходимым добавить несколько строк, желая быть правильно понятым.

В предыдущем письме я ограничился рамками, обозначенными Вами в самом вопросе, то есть доказательством, не оставляющим ни «малейших сомнений». Очевидно, Вы ждали ответа, построенного на рациональной, логической основе.

Но, само собой разумеется, что этот подход не может удовлетворить меня по двум причинам: а) в целом эмоциональное и духовное восприятие значат больше, чем интеллектуальное постижение; б) для евреев, чей разум – только «одежда души» (как объяснял Алтер Ребе, автор «Таньи» и «Шульхан аруха») и чья душа есть «в буквальном смысле часть Б-га», призыв к человеческой душе намного сильнее, и необязательно осуществляется через разум.

Тем не менее я не хотел затрагивать эту тему в своем первом письме, исходя, как я уже сказал, из самой формулировки Вашего вопроса. Более того, я намеренно желал исключить любую возможность ошибочного прочтения, когда само содержание письма оказалось бы недостаточным или же его аргументы могли быть опровергнуты логикой. Поэтому посылаю Вам еще одно письмо, в продолжение предыдущего.

Нет нужды еще раз подчеркивать, что я отвечаю на вопросы в соответствии с предполагаемым статусом евреев, – то есть, сколь бы рациональным ни был их подход, они верят в истину праведности и правосудия. И эта вера так сильна, что они способны жертвовать, в частности и собственной жизнью, во имя праведности и правосудия, во имя помощи другому. Особенно это относится к тем случаям, когда в помощи нуждается не отдельный человек, а большая (в количественном и качественном смысле) группа людей.

Иов современной еврейской молодежи

Теперь, после того, как требования и ограничения, наложенные Вашим вопросом, сняты, я позволю себе по-дружески Вам заметить:

По Вашему письму-вопросу я вижу, что Вы еще молоды – по крайней мере, юношески энергичны. Вы молоды и в том смысле, что желаете и способны восставать против мнения большинства – если убеждены, что это правильно, – и бросаться из одной крайности в другую.

Разумеется, Вы не забыли, предаваясь размышлениям о нынешнем мире, что случилось с нашим народом в недавние годы, во время Катастрофы. Миллионы людей погибли во время войны, и это возлагает на нас новые обязанности, которые раньше отсутствовали или же были минимальны.

Еще один момент. Неразбериха и стирание граней не только не уменьшились в наше время, но, напротив, усилились до пугающих размеров – до такой степени, что заставили десятки тысяч людей принять тьму за свет и горечь за сладость!

В такое время призыв к душе каждого отдельного человека должен исходить от всех, кто стоит на «передовой линии» и трудится во имя исполнения своей миссии – не только исполняя персональный долг, но и заменяя самых энергичных и лучших представителей нашего народа, исчезнувших в Катастрофе. Это должна быть битва не только против смещения ценностей и шараханья из стороны в сторону, но и за распространение вечных ценностей нашего народа, со всей силой и энергией молодости, – пока каждый из вас не станет искрой, воспламеняющей души вокруг себя. Есть ли сейчас время для академических дискуссий?.. Пока мы упускаем дни, недели, годы. Это невосстановимые потери! Возможности, которые уже нельзя реализовать!

И если это требование обращено к каждому человеку, то насколько же оно актуальнее для подростков и молодежи! Ведь совершенно понятно, что для нового поколения, молодого поколения, слова ободрения и поддержки от других людей их возраста значат гораздо больше, чем увещевания старших, и принимают их куда охотнее.

Я уже говорил, что не хотел бы здесь вступать в дискуссию о логических доказательствах, применительно к вечным ценностям еврейского народа, новым задачам и миссиям. Надеюсь, Вы признаете их, если откроете книгу еврейской истории, которая длится тысячи лет. Это история кровопролитий, гонений, гнета, каких не знал ни один другой народ, ни одна религия. Задумавшись о еврейской истории, Вы обнаружите систему ценностей, хранимую многими поколениями и оставшуюся неизменной до сегодняшнего дня.

Это не вопрос логической аргументации, поскольку реальные события и происшествия – свидетельства ясные и неоспоримые. Ни язык общения, ни манера одеваться, ни внешняя культура или образ жизни, ни этническая или экономическая

модель не представляют собой вечных и непреходящих ценностей. Все это подвержено радикальным изменениям, от эпохи к эпохе, от страны к стране. Неизменны везде и всегда только живая Тора и практические мицвот повседневной жизни. «Сильный Исроэля не солжет».

Дай Б-г, чтобы эти несколько строк укрепили Ваши внутренние силы, которые есть в душе каждого еврея, чтобы разбудили их ко все большей активности. Если у Вас есть потребность в награде – хотя духовное удовлетворение будет Вашей величайшей наградой, Творец и Повелитель Вселенной несомненно вознаградит Вас в Ваших личных делах, каждого в соответствии с его индивидуальными потребностями и ситуацией.

С уважением и благословениями на добрые вести.

Вера и справедливость

Песах Шени, 5723 <8 мая 1963>

Отвечаю на Ваше письмо, в котором Вы задали несколько вопросов относительно веры и религии. В начале письма Вы предупредили, что не верите в Б-га, Г-споди сохрани, поскольку не уверены, существует ли Он.

Можете себе представить, насколько я был изумлен этим «заявлением», хотя такая постановка проблемы, к сожалению, типична для молодых людей. Сомневаться в существовании Б-га может лишь человек, совершенно лишенный здравого смысла (тем более что ответ на этот вопрос приводится во многих книгах и общедоступен). Только из-за чрезвычайной простоты этого факта некоторые люди отказываются принять его.

Это все равно, как если бы кто-то заглянул в книгу, написанную на высоком интеллектуальном уровне, и заявил, что не верит в способность человека написать такую книгу, напечатать ее и переплести. Он не верит, – поскольку об этом ничто не свидетельствует, – в существование автора и наборщика, которые умно и умело выполнили свою работу.

Правда состоит в том, что такое сравнение уместно даже в том случае, если в книге лишь несколько страниц; но насколько же оно верно в отношении нашего мира в целом! И прежде всего современная наука, которая обнаруживает в мире, в самых разных его аспектах, удивительный порядок и каждый день открывает новую гармонию, согласованность, поражающие всех, кто занят научным поиском.

Следует заметить, что все это не только вселяет уверенность в существование Творца, но и убеждает, что Его разум и способности несравненно выше, чем любой разум и талант во Вселенной.

Сказанное уже содержит в себе ключ к ответу на все вопросы, поднятые в Вашем письме: вопросы о том, как устроен мир, надлежит ставить совершенно иначе и Вам, и любому другому человеку.



В Музее Холокоста города Скоки, штат Иллинойс, США. 1994 год

Эти вопросы, очевидно, развивают логику предыдущего: если Вы не понимаете, почему вещи таковы как они есть, то для Вас это означает, что Творца и Г-спода Вселенной не существует. <...>

Между прочим, – а возможно, и не между прочим, – кто может гарантировать, что люди поведут себя праведно, не веруя в высшую силу?

В предыдущих поколениях еще верили (я подчеркиваю это слово, ибо это была не более чем вера), что в душе человека существует естественная склонность к праведности, из чего следует, что человеку не нужно верить в Творца, который велит людям действовать определенным образом. В соответствии с логикой такой веры, если человеку присуща внутренняя целостность, его внутреннее нравственное чувство не обязательно должно апеллировать к Б-жьему наказу о том, что нашу волю, желания и рационально обоснованные ценности необходимо контролировать. Но то, что произошло при жизни нашего поколения, самым болезненным и решительным образом отвергло такую логику как совершенно несостоятельную.

Тот самый народ, который дал миру многих великих философов, проложивших пути самым разным направлениям мысли (и в том числе создавших этические системы), а также крупнейших ученых, – именно этот народ, с его десятками миллионов граждан, уничтожил миллионы мужчин, женщин и детей, что нельзя оправдать ничем. Только власть и чувство превосходства побуждали к истреблению людей. По сути дела, вожди нации «освятили» свои действия, заручившись одобрением ученых и университетских профессоров, включая даже создателей философских и этических систем, – одобрением полным и безоговорочным.

Конечно, мне известно, что отдельные представители народа выражали несогласие со всем этим. Но их было так мало в сравнении с сотнями профессоров и ученых, ставшими идеологами Третьего рейха!

Хотя все это написано в ответ на Ваше письмо, я совсем не убежден, что Вы, как утверждали, не верите в Б-га, Б-же сохрани! Мало того, я уверен, что Вы и сами в это не верите. Доказывается это следующим образом: Вы пишете, что, когда видите несправедливость или вспоминаете о Катастрофе^[1], осуществленном Гитлером, да будет имя его стерто, то это тревожит Вас. Но если бы, в самом деле, не существовало Властителя и Творца мира, то никого не удивляло бы, что происходят вещи,

противоречащие справедливости и морали. Какие основания у человека ожидать в таком мире чего-либо иного, кроме «закона джунглей», по которому сильный убивает слабого?

Этот вопрос применим не только к таким исключительным явлениям, как Катастрофа. Даже в том, что мы называем нашей «повседневной» жизнью, всякое нечестное, несправедливое действие тревожит нас, и мы хотим, чтобы оно никогда не повторялось. Ясно, что от неодушевленной материи или даже животных нельзя ожидать честности и справедливости. То, что эти события беспокоят нас, свидетельствует о нашей связи с чем-то более высоким, чем минеральное, растительное и животное царство, и даже люди. Это «что-то» есть в душе каждого человека. Это залог нашей уверенности в том, что в мире воцарится справедливость и люди будут вести себя достойно. Вот почему, видя нечто неподобающее, мы не ищем причин случившегося.

В завершение – о том, что Вы написали в начале письма. Надеюсь, как консультант молодежного движения, Вы хорошо понимаете, что на Вас лежит ответственность направлять Ваших подопечных по пути справедливости и праведности? Этот путь, как мы уже говорили, верный, даже если наши воля и желание не соответствуют ему. И он может продолжаться, только если основан на вере в Живого Б-га, который даровал нам Тору Жизни и велел соблюдать мицвот: «правопорядки Мои, которые будет исполнять человек, и жизнь обретет ими». И если на лидере всегда лежит огромная ответственность, то еще большая ответственность лежит на молодежном лидере! Любое позитивное изменение или (Б-же сохрани!) искривление мировоззрения у молодого человека, даже самое незначительное, может оказать на него решающее влияние в процессе взросления и обретения независимости.

Разумеется, если у Вас есть что сказать по поводу моего письма, пишите откровенно, без всякого смущения. Хотя перед Вами стоит задача и цель более важная, чем все эти вопросы и ответы, – вести молодежь по пути нашей веры и вечных ценностей, Торы и мицвот, ибо только в них и через них можно прожить настоящую жизнь.

[1] К вопросу о том, «может ли Судья мира быть ответственным за несправедливость», применительно к Катастрофе, см.: Ликутей Сихот, т. 33, с. 255, 260; Эмуна у-мада, с. 115. Это ответ Ребе на реакцию, вызванную тем, что он написал на эту тему в Ликутей Сихот, т. 21, с. 397.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

МОШИАХ НУЖЕН СЕЙЧАС!

Берл Лазар

Есть известный анекдот про бедного еврея, который все никак не мог найти работу. В конце концов жители местечка пожалели его и придумали ему дело: посадили у ворот и велели сторожить приход Машиаха: как только Машиах появится, нужно сразу трубить, чтобы все евреи успели подготовиться и встретить его как следует. Бедняк был доволен: «Жалованье, конечно, небольшое, зато работы хватит на долгие годы...»



Как и всякий анекдот, этот отражает важные вещи, преломляя их в зеркале самоиронии, столь свойственной нашему народу. К сожалению, большинство евреев относится к приходу Машиаха, как тот бедняк-безработный. Да, мы молимся о его приходе каждый день, – но для многих эта цель выглядит как красивая легенда или фантазия из далекого будущего. Две тысячи лет ждали Машиаха, подождем и еще, говорят такие люди.

В тяжелые времена, когда на наш народ обрушивались страшные беды, жажда прихода Машиаха носила совершенно иной характер. Находясь среди множества опасностей, видя перед собой смертельные угрозы, еврей не может не просить Б-га, чтобы скорее послал Машиаха, послал спасение. Но стоит опасностям миновать, а угрозам отступить, как множество людей возвращаются к повседневной жизни с ее рутиной, ее мелкими заботами и проблемами, решаемыми каждый день, – и вновь Машиах становится мечтой, приятной, но, если можно так сказать, не слишком актуальной.

На этот счет еще есть история. В один город пришел знаменитый магид, собрал людей в синагоге и принялся объяснять, как правильно молиться, чтобы Машиах пришел прямо сейчас. Один еврей, вернувшись домой, поделился своими впечатлениями с женой. А та ему говорит: какое сейчас время для Машиаха?! Мы только-только наладили хозяйство, бизнес пошел на лад, а тут Машиах, надо все бросать и идти в Иерусалим! Еврей призадумался, просит у магида совета. Объясни жене, что с приходом Машиаха закончатся все беды, говорит магид. А то сегодня у вас все хорошо, а завтра, не дай Б-г, погром, с чем вы останетесь? Еврей возвращается к жене, пугает ее погромом, но женщина остается при своем: если Машиах такой сильный, что разом может избавить от

бед, пусть разберется с погромщиками, а мы останемся в галуте, при своем процветающем хозяйстве...

Конечно, в нашем народе всегда были праведники, которые ждали Машиаха каждый день и каждый день своими добрыми делами старались приблизить его приход. Был один знаменитый раввин, который каждый вечер, ложась спать, раскладывал рядом с кроватью праздничную одежду. А вдруг ночью придет Машиах? – с надеждой говорил он. Я смогу тогда быстро одеться и принять его с почестями.

В нашем поколении таким праведником, приближавшим приход Машиаха, был Любавичский Ребе. Каждое свое выступление он заканчивал словами, что Машиах вот-вот придет. Всех своих учеников и последователей он учил верить в то, что Машиах уже на пороге, и вести себя так, чтобы он мог этот порог переступить...

Эта вера всегда была у нас. Одна из 13 основ иудаизма гласит: «Верую полностью в приход Машиаха, и если он мешкает, буду ждать его каждый день». Иными словами, еврей обязан верить в то, что Машиах действительно вот-вот придет. Эту веру призваны усилить наши ежедневные молитвы. Приведу лишь один пример: «Потомка Давида, раба Твоего, поскорее возрасти и возвысь его поддержкой Своей: ведь мы надеемся постоянно, что Ты спасешь нас». Здесь «потомок Давида» – именно Машиах, которого мы призываем прийти скорее.

Один из мудрецов нашего народа, известный законоучитель рав Хида, разъясняет, почему мы должны просить Б-га послать нам Машиаха как можно скорей. Этой молитвой, этой верой, этой постоянной мыслью о Машиахе мы действительно приближаем его приход. Вера народа творит чудеса. Наша история полна таких примеров: даже в Торе сказано, что евреи вышли из египетского рабства «благодаря вере своей». Точно так же наша вера позволит прийти Машиаху и принести избавление.

Возможно, меня спросят, почему так важно, чтобы Машиах пришел именно сейчас? Ответ прост: потому что мера опасностей и угроз в мире возросла многократно. Может быть, мы в России сегодня это ощущаем меньше, поскольку ситуация у нас стабильная и евреям живется хорошо. Но в то же время огромные регионы страдают от терроризма, оружие массового уничтожения попадает в руки экстремистских режимов, вдобавок по всей земле увеличивается число природных и техногенных катастроф, в которых гибнут сотни и тысячи людей!

Написано, что галут подобен беременности, а избавление – родам: плод должен провести девять месяцев во чреве и только потом выбраться на свет. Самый последний период перед родами – самый тяжелый, его так и называют – «родовые муки». Точно так же тяжел последний период перед избавлением: на нашем святом языке он так и называется – «муки перед приходом Машиаха». Потрясения, которые каждый день мы видим в той или иной стране мира, – это как раз и есть беды и испытания, которые миру суждено пережить перед избавлением.

Подобно тому как плод хочет родиться и вызывает схватки у роженицы, Машиах рвется прийти к нам. И Б-г этого хочет. Но чтобы это сбылось, мы сами должны приложить усилия – здесь и сейчас. Недостаточно ждать прихода Машиаха: раз он нам необходим, мы должны призывать его, думать о нем, просить Б-га раскрыть двери для его прихода. Это наш долг перед собственным народом, перед нашими детьми и внуками, перед всем миром.

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ МИРА

Адин Штейнзальц

Люди удостоились получить из рук Самого Творца ключи от мира: право использовать дарованную им свободу воли как во благо, так и во зло. Именно их дела, помыслы, образ жизни определяют развитие всего, что их окружает, и их собственного внутреннего мира. На первый взгляд нет ничего проще: если мы практически всемогущи, давайте сделаем мир таким, чтобы все были счастливы!

Желание усовершенствовать мир

Но до такого мира мы, увы, еще не доросли, несмотря на весьма почтенный возраст человечества. Каждому из нас достаточно посмотреть вокруг, чтобы увидеть: мир наш развален и испорчен, отдан во власть жестокосердых и деспотичных правителей с нечистыми помыслами. Мы так и не научились пользоваться ключами от него, вверенными нашему попечению. Живая вода оказалась мертвой. В разные времена, в разных странах, даже в относительно благополучные эпохи были распространены пессимистические воззрения, рассматривавшие зло как необходимую предпосылку бытия: как результат непрекращающейся борьбы богов между собой или как неизбежное следствие самого существования человека.

Однако стремление жить в мире, где царят порядок и изобилие, существовало и существует – в каждом из нас, во все времена, в любой культуре. При этом оно воплощается по-разному: меняются лозунги, способы и средства для его осуществления – да и сами люди.

В противовес пессимистическому взгляду на мир, рассматривающему зло как непреложную норму, стремление исправить мир стало одной из основных естественных составляющих коллективной души еврейского народа. Мир не только не плох – он совершенен и хорош, ибо создан Источником абсолютного добра. Эта идея нашла выражение в словах последнего из пророков: «Разве не один Отец для всех, разве не один Б-г нас создал, почему должен предавать человек брата своего?..» (Малахи, 2:10). Иудаизм считает, что зло в мире – прямое следствие человеческой деятельности и забвения моральных норм в процессе ее: «...жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие, так избери же жизнь...» (Дварим, 30:19). Поэтому иудаизм был первым мировоззрением, четко обозначившим цель – усовершенствование мира через исправление человека. Под влиянием иудаизма другие этические системы и религии, как древние, так и современные, приняли эту цель как свою.

Почему из попыток усовершенствовать мир ничего не выходит

Стремление к исправлению мира характерно тем, что все попытки такого рода завершаются неудачей по одним и тем же причинам, какими бы эпохальными и значительными эти попытки ни представлялись, какое бы влияние ни оказывали не только на свое время, но и на исторический процесс в целом. Проиллюстрируем сказанное двумя примерами.

В 1789 году народ Франции предпринял попытку свергнуть монархический строй и учредить республику, основными приоритетами которой стали бы «свобода,

равенство и братство». Предполагалось, что эта республика послужит примером для других европейских стран и всего мира. Однако наивные революционеры лишь проторили дорогу Робеспьеру и его сподвижникам, которые установили диктатуру. Под грохот гильотин Франция погружалась в хаос и, захлебываясь в крови, отчуждалась от внешнего мира.

То же произошло и в России в 1917 году после Октябрьского переворота. Большевики обещали свободу рабочим и землю крестьянам. Якобы для осуществления этих задач была введена диктатура пролетариата, превосходившая беспрецедентным насилием и зверской жестокостью все известные до тех пор формы государственной власти. Карательная деятельность «органов безопасности», массовые репрессии и расстрелы, создание системы «исправительно-трудовых лагерей», опоясавших всю страну, тотальное подавление гражданских свобод, внедрение повальной слежки и поощрение доноительства – таковы наиболее характерные черты советской действительности.

Кардинальные перемены, которые, как декларировалось, приведут к позитивным изменениям общества и будут иметь непреходящее историческое значение, обернулись новыми проблемами, куда более серьезными, чем те, что предполагалось решить.

Даже поверхностный анализ катастрофических последствий двух названных революций указывает на постоянно действующие факторы, которые всегда приводят к одним и тем же результатам.

Во-первых, любые изменения необходимо проводить поэтапно, шаг за шагом, а это значит, что нужен переходный период, во время которого сложившееся положение вещей неприемлемо ни для кого. Однако многие во Франции полагали, что, как только свергнут монархию, наступит светлое будущее. Эти люди приняли минутные посулы переходного периода за начало эры всеобщего благоденствия, не осознав того, что для достижения поставленных высоких целей у них нет ни базы, ни средств, ни навыков. Между возможностями (как экономическими, так и политическими) и устремлениями разверзлась пропасть, и в нее хлынули потоки крови: те, кто провозглашал до революции лозунг «Свобода, равенство и братство», повсеместно насаждали диктатуру и террор.

Аналогичная ситуация сложилась и в России, где была предпринята попытка радикально изменить общественное устройство. Между предшествовавшим этому периодом и той фазой, когда появляются предпосылки для воплощения мечты в реальность, был необходим переходный, кризисный период. Однако принципиальная невозможность осуществления целей, поставленных большевиками, привела к всеобщему смятению и разочарованию, кровавому насилию и массовым казням без суда и следствия, тогда как сами руководители большевистской партии, возможно, изначально и не были кровожадными людьми. И эта попытка немедленно воплотить идеалы в жизнь окончилась неудачей.

Однако закономерность кризиса переходного периода – лишь внешняя сторона явления; суть его гораздо глубже. Речь идет о необходимости компромисса, без которого не может обойтись ни один общественный строй. Нормальное существование общества, спокойствие и безопасность людей обеспечиваются лишь в том случае, когда каждый готов поступиться ради всеобщего блага хотя бы толикой своих желаний и потребностей. И поскольку воплощение в жизнь всех наших устремлений и реализация всех наших

амбиций в принципе недостижимы, эта уступка обязательна при любом строе и в любом сообществе.

Обычно компромисс, а если необходимо, то и покорность, подчинение достигаются посредством воздействия – силового, морального или социального, – что вызывает порой негодование части граждан, особенно если от разных групп населения требуют неодинаковых уступок. И с отменой старой системы взаимных уступок при преобразовании общества в новых условиях должна быть создана новая система компромиссов (причем нова она лишь по отношению к той системе, которую сменила). Иными словами, любая реформа, вправляющая вывихи прошлого, обязательно приводит к новым травмам, поскольку в новом раскладе взаимных компромиссов каждый должен вновь чем-то поступиться. А так как дополнительные проблемы не нужны никому, необходимость чем-то поступаться приводит к очередной революционной ситуации.

Таким образом, мы находим две наиболее существенные причины, из-за которых все благие начинания по переустройству общества завершаются полным провалом. Во-первых, в процессе перестройки необходим переходный период, который вследствие неизбежных противоречий, возникающих между желаниями, с одной стороны, и возможностью их осуществления – с другой, непременно приводит к очередному кризису. Во-вторых, всякое общество основано на системе компромиссов, и общественные преобразования, даже самые радикальные, не способны устранить необходимость взаимных уступок. Но если и будет достигнута какая-то договоренность в отношении компромиссов, у людей, вынужденных согласиться на них, останется ощущение, что они обмануты и мир по-прежнему плох.



Свободные люди – работники кибуца Дганья. 1912 год

И будет установлена в мире власть Всемогущего...

Все, что сказано выше, приводит к выводу: успех или провал идеи об усовершенствовании мира зависит от воли человека. Поэтому прежде чем найти пути исправления мира, мы должны отыскать механизмы исправления человека. Духовное становление индивидуума или общества в целом – неизбежный первый этап в процессе исправления мира: ведь прежде чем вносить в него изменения, нужно подготовить людей к тому, чтобы они осознали их необходимость. Пока человек не убедился в этом и сопротивляется переменам, даже подсознательно, можно смело утверждать, что они повлекут за собой очередные кризисы. Но если у него созрела внутренняя готовность к определенному компромиссу, он не будет считать жертвой даже самую значительную уступку.

Приведем в пример коллективизацию, вызвавшую в Советской России неистовое сопротивление крестьянства и даже восстания. Только государственный террор дал возможность провести ее. В израильских же кибуцах более радикальное обобществление собственности прошло безболезненно и добровольно: те, кто шел в кибуц, делали это охотно и радостно, считая отказ от частной собственности средством для достижения своих идеалов.

Исправить человека – значит воспитать его. Однако воспитание не ограничивается тем, что людям прививают правила поведения и хорошего тона. Такая система, вполне подходящая для недобросовестных педагогов и основанная на давлении и принуждении, порождает показуху и лицемерие. Это приводит к тому, что воспитанники, всячески демонстрируя сознательность, возвращаются на стезю порока, как только исчезают контроль и угроза наказания. Напротив, цель настоящего воспитания – осуществление радикальных внутренних преобразований личности человека, подготовка его к тому, чтобы он научился совершенствоваться без посторонней помощи и принимал как должное неизбежные в разных областях жизни «переходные периоды» и компромиссы.



Свободный человек – ученик ешивы. Куба, Азербайджан. 2005 год

В сущности, большая часть известных в мире педагогических систем ограничивается тем, что учит прививать навыки благопристойного поведения в обществе, которое базируется на ценностях, общепринятых в определенном социальном слое в конкретный исторический период. Любая такая система, основанная на преходящих ценностях, порочна по своей природе и решительно непригодна в эпохи кризисов и глобальных перемен. Подлинное воспитание зиждется на абсолютных ценностях, не подверженных изменениям, и заключается в систематической и целенаправленной работе над внутренним миром человека, над его душевными качествами. Его цель – предельная концентрация духовных сил человека ради поисков абсолютной истины, постижение которой и есть для нас конечное благо. Такое воспитание, при условии истинно религиозного мировосприятия, категорически не приемлющего формы и средства, навязываемые светским окружением, угроз и общественного давления, помогает человеку проникнуть в суть вещей и различать добро и зло, лежащие в их основе. В тот момент, когда человек начинает выверять окружающий мир Абсолютным добром, – цель его религиозного образования достигнута.

Выше уже говорилось о том, что иудаизм признает существование в мире зла, побуждающего нас исправлять и усовершенствовать мироздание. На это, собственно, и направлено еврейское воспитание. Изменение самого себя – первый этап всех социальных, политических и экономических преобразований на пути к непреходящему совершенству мироздания под властью Всемогущего, к раскрытию Его абсолютного добра – истинной природы мира.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕАЛЫ РАББИ

ШИМОНА БАР ЙОХАЯ

Евгений Левин

По Талмуду, 18 ияра, или тридцать третий день отсчета омера (Лаг ба-омер), считается праздничной датой, поскольку в этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизни 24 тыс. учеников рабби Акивы. Однако эта дата также связана с именем другого выдающегося мудреца, рабби Шимона бар Йохая, который, как принято считать, скончался именно в Лаг ба-омер. Умирая, мудрец наказал ученикам отмечать годовщину своей смерти не трауром и слезами, а песнями и весельем. Поэтому ежегодно тысячи людей собираются в этот день на могиле рабби Шимона, на горе Мерон в Галилее, чтобы предаться там радости и пляскам.

О рабби Симоне бар Йохасе обычно вспоминают в контексте еврейской мистики – по традиции (которую, впрочем, яростно оспаривали не только светские ученые Шолем и Идель, но и многие почтенные раввины: Леон де Модена, Яков Эмден и др.), именно этот мудрец – автор основного произведения каббалистической литературы – мистического комментария к Торе, известного как Зоар («Книга Сияния»). Однако, на наш взгляд, не меньший интерес представляет религиозное мировоззрение рабби Шимона, о котором можно судить по его многочисленным высказываниям, приведенным в Талмуде и мидрашах.

Широко известно предание о том, как рабби Шимон и его сын рабби Эльзар много лет прятались в пещере, питаясь плодами рожкового дерева. Однако, возможно, не все помнят, почему рабби Шимону бар Йохаяю пришлось скрываться. А произошло это потому, что в одном разговоре мудрец не слишком почтительно высказался о тогдашних властителях Святой земли:

Сидели однажды за дружеской беседой рабби Йеуда, рабби Йосе и рабби Шимон. Тут же находился некий Йеуда бен Герим [то есть «потомок прозелитов»]. Разговор зашел о римлянах.

– Сколько хороших вещей устроено этим народом, – говорил рабби Йеуда, – обширные рынки, превосходные мосты, прекрасные бани.

Рабби Йосе промолчал. Рабби же Шимон возразил рабби Йеуде:

– Да, – сказал он, – устроить устроили, да только все это было сделано ими для собственной выгоды: устроили рынки – и насадили там непотребных женщин; бани – чтобы нежить свое тело; мосты – чтобы брать непомерный проездной налог.

(Шабат, 33б.)



Письмо Бар-Кохбе от Йешуа бен Галгулы, начальника лагеря. 131–135 годы н. э.

Подобные разговоры не остались для рабби Шимона без последствий – на него поступил донос от этого самого Йеуды бен Герим. Рабби Шимон скрылся, спасаясь от преследований римлян.

Весьма интересен исторический фон этой беседы. После того как восстание Бар-Кохбы было потоплено в крови, еврейское руководство отказалось от идеи вооруженной борьбы с Римом и взяло курс на «мирное сосуществование» с империей. Наиболее последовательно эту политику проводил впоследствии рабби Йеуда а-Наси, которому даже удалось установить личные доверительные отношения с императором. Однако Шимону бар Йохая, в отличие от других мудрецов, подобное примирение с захватчиками казалось совершенно недопустимым.

Чем же была вызвана нетерпимость рабби Шимона? На наш взгляд, здесь возможны два объяснения.

Прежде всего обратимся к биографии рабби Шимона. Подобно другим мудрецам своего поколения, свое «высшее религиозное образование» он начал в Явне, где учился сначала у раббана Гамлиэля, а затем у рабби Йешуа бен Хананьи. Однако главным его учителем стал впоследствии рабби Акива, у которого Шимон бар Йохай учился целых 13 лет.

Рабби Акива высоко ценил таланты рабби Шимона и считал его одним из лучших и ближайших учеников. Рабби Шимон бар Йохай тоже был весьма привязан к учителю и оставался с ним до конца. Когда рабби Акива был арестован, Шимон неоднократно навещал его в тюрьме, где учитель и ученик продолжали заниматься Торой. Поэтому логично предположить, что он присутствовал и при трагическом конце великого мудреца:

На казнь повели его как раз в тот час, когда читается молитва Шма. Железными гребнями терзали палачи тело рабби Акивы, а он, углубленный в чтение Шма, стоял, с покорностью и любовью принимая кару Б-жьёю.

– *Учитель! Учитель! – восклицали его ученики. – Где же мера твоему терпению?*

– Дети мои, – отвечал рабби Акива, – всю жизнь не давало мне покоя заповеданное нам: «И люби Г-спода всей душою твоею». Это значит: люби Г-спода даже в ту минуту, когда Он отнимает у тебя душу. «О, когда же, наконец, придется мне исполнить это?» – думал я. И вот сподобил меня Г-сподь осуществить мечту мою! Так мне ли теперь роптать против Г-спода?

И до тех пор звучало в устах его слово «Единый», пока не отлетела душа его.

(Брахот, 61а.)

Впрочем, даже если рабби Шимон и не присутствовал на казни любимого учителя, он несомненно стал свидетелем разорения Иудеи войсками императора Адриана. Скорее всего, именно под влиянием этого зрелища у него вырвались слова, столь полюбившиеся всем врагам еврейского народа, начиная с выкреста Николы Донина, процитировавшего их в ходе Парижского диспута: «Тов ше-бе-гоим – лехарига» (Софрим, 15:10 [букв.: «Лучший из неевреев – к убийству»]).

Антисемиты обычно переводят эти слова как призыв к действию: «Лучшего из гоев – убей». Этот перевод, безусловно, неверен: убийство неевреев, тем более «лучших» (то есть праведных), категорически запрещено еврейским законом. Поэтому Шимон бар Йохай, вероятно, имел в виду другое: став очевидцем кровавых гонений и массовых казней знатоков Торы, он пришел к неутешительному выводу, что даже от лучшего из неевреев (такого, как император Антоний, с которым впоследствии подружится рабби Йеуда а-Наси) еврею не следует ждать ничего хорошего.

Однако, на наш взгляд, возможно и другое объяснение: непримиримая ненависть Шимона бар Йохая к римским захватчикам связана не столько с их жестокостью, сколько с представлениями рабби Шимона о предназначении еврейского народа.

Согласно Талмуду, одна из обязанностей отца по отношению к сыну состоит в том, чтобы обучить его ремеслу, дабы он мог кормить себя трудом своих рук (Кидушин, 29а). Однако Шимон бар Йохай был решительно не согласен с этим. По его мнению, в идеале всему еврейскому народу без исключения не следовало заниматься ничем, кроме Торы. При этом, как утверждал рабби Шимон, другие народы взяли бы на себя удовлетворение материальных нужд Израиля.

Рабби Шимон бар Йохай говорил: если человек будет сеять в сезон сева, пахать в сезон пахоты, убирать урожай, когда приходит время его сбора, и веять, когда дует ветер, – где он возьмет время на Тору?! Нет, не так надо поступать. Ибо, когда евреи следуют воле Всевышнего, все работы за них выполняют неевреи, как сказано: «И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Г-спода – служителями Б-га нашего будут именовать вас» (Йешаяу, 61:5-6). Когда же евреи не повинуются воле Б-га, тогда им самим приходится делать все работы, как сказано: «И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой» (Дварим, 11:14).

(Брахот, 35б.)



Синагога на месте могилы рабби Шимона бар Йохая в Мероне. Фотография 1920–1930-х годов

Разумеется, картина, нарисованная рабби Шимоном, совершенно не вписывалась в привычную картину мира. Однако, по мнению рабби Шимона бар Йохая, Израиль подчинен обычным законам природы, только когда «не следует воле Всевышнего». Если же евреи, проявив достаточно веры, посвятят всю свою жизнь изучению Торы («последуют воле Всевышнего»), то эти законы потеряют над ними власть: евреям не надо будет заботиться о хлебе насущном, но другие народы возьмут эту заботу на себя. Иными словами, естественный порядок вещей был в глазах рабби Шимона бар Йохая своего рода наказанием, которое немедленно прекратится, если евреи проявят необходимые веру и упорство.

В связи с этим вполне понятна неприязнь рабби Шимона к римским завоевателям. В том, что Израиль находится под властью язычников, он видел, прежде всего, не национальное угнетение, но вопиющее нарушение идеального порядка, соответствующего, по его представлениям, воле Творца.

Как уже говорилось, жизнь рабби Шимона складывалась весьма непросто. В течение долгих лет ему приходилось скрываться от римских властей, что, разумеется, не слишком хорошо отразилось на его здоровье. Но еще более жестоко судьба обошлась с его политическими и духовными идеалами.

Как мы уже сказали, рабби Шимон скрывался от римских властей не один, а вместе с сыном Эльзаром. Шимон бар Йохай очень высоко ценил своего сына и даже говорил, что они вдвоем могут спасти весь мир (Шабат, 33б). Однако после смерти отца Эльзар предал его политические идеалы и пошел на службу в римскую полицию (Бава мецца, 83б). Еще печальнее оказалась судьба религиозного идеала рабби Шимона. Во-первых, большинство коллег решительно не согласилось с его мнением, что еврей не должен заниматься в жизни ничем, кроме изучения Торы. Даже ученики ешив считали, что обязаны совмещать учебу с работой, дабы иметь возможность содержать себя и свои семьи.

Сказал Абайе: многие следовали совету рабби Шимона бар Йохая, и не преуспели. Раба говорил студентам своей ешивы: не появляйтесь в ешиве в месяц нисан и в месяц тишрей [– время сева и сбора урожая], дабы вы могли содержать себя весь год.

(Брахот, 35б.)

А самое главное – согласно Талмуду, религиозный идеал рабби Шимона бар Йохая во все времена перед приходом Машиаха не был принят Самим Всевышним!

По истечении двенадцати лет пророк Элияу подошел ко входу в пещеру, в которой прятались рабби Шимон и его сын, и произнес: кто сказал бы сыну Йохая, что он амнистирован в связи со смертью императора? Шимон бар Йохай услышал это и вышел из пещеры. И если он видел, как еврей пахал или сеял, то восклицал: «И эти люди осмеливаются пренебрегать вечной жизнью ради жизни земной?!» – и испепелял этого человека взглядом. И тогда раздался бат коль [Небесный голос]: «Ты пришел, дабы разрушить Мой мир?! Убирайся обратно в пещеру!»

(Шабат, 33б-34а.)

Впрочем, согласно тому же рассказу, после вторичного пребывания в пещере рабби Шимон и сам осознал, что воплощение его идеалов в современном мире невозможно. Поэтому, выйдя второй раз на волю, он уже вел себя совершенно иначе: «Все, что рабби Эльзар разрушал, рабби Шимон исцелял» (Шабат, 33б-34а).

Как-то раз в канун субботы рабби Шимон и его сын Эльзар встретили старика, спешившего куда-то с двумя букетами из миртовых веток. Спрашивают они:

– Для чего, дедушка, собрал ты эти ветки?

– В честь субботы, – отвечает старичок.

– А не довольно ли одного букета?

– Нет: один – в ознаменование завета «Помни», другой – завета «Храни».

– Видишь, – сказал рабби Шимон сыну, – насколько дороги заповеди народу
Израиля!

(Шабат, 34б.)

Согласно Талмуду, после этого эпизода рабби Шимон окончательно примирился с тем, что жизнь евреев посвящена не только изучению Торы. И лишь от своих учеников он по-прежнему неукоснительно требовал, чтобы они учились, не отвлекаясь ни на какие мирские занятия.

Разумеется, это требовало от них колоссального самоотречения: занимаясь только Торой, трудно даже сводить концы с концами, а уж о богатстве и достатке и мечтать не приходится. Однако рабби Шимон не желал считаться с этим. В одном мидраше рассказано, что как-то один из учеников рабби Шимона отправился в чужие края и вернулся оттуда с большим богатством. Товарищи стали ему завидовать и тоже захотели отправиться на поиски счастья. Узнав об этом, рабби Шимон отвел учеников в долину близ деревни Мерон, где прочитал молитву и воскликнул:

– *Долина! Долина! Повелеваю тебе наполниться золотыми монетами!*

И вся долина начала покрываться золотыми динариями. Обратился рабби Шимон к ученикам и говорит:

– *Если золота хотите, то вот, перед вами оно, берите. Но знайте: берущий теперь получает это вместо доли своей в Грядущем мире, ибо награды Торы – только там, в Жизни Вечной.*

(Шмот раба, гл. 52.)

Более того: даже осознав, что весь еврейский народ не может жить одним лишь изучением Торы, рабби Шимон делал все возможное, чтобы хоть немного приблизить мир к своему идеалу. Так, после смерти императора Адриана, запретившего изучение Торы, он вместе с несколькими другими мудрецами отправился в Рим и стал одним из тех, кто настоял на том, чтобы преемник Адриана отменил этот указ, грозивший самому существованию еврейской религии (Мегила, 17а). После этого Шимон бар Йохай, вместе с другими учениками рабби Акивы, принял самое деятельное участие в восстановлении нормальной еврейской жизни, нарушенной римскими гонениями. Помимо всего прочего, он основал в Галилее ешиву, которая стала одним из центров возрожденного изучения Торы. Такие выдающиеся мудрецы, как патриарх Йеуда а-Наси и рабби Пинхас бен Яир были учениками этой ешивы.

В ешиве рабби Шимона не только обучали Торе; она была центром, где собирали, обрабатывали и систематизировали Устную традицию. Если бы там не собрали множество материалов, они были бы утеряны.

Поэтому мудрецы, даже не разделяя главный религиозный идеал рабби Шимона, очень высоко оценили его заслуги в деле возрождения еврейской жизни. По образному выражению одного из них, после гибели учеников рабби Акивы «мир стоял опустошенным», пока рабби Шимон и его коллеги не «возродили Закон».

(Йевамот, 62б.)

Благодаря тому что рабби Шимон бар Йохай имел много учеников, в Талмуде сохранилось значительное количество его высказываний. Поэтому эту небольшую статью, посвященную религиозным идеалам рабби Шимона, нам хотелось бы закончить одним из них.

Есть три короны: корона [знатока] Торы, корона священнослужителя и корона царя – но корона [обладателя] доброго имени возвышается над ними.

ПОЧЕМУ ПРАЗДНУЮТ ДЕНЬ

НЕЗАВИСИМОСТИ?

Ицхак Стрешинский

Как известно, различные группы религиозного еврейства по-разному относятся к Государству Израиль, к его религиозному значению и празднованию Дня независимости. Эта статья дает в общих чертах представление о точке зрения тех, кто ежегодно отмечает 5 ияра, день провозглашения Государства Израиль, как религиозный праздник. При этом те, кто отмечает День независимости, по-разному объясняют, почему они это делают, и высказывают различные мнения по многим вопросам, например, таким, как отношение к политике израильского правительства, или к тому, есть ли связь между Государством Израиль и мессианским Избавлением.

В этой статье мы рассмотрим в основном две точки зрения: рава Цви-Йеуды Кука (1891–1982), духовного лидера религиозного сионизма в период воссоздания еврейского государства, и рава Меира-Давида Кахане (1932–1990), израильского раввина и политического деятеля, депутата кнессета в 1984–1988 годах.

В Торе сказано: «Унаследуйте эту землю и заселите ее, так как вам дал Я эту землю, чтобы унаследовать ее» (Бемидбар, 33:53). Известный комментатор и законоучитель рабби Моше бен Нахман (Рамбан; 1194–1270) так писал об этом повелении Всевышнего в дополнениях к «Книге заповедей»: «Нам заповедано унаследовать землю, которую дал Всевышний нашим праотцам, Аврааму, Ицхаку и Якову, и не оставлять ее во владении какого-нибудь другого народа или пустыющей». Согласно тому, как трактовал эти слова Рамбана рав Цви-Йеуда Кук, исполнение заповеди заселения Эрец-Исраэль – это обретение еврейского суверенитета Эрец-Исраэль; именно этот суверенитет и был обретен с провозглашением государства 5 ияра 5708 года.

Еще один аспект провозглашения государства, с точки зрения рава Ц.-Й. Кука, – это начало Избавления, собирания изгнанников и освящения Имени Всевышнего. В День независимости 1967 года, во время своего традиционного выступления в возглавляемой им ешиве «Мерказ а-Рав», рав Цви-Йеуда отметил соответствие государства тому, что предсказывали пророки. Он признавал, что государство несовершенно, но при этом отмечал, что в пророчествах говорится о возвращении потомков Авраама, Ицхака и Якова, которые начнут заселять Страну Израиля и будут обладать государственной властью. Однако пророки не упомянули о том, будут ли они при этом праведниками или нет.

В том же выступлении рав Кук сказал, что на протяжении девятнадцати лет со дня создания государства мы удостоились изо дня в день видеть чудеса, совершаемые Всевышним в строительстве, в сельском хозяйстве, в политике, в обороне государства, в материальных и духовных сферах.



5 ияра 5708 (14 мая 1948) года Давид Бен-Гурион в Тель-Авиве провозглашает создание Государства Израиль

Рав Цви-Йеуда Кук указывал, что в Государстве Израиль еще есть то, что причиняет боль, и в этом можно увидеть осквернение Имени Всевышнего (хилуль а-Шем). Самыми острыми проблемами он считал то, что юридическая система государства не базируется на еврейском праве, и то, что в государстве беспрепятственно ведется миссионерская деятельность. Но при всем том, по мнению рава Ц.-Й. Кука, сам факт существования государства и его независимости есть освящение Имени Всевышнего (кидуш а-Шем). Рав Кук полагал, что именно о подобной ситуации сказано мудрецами в Иерусалимском Талмуде: «Освящение Имени Всевышнего больше, чем осквернение Имени Всевышнего» (Кидушин, 4:1). Он объяснял это высказывание так: если освящение и осквернение Имени Всевышнего соседствуют в одном деле, то из этого не следует, что не нужно браться за это дело. Аспект освящения Имени Всевышнего больше, он перевешивает и обязывает к действию. И это тем более верно, когда речь идет об освящении Имени Всевышнего при возрождении еврейского народа.

Здесь стоит отметить важный аспект подхода рава Цви-Йеуды Кука, не всегда понятный некоторым религиозным сионистам и их оппонентам. Считая, что Государство Израиль имеет религиозную составляющую, и в целом относясь с уважением к его руководству, рав Ц.-Й. Кук не отождествлял понятия «государство» и «правительство». Так, он называл осквернением Имени Всевышнего правительство меньшинства, опирающееся на арабские голоса. В 1974 году он сравнивал попытки правительства помешать заселению Эрец-Израэль с установлением черты оседлости в царской России и

писал в своих воззваниях: «Правительство существует для народа, а не народ для правительства». И еще: «Мы выполняем заповеди Торы, а не правительства. Тора важнее, чем правительство, Тора – вечна, а это предательское правительство – преходяще и не имеет значения». В своем знаменитом воззвании «Не бойтесь!» он писал, что каждый еврей, включая и военнослужащих, обязан всеми силами мешать передаче частей Эрец-Исраэль неевреям.

Эту позицию поддерживали и другие духовные лидеры национально-религиозного лагеря. Так, во время насильственного выселения евреев из Гуш-Катифа и Северной Самарии в 2005 году (так называемого «размежевания») рав Авраам Шапира (1911–2007), бывший главный раввин Израиля и преемник рава Цви-Йеуды Кука на посту главы ешивы «Мерказ а-Рав», постановил, что солдатам запрещено Алахой выгонять евреев из их домов.

После проведения «размежевания» в некоторых кругах национально-религиозного лагеря, особенно среди молодежи, распространились идеи «размежевания» с государством, попытки порвать с идеологией рава Кука и принять точку зрения тех, кто заявлял, будто все, связанное с восстановлением государства и возрождением национальной жизни в Эрец-Исраэль, не имеет никакого отношения к Избавлению. Одним из практических воплощений этой точки зрения стал отказ читать в День независимости Алель (подборку псалмов, предназначенных выразить благодарность Всевышнему), хотя это было установлено Главным раввином вскоре после создания государства. Рав Авраам Шапира высказал свое мнение по этому вопросу в статье, написанной перед последним в его жизни Днем независимости в мае 2007 года.

Он писал: «Слава Б-гу, что мы вновь удостоиваемся благодарить Всевышнего за создание государства. Сто лет назад в Эрец-Исраэль было пятьдесят тысяч евреев, а сегодня, слава Б-гу, – около шести миллионов евреев. Также, слава Б-гу, увеличилось изучение Торы в еврейском народе, и Государство Израиль – самый большой центр изучения Торы в мире... К моему сожалению, есть те, кто сомневается, обязаны ли мы благодарить Всевышнего сегодня. Ведь были изгнаны десять тысяч человек из Гуш-Катифа, а это – ужасное и страшное деяние; есть еще и другие недостатки. Однако я не могу понять этого ужасного недопонимания. Государство Израиль было создано Всевышним; так почему же мы не будем благодарить Его?.. Государство – это нечто постоянное и существует, как любая вещь, насчет которой мы верим, что она была дана с Б-жьей помощью. Проблемы есть у правительства, людей из “плоти и крови”, назначаемых на короткое время, на год или на два, а может быть и того меньше. Мы не покрываем ни тех, кто нес ответственность или своими прямыми действиями способствовал изгнанию евреев в Эрец-Исраэль, ни тех, кто колебался или искажал мнение Торы. Промахи и неудачи были и во времена царей Израиля, да и у каждого человека есть свои слабости. Когда правительство поступает неправильно – это, конечно, плохо; но неужели из-за этого мы не будем прославлять Всевышнего за то, что Он сделал?!...»

Можно подвести итог: в соответствии с точкой зрения рава Цви-Йеуды Кука и рава Авраама Шапиры, с одной стороны, есть святость в том, что у евреев после почти двух тысяч лет изгнания вновь появилось свое государство, возрождается нормальная жизнь на своей земле. За это нужно благодарить Всевышнего в молитвах. Но с другой стороны, следует бороться и протестовать против всех плохих явлений, существующих в государстве. Отметим также, что основная тема молитв Дня независимости – это именно благодарность Всевышнему, а вовсе не восхваление правительства или государственных

структур. А молитву за благополучие государства, в котором они проживают, евреи читают на протяжении почти всех долгих лет изгнания.

Рав Меир Кахане также говорил о необходимости разделения понятий «государство» и «правительство», так как правительство может состоять из праведников или злодеев, а государство – это еврейская власть в Эрец-Исраэль. В своей книге «Свет идеи» рав Кахане перечисляет «явные признаки» начала Избавления: возрождение Страны Израиля и чудесные победы в войнах над многочисленными врагами, собрание в Эрец-Исраэль миллионов евреев и создание суверенного государства, какого не было со времен Хасмонеев. Весьма резко отзываясь о правителях государства, не соблюдающих заповеди, и их поступках, он отмечает, что у всего этого нет никакой связи с созданием государства, которое является освящением Имени Всевышнего.



Выселение из Гуш-Катифа проходило с «чуткостью и настойчивостью». Август 2005 года

Мнение рава Кахане по поводу государства базируется на пророчестве в 36-й главе книги пророка Йезекеля, которое рав Цви-Йеуда Кук также упоминал в своих выступлениях и статьях. В этом пророчестве сказано от имени Всевышнего: «И рассеял Я их среди народов, и рассеяны были они среди стран; в соответствии с путем их и с поступками их, Я осудил их. И пришел [народ Израиля] к народам, куда пришли они, и оскверняли Имя святое Мое, когда говорили о них: “Народ Б-га они, и из Его страны вышли!” И сжалился Я над Именем Моим святым, которое осквернил дом Израиля среди народов, к которым пришли. Поэтому скажи дому Израиля: “Так сказал Г-сподь Б-г: не ради вас действую Я, дом Израиля, но ради Имени святого Моего, которое осквернили вы среди народов, к которым пришли! Я освящу великое Имя Мое, оскверненное среди народов, которое осквернили вы среди них, и узнают народы, что Я – Б-г, – слово Г-спода

Б-га, – когда освящусь Я в вас у них на глазах. И возьму Я вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу”» (Йехезкель, 36:19-24).

Рав Кахане так объяснял это пророчество: сам факт пребывания еврейского народа в галуте, где он унижен и незащищен, – это осквернение Имени Всевышнего. Преследователи евреев видят в том, что могут безнаказанно издеваться над народом Всевышнего, проявление Его якобы слабости. Согласно этому мнению, поскольку уничтожение евреев немецкими нацистами и их пособниками в годы второй мировой войны было страшнейшим осквернением Имени Всевышнего, прекращение осквернения Имени Всевышнего, с другой стороны, должно произойти на языке, понятном ненавистникам евреев. Хотя еврейский народ не был достоин Избавления в соответствии со своими поступками, произошли события прямо противоположные гибели миллионов евреев и все это – «не ради вас, но ради Имени святого Моего».

Если убийства и унижения евреев в галуте – это осквернение Имени Всевышнего, то возвращение еврейского народа на свою землю и создание там независимого государства – это освящение Имени Всевышнего. В стойкости, мужестве и победах евреев над их врагами выражаются сила Б-га и Его победа. Поэтому суверенное еврейское государство, созданное благодаря возвращению евреев в Сион и собиранию изгнанников, государство, которое побеждает врагов, и есть освящение Имени Всевышнего. При этом рав Кахане считал, что сами евреи должны продолжать освящать Имя Всевышнего своими действиями, исполнением заповедей, как на личном, так и на национальном уровне. В таких нарушениях заповедей, как отступление с завоеванной территории Эрец-Исраэль, он видел осквернение Имени Всевышнего. Дальнейшее продвижение Избавления зависит, согласно раву Кахане, от того пути, который выберут евреи.

В соответствии с этим, День независимости знаменует благодарность Всевышнему; это празднование освящения Его Имени. Отметим, что ешива «Еврейская идея», созданная равом Меиром Кахане, – одно из немногих мест, где в День независимости и в День освобождения Иерусалима произносят Алель и вечером и утром, тогда как во многих других ешивах и синагогах, как правило, произносят Алель только утром.

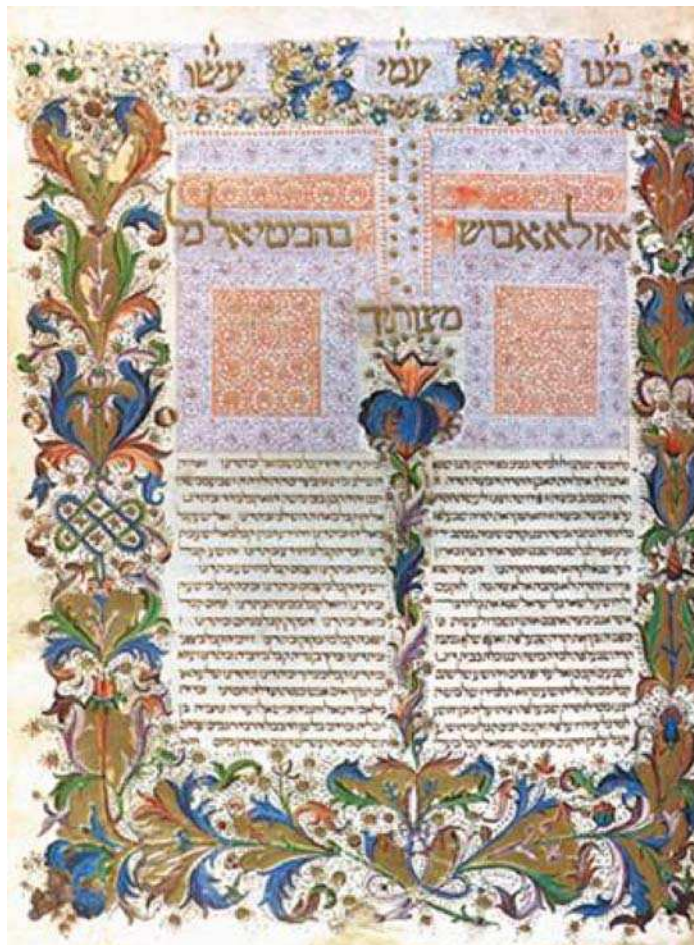
АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ФИЛОСОФИЯ И АЛАХА В ТВОРЧЕСТВЕ МАЙМОНИДА: ВНУТРЕННЕЕ ЕДИНСТВО ПОЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

Михаил Шнейдер

В рамках серии «Библиотека еврейских текстов» вскоре выйдет первая книга одного из важнейших текстов в еврейской традиции – «Мишне Тора»[\[1\]](#) Рамбама (рабби Моше бен Маймона; 1138–1204).

В самом обширном из своих трудов Рамбам обобщает и систематизирует талмудическую традицию и в доступной форме излагает всю совокупность еврейского религиозного законодательства алахи. В первую книгу «Мишне Тора», «Знание», входят «Фундаментальные законы Торы», «Законы о чертах характера», «Законы об изучении Торы», «Законы об идолопоклонстве» и «Законы раскаяния». Этот текст впервые будет публиковаться по-русски полностью, в современном переводе и с подробными комментариями. Предлагаем читателям одну из вступительных статей к изданию.



1. «Мишне Тора» – конституция пророка-философа

Рабби Моше бен Маймон (Маймонид) – религиозный мыслитель, занимающий уникальное место в истории еврейства. Нет сомнения, что его нравственные качества, его дар религиозного наставника и лидера произвели неизгладимое впечатление на современников; образ его, окруженный ореолом легенд, не померк с течением времени. Но прежде всего, разумеется, эффект присутствия Маймонида в еврейской культуре создают его сочинения, и особенно две вершины его обширного и многопланового наследия – обобщающий труд по Устной Торе «Мишне Тора» и философский трактат «Море невухим» («Путеводитель растерянных»).

Говоря о Маймониде, подчеркивают многогранность его личности, личности философа и раввина, врача и руководителя общины. Его письменное наследие столь же многопланово: философские трактаты, медицина, алаха. Маймонид не исключителен в своей разносторонности; может быть, еще более яркий пример – Саадья Гаон, философ, алахический авторитет, комментатор Библии, лингвист, поэт. Однако многообразие интересов и занятий Саадьи Гаона было направлено на экстенсивное освоение перспектив, открывшихся в новой культурной ситуации. Саадья Гаон – символ встречи еврейской традиции с наследием античности, а также с исламской цивилизацией, интенсивно усваивающей это наследие. Эта встреча, чреватая новыми возможностями и новыми опасностями, в значительной степени определила характер еврейской религиозной мысли в Средние века; со временем она стала источником острейших конфликтов, сотрясавших еврейский мир Средневековья. Античность завещала Средневековью научную традицию. Теоретическая философия, метафизика, считалась важнейшей частью этой традиции, «наукой наук», «первой философией» – квинтэссенцией и первоосновой научного знания. Вместе с тем первая философия была теологией – построенным на разуме учением о Б-ге; она предлагала человеку этический и религиозный идеал.

Далеко не все трудности, связанные со встречей религиозной традиции и рационалистической философии, выявились, были проработаны и стали предметом рефлексии в эпоху Саадьи Гаона.

Маймонид выдвигает проблему синтеза на передний план, делает ее ведущим мотивом своего творчества. Этот синтез достигается не столько компромиссом между различными культурными и религиозными ценностями и идеалами, не столько разграничением «сфер влияния», сколько раскрытием сокровенной гармонии двух начал. Понять Маймонида – значит понять внутреннее единство его мысли и творчества, понять, как он решал центральную для него проблему – проблему соотношения разума и откровения.

Следует иметь в виду, что, говоря о культурных контактах, о встрече еврейской традиции с античным наследием, греческой философией и так далее, мы рассматриваем ситуацию извне. Для Маймонида речь шла о встрече священной традиции с самим разумом, в универсальность которого он твердо верил. Согласно правилу «принимай истину, кто бы ни высказывал ее»^[2], он свободно обращался к сочинениям греческих и мусульманских авторов, подвергая их при этом критическому анализу. Весь смысл рационального познания состоит в его автономии: его обоснование заключено в нем самом^[3].

В философии Маймонида высший мир описывается как умопостигаемое бытие. Б-г явлен нам как Знающий: «Он – знающий, Он – знаемый, Он – само знание»[4]. Ангелы – интеллекты, отделенные от материи[5]. Человек – единственный (в сфере телесного бытия) обитатель «подлунного мира», наделенный способностью интеллектуального постижения[6]. Сущность человека состоит в том, что он – разумное животное, живое телесное существо, наделенное интеллектом. В силу телесности человека интеллект дан ему как потенция, которая реализуется в процессе развития и становления, переходя из потенции в акт. Интеллектуальное постижение изначально затемнено воображением, аффектами, привычками и тому подобным, однако в сущности человека заложена и способность преодолеть все препятствия на пути познания и возвыситься до постижения высшего бытия: ведь познающий разум соединяется с предметом познания, а значит, познавая высшее бытие, человек приобщается к нему.

Наивысшей ступени постижения Б-га достигают пророки. Через величайшего из пророков, Моше, была дарована Тора – вечное откровение. Познание Б-га – исток Торы и та цель, к которой она ведет каждого человека и весь мир. Откровение становится законом, конституирующим еврейский народ в качестве коллективного носителя Б-гопознания[7], открытого Моше. Священная традиция, восходящая к Моше и передаваемая из поколения в поколение мудрецами Израиля, есть проекция вневременного откровения в историческое измерение.

Таким образом, откровение, исходя из одного источника, достигает человека по двум руслам, ни одно из которых не может быть подчинено другому или поглощено другим: одно русло – разум, заведомо автономный, другое – религиозная традиция, укорененная в величайшем откровении. Гармонизация двух начал требует глубокого понимания истоков их двойственности.

Тема синтеза, центральная тема двух главных сочинений Маймонида, обретает новый смысл при соотнесении двух этих трудов. Нельзя сказать, что «Море невухим» посвящен только философии, а «Мишне Тора» – только алахе; даже рассматривая каждое из этих сочинений в отдельности, мы не можем оставить в стороне проблему синтеза. «Море невухим» сосредоточен именно на взаимодействии философии и священного текста, а в «Мишне Тора» философские темы вплетены в ткань алахи, и замысел этого сочинения нельзя понять в отрыве от философской проблематики Маймонида.

Тора осмысляется как закон жизни, как конституция народа Израиля, и поэтому коллизия между откровением и автономным разумом, между Торой и философией оказывается созвучна извечному вопросу, характерному как для философии, так и для Торы, – вопросу о соотношении познания и действия. В талмудической традиции этот вопрос вращается вокруг соотношения изучения Торы и исполнения заповедей[8]; в различных философских системах – вокруг соотношения метафизики и этики/политики, теории и практики, сущего и должного, истины и блага, знания и свободы. В несколько ином ракурсе идет речь о соотношении вечности и времени, метафизики и истории. Переключка с классической философской проблематикой используется Маймонидом и другими средневековыми философами для осмысления центральной коллизии разума и откровения, которая понимается ими не как противостояние идей и доктрин, а как столкновение философского идеала созерцательной жизни с поведением, к которому призывает пророчество. В платоновской философии связующим звеном между умозрением и практикой стала фигура философа-правителя, в философии же Маймонида Моше предстает пророком – правителем и законодателем.

В том же ключе рассматривает Маймонид деятельность других пророков и мудрецов, принимающих на себя ответственность за исторические судьбы полученного Моше откровения и основанного им народа. Идеал пророка-правителя служил для Маймонида ориентиром в его собственной деятельности. Ассоциация с «первым Моше», неотделимая от образа Маймонида в восприятии поколений, была, несомненно, значима и для самого рабби Моше бен Маймона. Название его главного труда «Мишне Тора» содержит отсылку к двум важнейшим текстам иудаизма – Дварим (Второзаконию) и Мишне. Книга Дварим построена как прощальная речь Моше, повторяющего закон для нового поколения, для тех, кому предстоит войти в Землю обетованную. Изложение законов, сформулированных в предыдущих книгах Торы, сочетается с провозглашением фундаментальных мировоззренческих принципов – прежде всего принципа единобожия и отрицания идолопоклонства. Название «Мишне Тора» восходит к библейскому рассказу о списке закона, который царь должен держать при себе постоянно:

Но когда он сядет на престоле царства своего, должен записать для себя повторение этой Торы (мишне а-Тора а-зот) в свиток перед лицом священников-левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Г-спода, Б-га своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии; чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля.

(Дварим, 17:18-20.)

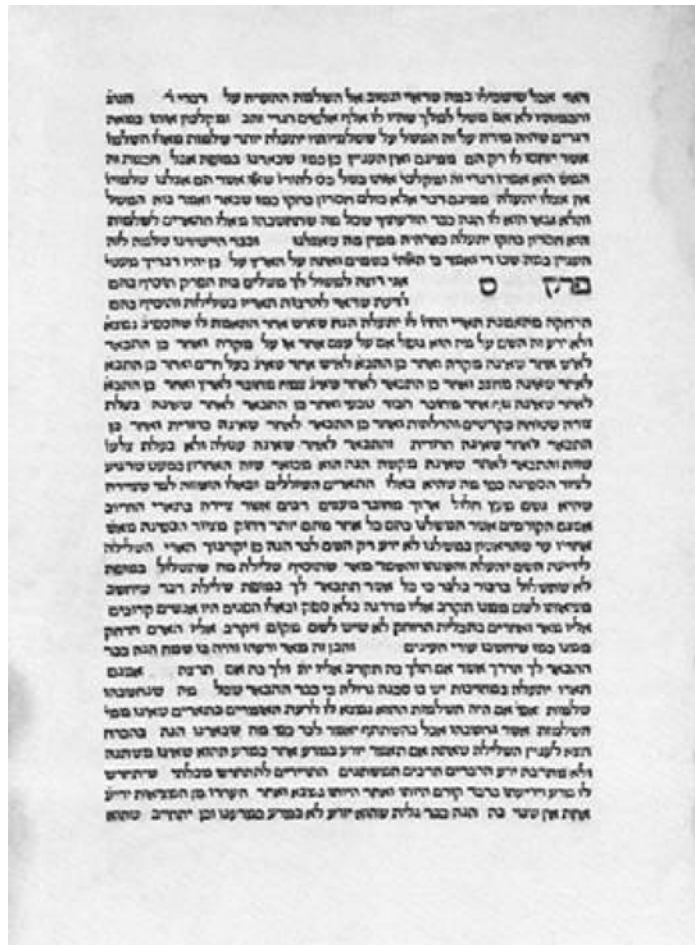
Можно прочесть первую фразу этого пассажа несколько иначе, отнеся местоимение а-зот ко всему обороту «повторение Торы», а не к Торе: «это повторение Торы», то есть Второзаконие. Так понимает стих Септуагинта, и именно это понимание отражено в традиции называть пятую книгу Торы Второзаконием^[9]. Во всяком случае, «Мишне Тора» предстает как конституция народа Израиля, дарованная Б-гом через пророка-законодателя и служащая основным регулятором израильской монархии.

Второй образец, на который ориентировался Маймонид, – это Мишна, создателем которой был рабби Йеуда а-Наси. Титул наси («правитель», «князь») принадлежал рабби Йеуде как потомку царя Давида. В глазах мудрецов тех поколений институт наси хранил преемственность дома Давидова, священной династии царей Израиля, к которой принадлежит грядущий царь Машиах.

С созданием Мишны связан прецедент, особенно значимый для Маймонида: рабби Йеуда а-Наси впервые начинает записывать Устную Тору. Устная Тора – живое предание, хранимое мудрецами. Личность учителя, хранящего и передающего предание, играет здесь существенную роль; именно учитель определяет, что и в каком порядке может быть сообщено ученикам. Маймонид неоднократно подчеркивает необходимость постепенного продвижения в познании, говорит о вреде, который может нанести попытка ученика обрести знание раньше срока, без должной подготовки. Эти соображения служат основой Маймонидова эзотеризма. В частности, Маймонид относил принцип эзотеризма прежде всего к внутреннему ядру Торы – интеллектуальному постижению Б-га; именно в этой сфере возможности восприятия в наибольшей степени зависят от подготовки индивида. Устное бытование предания, таким образом, соответствует принципам Маймонида; однако оно должно опираться на определенную социальную структуру, и разрушение этой структуры, – неизбежное в ситуации изгнания, рассеяния, религиозных преследований, – угрожает самому существованию устного предания. Именно этими соображениями руководствовался Йеуда а-Наси, принимая решение записать законы

Устной Торы. Маймонид идет по его стопам и, отвечая на вызов новой исторической ситуации, создает всеобъемлющий свод Устной Торы, включая в него не только практические законы, но и основные принципы интеллектуального познания Б-га.

Итак, оба образца, на которые ориентировался Маймонид, – «Мишне Тора» Моше и Мишна Йеуды а-Наси – представляют собой акты мудреца-правителя. Мудрец-правитель есть тот, для кого познание Б-га становится заповедью, настоятельным императивом, миссией, движущей силой всей деятельности. В силу этого вопрос о связи между познанием Б-га и действием приобретает особую значимость для понимания книги «Мишне Тора».



Страница из «Море невухим» Маймонида. Перевод с арабского Шмуэля бен Йеуды Ибн-Тибона. Рим. 1469–1472 годы

2. Познание и заповедь

Подчеркивая связь между Письменной и Устной Торой, Маймонид делает заповеди, выводимые непосредственно из текста Пятикнижия, основной структурной единицей своего труда. «Книга заповедей» – тщательно обоснованное перечисление шестисот тринадцати заповедей – служит своего рода введением в «Мишне Тора». Законы Устной Торы мыслятся как разъяснение заповедей Торы Письменной. Читая начальные строки «Мишне Тора», в которых Маймонид излагает первую заповедь, мы сразу оказываемся в средоточии упомянутой выше проблематики.

1.1. Основа основ и столп всех наук – знать, что существует некто Первый Сущий, и Он наделяет существованием все существующее; и все, существующее на небе,

на земле и между ними, обязано своим существованием только непреложной действительности Его существования. (2) Если представить, что Его не существует, ничто другое не может существовать. (3) А если представить, что все существующее, кроме Него, исчезнет, Он один останется существовать и не исчезнет с исчезновением всего, так как все нуждается в Нем, а Он, Благословенный, не нуждается ни в творении в целом, ни в каждом из творений в отдельности.

1.2. Поэтому Его сущность не похожа на сущность ни одного из творений. (4) Об этом говорит пророк: «И Г-сподь Б-г – истинная [сущность]» (Ирмеяу, 10:10)^[10], – только Его существование – непреложная истина, и ничто другое не обладает непреложным существованием, сопоставимым с Его существованием. О том же сказано в Торе: «Нет другого, кроме Него» (Дварим, 4:35), – то есть ничто не существует столь же непреложно, как Он.

1.3. (5) Этот Некто, непреложно сущий, – Б-г мира, Господин всей земли. И Он вращает небесную сферу силой, которой нет конца и края, силой непрерывной, так как небесная сфера находится в постоянном круговом движении, а это невозможно без Движителя; и Он, Благословенный, вращает ее не рукой и не чем-либо телесным.

1.4. (6) И знание этих предметов – повелевающая заповедь, как сказано: «Я – Г-сподь, Б-г твой» (Шмот, 20:2). И каждый, кто допускает мысль о существовании другого бога, нарушает запрещающую заповедь, как сказано: «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня» (Шмот, 20:2), и отрицает основы веры, так как это – фундаментальный принцип, от которого зависит все.

Маймонид начинает свою книгу, вводя понятие Б-га как Первого Сущего (алаха^[11], 1). Первичность существования раскрывается в онтологическом плане: существование Б-га не обусловлено ничем, существование всего остального обусловлено Им (2–3). В следующей фразе Маймонид связывает абсолютное бытие с истиной. Он заявляет тем самым об истине как об онтологической, а не эпистемологической категории (3–4). Эпистемологическая истина высказывания производна по отношению к истине бытия^[12]. Далее Маймонид говорит о Б-ге как о Перводвигателе, первоисточнике мирового движения. Здесь содержится кратчайший набросок так называемого «космологического доказательства» бытия Б-жия, которое Маймонид подробно разворачивает в «Море невухим» (5). И наконец, завершает пассаж утверждение, что знание принципов, изложенных в нем, предписано повелевающей заповедью (6).

Это величественное начало одной из главных книг Средневековья относится к числу наиболее цитируемых, упоминаемых и обсуждаемых текстов иудаизма. Тем не менее многие нюансы его религиозно-философского содержания не получили должного внимания. На протяжении столетий живо обсуждались отдельные моменты этого рассуждения, которые служили отправной точкой для построений мыслителей последующих поколений.

В традициях еврейского вопрошания такие обсуждения начинаются с «затруднения» (кушии), трудного вопроса, обращенного к тексту Маймонида. Не попадает ли Маймонид в порочный круг, объявляя знание Б-га заповедью? Ведь чтобы говорить о заповедях, нужно признавать существование Б-га, давшего их. Кроме того, каким образом знание может быть заповедью, коль скоро оно не есть волевой акт? Подобные вопросы часто решались тем или иным разграничением двух уровней знания или веры и знания. Однако нам представляется, что дело обстоит иначе. В предисловии к комментарию к трактату Авот, известном как «Шмона пракиим», Маймонид пишет (гл. 2):

Знай, что о нарушении или исполнении Закона можно говорить применительно к двум из пяти частей души, части ощущающей и части стремящейся. Только в этих частях могут иметь место все заповеданные и все запретные деяния. Что же касается части питающей и части воображающей, то в них нет ни повиновения, ни послушания, поскольку на них никоим образом не действует сознательное намерение и свободный выбор. И человек не может на основании сознательного решения приостановить их деятельность или ограничить их действие определенными рамками. Ведь, как ты видишь, эти две части, питающая и воображающая, в отличие от остальных сил души, действуют и во время сна[13].

Однако в отношении разумной силы существуют колебания; тем не менее я утверждаю, что и к этой силе может относиться нарушение и исполнение, которые будут состоять соответственно в усвоении ложных или достоверных воззрений. При этом в них нет действия, которое можно было бы назвать праведным или греховным делом в узком смысле слова, почему я и сказал выше, что только в [двух] частях существуют заповеданные и запретные деяния.



**Адам, называющий животных. Иллюстрация из Золотой агады. Испания. XIV век.
Британская библиотека, Лондон**

Знание и невежество – состояния, а не акты, и поэтому к ним не могут быть применены термины «мицва» («заповеданное деяние») и «авера» («запретное деяние»). Тем не менее Маймонид предлагает более широкое понимание заповеди и запрета, под которое знание подпадает.

В знаменитой второй главе «Море невухим» Маймонид спорит с утверждением, что, согласно второй главе книги Берешит, только благодаря нарушению Б-жьего запрета (запрета есть от древа познания) Адам приобрел разум.

...разум, который Б-г излил на человека и в котором состоит последнее совершенство оного, и есть то, что было у Адама до того, как он ослушался, и именно из-за этого [разума] сказано о нем, что он [создан] по образу Б-га и по подобию Его;

именно благодаря этому он стал тем, к кому была обращена речь и кому было дано повеление, как сказано: «И повелел Г-сподь Б-г человеку...» – ибо не дается повеление скотам и тем, у кого нет разума, и разумом различают истину и ложь, а это было у человека в совершенстве и цельности.

Слова Маймонида о том, что только благодаря разуму Б-г говорит с человеком и дает ему заповеди, могут быть поняты двояко: во-первых, очевидно, именно разумение (в самом широком понимании) позволяет человеку осознать заповедь и принять на себя ответственность за ее исполнение; во-вторых, обращение Б-га к человеку и заповедь, данная Им, суть определенные аспекты человеческого интеллекта в его актуальности, достигаемой при соединении с Б-жественным разумом.

В главе «Море невухим», посвященной Синайскому откровению, Маймонид объясняет слова мудрецов о том, что первые две заповеди Декалога весь народ слышал из уст Всемогущего:

Однако у мудрецов есть еще одно ясное высказывание, которое повторяется несколько раз в мидрашах [14] и, кроме того, приводится в Талмуде [15]. Это высказывание гласит: «Я и Да не будет [16] они услышали из уст Могущества». Мудрецы подразумевают, что названные [две заповеди] достигли сынов Израиля подобно тому, как они достигли Моше, и не Моше, учитель наш, доставил их им. Причина этого в том, что два данных принципа, существование Б-жества и Его единство, постигаются посредством человеческого умозрения, а во всяком предмете, который установлен на основании строгого доказательства, статус пророка равен и статусу любого, кто познал его, и нет у него превосходства. Таким образом, эти принципы известны не только из пророчества, и об этом ясно говорит Тора: «Тебе дано видеть, чтобы ты познал, что Г-сподь есть Б-г, и нет иных, кроме Него».

Таким образом, знание бытия Б-жия и Его единственности (отрицание иных богов [17]) есть заповедь, данная от Б-га, и одновременно – истина, познаваемая разумом, причем два этих аспекта здесь совпадают. Кроме того, согласно тезису о совпадении в актуальном интеллекте знающего, известного и знания, это же знание тождественно интеллекту [18]. Далее, как объясняет Маймонид в первой главе «Море невухим», познающий Б-га актуальный интеллект есть образ Б-жий в человеке. Тем самым строится тождество: первая заповедь = знание = интеллект = образ Б-жий. На основании этих отождествлений можно понять описание грехопадения во второй главе «Море невухим»:

Когда же он послушался и устремился к воображаемым предметам возжелания и к услаждению своих телесных ощущений, как сказано: «...что хорошо древо для еды, и что оно услада для глаз», – был он наказан тем, что отнято у него было оное интеллектуальное постижение. И потому нарушил он заповедь, повеление о которой ему было дано из-за его интеллекта.

Мы видим здесь любопытную и странную последовательность событий: Адам послушался, был наказан и из-за этого наказания нарушил заповедь. В чем разница между «ослушанием» и «нарушением»? Почему первое оказывается причиной наказания, а второе – его следствием?

Первое послушание состояло в выходе за границы разума. Разум четко устанавливает свой предмет, сферу своего действия и свои границы. «От всякого дерева в

саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла – не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Берешит, 2:16-17), – постигай все предметы, постигаемые разумом, но не выходи за его границы, ибо, выйдя за них, окажешься в сфере смерти. Однако человек, будучи существом не только разумным, но и телесным, пожелал расширить эти границы, дополнить суждения об истинном и ложном суждениями о хорошем и дурном, пожелал распространить основанную на разуме власть на сферы желания и воображения. Он не отрицал никаких утверждений разума и не утверждал ничего противного разуму, – он желал лишь дополнить его. Закономерным следствием этого (и наказанием за это) стала утрата человеком разумного постижения, вытесненного вышедшими из-под контроля желаниями и воображением. Познание Б-га само по себе не было волевым актом Адама, но накладывало на него определенные обязательства. Точно так же утрата знания сама по себе была не волевым актом, но следствием нарушения этих обязательств.

Можно предполагать, что в первой главе «Фундаментальных законов Торы» понятие заповеди имеет несколько иной смысл, нежели в других местах. Заповедь в обычном смысле слова – это повеление Б-га, обращенное к человеку и касающееся действия, которое человек может совершить или не совершить по своей воле. Здесь же заповедь представляет собой истину Б-жественного бытия; исполнение этой заповеди – познание Б-га, то есть присутствие Б-га в человеческом разуме. Более широкое понимание заповеди – как «бытия вместе» человека и Б-га – может объединить оба значения: и познание Б-га, и исполнение Его воли суть способы соединения человека с Б-гом^[19]. Как правило, заповедь предполагает дистанцию между Повелевающим и исполняющим; здесь же дистанция между познаваемым и познающим снимается. Можно представить себе первую заповедь как исток пути и его цель. Вся система заповедей мыслится как путь, исходящий из точки соединения человека с Б-гом и к ней же устремляющийся; это не простой круг: в начале пути из всей человеческой целостности познание захватывает только интеллект, из всего человечества – только избранных пророков и мудрецов; в заключительных строках «Мишне Тора» говорится о временах Машиаха, когда знание Б-га охватит всю землю:

В те дни не будет ни голода, ни войны, ни зависти, ни соперничества, потому что благо будет в изобилии и все хорошее будет доступно, как песок. И весь мир будет занят только познанием Г-спода. Поэтому станут все великими мудрецами, познающими скрытые и глубокие предметы, и обретут знание Творца своего, в соответствии с возможностями человека, как сказано: «Ибо наполнится земля знанием Г-спода, как море полно водою».

(Йешаяу, 11:9.)^[20]

Понимая первую заповедь не как исполняемый императив, но как познаваемую истину, мы можем приблизиться к ответу на поставленный вопрос об истоке заповедей. Тем не менее проблема перехода от знания к действию, связи действия и знания не решается, но лишь сдвигается внутрь системы заповедей. Знание Б-га предвещает остальные заповеди не только в силу своего особого отношения к Первому Сущему: знание Б-га – основа, исток, порождающий импульс всех остальных заповедей.

Окончание следует

^[1] Заглавие «Мишне Тора» можно перевести как «Вторая [книга] после Торы», «Повторение Торы», «Второй свиток Закона»; см. далее.

[2] Шмона праки́м («Восемь глав»), гл. 1: הַחֹמֶשׁ אֶלֶּק מִן קִלְבֵּי מִן הַחֹמֶשׁ. В основе – известная поговорка из хадиса, восходящая к Платону («Государство», 595BC; «Федон», 91BC) и Аристотелю («Никомахова этика», 1096a) и известная в парафразе Сервантеса: «Платон мне друг, но истина дороже».

[3] «Поскольку все эти положения опираются на ясные, безупречные и несомненные доказательства, не имеет значения, кто изложил их, будь то пророк или нееврейский автор, ведь коль скоро основания явлены и истина установлена безупречными доказательствами, мы опираемся не на авторитет высказавшего и преподавшего, но на явленное доказательство и ставшее известным основание» (Законы об освящении месяца, 17:24).

[4] Фундаментальные законы Торы, 2:10; Законы раскаяния, 5:5.

[5] Фундаментальные законы Торы, 2:8; Море невухим, ч. 1, гл. 49.

[6] Фундаментальные законы Торы, 4:14; Море невухим, ч. 1, гл. 1.

[7] Представление о сообществе, которое основано пророком и конституируется религиозным законом, а не общностью языка, государства, территории и крови, характерно для средневекового иудаизма, христианства (ср. «Град Божий» Августина) и ислама (умма). Именно об этом говорит известная формула Саады Гаона:

«Наш народ сынов Израиля является народом (уммой) только благодаря его Законам», то есть Устной и Письменной Торе. Несколько подробнее мы остановимся на этом вопросе в конце статьи.

[8] См.: Урбах Э.-Э. Хазаль: Пиркей эмуно́т ве-деот («Мудрецы Талмуда: верования и воззрения»). Иерусалим, 1969. С. 539–557. Так, предание сообщает (Сангедрин, 74a) об обсуждении этой проблемы авторитетнейшими мудрецами, собравшимися для решения вопросов жизни и смерти (в частности, речь шла о том, в каких случаях следует идти на смерть, чтобы не нарушить Тору): «Некогда рабби Тарфон со старцами заседали в верхнем покое дома Нитзы, и был поставлен перед ними вопрос: “Что больше – учение или деяние?” И ответил рабби Тарфон, и сказал: “Деяние”; и ответил рабби Акива, и сказал: “Учение”. И ответили все вместе и сказали: “Учение больше, ибо учение приводит к действию” (Сифрей, Дварим, 41; Кидушин, 40б)». С другой стороны, раббан Шимон бен Гамлиэль повторял многократно: «Главное не учение, а деяние» (Авот, 1:17).

[9] В переводе Дварим, 17:18 δευτερονόμιον, в Вульгате deuteronomium (legis huius). Книга Дварим неоднократно называется «Второзаконием» в обоих Талмудах и в сборниках мидрашей. О таком понимании стиха см. Сифрей, Дварим и Леках тов к данному стиху.

[10] Ср.: Ялькут Шимони, Берешит, 3.

[11] Маймонид называет алахой каждый из параграфов, на которые делится текст глав в «Мишне Тора», – по аналогии с некоторыми изданиями Мишны.

[12] То, что Б-г как онтологическая истина есть основа всякой эпистемологической истины, отражается в законе о клятве, который позволяет клясться только Именем Б-жьим. Маймонид объясняет это закон следующим образом:

Тот, кто клянется чем-либо из сотворенного, полагая, что эта вещь сама по себе обладает истинностью, которой можно клясться, виновен в том, что поставил на один уровень нечто иное и Имя Б-га небес, а предание гласит, что тот, кто ставит вровень Имя Б-га небес и что-либо иное, будет искоренен из мира. И об этом говорит Писание: «Именем Его клянитесь». Это означает, что только Ему можно приписывать такую истинность, которой подобает клясться («Книга заповедей», Предписания, заповедь седьмая. Разрядкой выделены ивритские цитаты в арабском тексте. – Примеч. ред.).

Клясться чем-либо – значит подтверждать истинность высказывания (его соответствие реальности) и непреложность обязательства (его соответствие будущим поступкам) путем соотнесения с тем, что истинно «само по себе», то есть с Б-гом.

[13] Нам представляется, что в позднейших сочинениях (отчасти в Мишне Тора и особенно в Море невухим) Маймонид оценивает воображение существенно иначе, придавая ему гораздо большее значение как в негативном, так и в позитивном плане.

[14] Шмот раба, 33:7; Шир а-ширим раба, 1:2; Псикта рабати, 22.

[15] Макот, 24а; Орайот, 8а.

[16] Первые две из десяти заповедей: «Я Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Шмот, 20:2); «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Шмот, 20:3).

[17] В Мишне Тора отрицание иных богов и признание единства Б-га рассматриваются как две отдельные заповеди; тем не менее между этими двумя принципами существует тесная связь, соответствующая связи между двумя антитезами единого – иным и многим (ср. Платон, «Парменид»).

[18] Этот фундаментальный тезис разбирается в 68-й главе первой части «Море невухим».

[19] Толкование мицвы («заповеди») как единения, братства, сопутствия, бытия вместе, производящее это слово от цавта («компания», «братство»), встречается в каббале (Горовиц Йешаяу. Две скрижали Завета. Амстердам, 1649. 51v) и чрезвычайно распространено в хасидизме.

[20] Законы о царях, 12:5, по рукописи: Yah. Heb. 2. Йемен, 1433.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ВЕРА И ЖАДНОСТЬ

Борис Клин

В моей недавней колонке [«Вера и деньги»](#) («Лехаим». 2010. № 1) я рассуждал о том, что, несмотря на два десятилетия религиозного возрождения в России, граждане не желают платить за свою веру. Религиозные общины – еврейские, православные, исламские, буддистские – все живут за счет помощи государства, зарубежных спонсоров и отдельных очень богатых предпринимателей (не всегда, кстати, жертвующих добровольно, а зачастую в рамках навязанной властями концепции «социальной ответственности бизнеса»). Такое положение, на мой взгляд, пагубно влияет на духовную жизнь, ибо чего стоит вера, если ради нее не хотят поступиться всего-то лишь деньгами? И вот недавно, впервые в нашей стране, из уст религиозного деятеля прозвучало предложение ввести налог на веру. Если эту инициативу поддержат власти, русских евреев ждет большой сюрприз.



– Я думаю, что в паспортах нужно ввести графу «вероисповедание», – заявил на заседании одной из секций «Рождественских чтений» (крупнейшего церковно-общественного форума) наместник Ново-Иерусалимского монастыря игумен Феофилакт (Безукладников).

В зале, где обсуждался законопроект о передаче религиозным организациям (всем, не только православным) государственной и муниципальной собственности, конфискованной после революции 1917 года, наступила тишина.

– А какая связь? – поинтересовался один из участников дискуссии.

– А очень простая, – продолжил свою мысль игумен. – Мы же тут говорим, что у церкви может не хватить средств на реставрацию памятников истории и архитектуры, и государство должно гарантировать выделение средств на эти цели. Вот я и предлагаю ввести в паспортах графу «вероисповедание» и после внесения соответствующих записей обложить граждан налогом, что позволит решить все финансовые проблемы церкви. Налоговые инспекции будут собирать деньги и перечислять их соответствующим конфессиям. Деньги атеистов можно передавать в Фонд культуры.

Замечу, что самому игумену беспокоиться о деньгах нечего. Как я уже писал, на реставрацию Ново-Иерусалимского монастыря государство выделяет 3 млрд рублей. И такое бескорыстие придает его инициативе особую ценность.

Мне хотелось ему аплодировать, но регламент мероприятия не позволял столь бурного выражения восторга со стороны присутствовавших журналистов.

Разве Тора не требовала от евреев уплаты десятин левитам? Разве христиане не позаимствовали этот принцип у евреев? Так что изменилось? Почему люди не должны платить сегодня? На мой взгляд, введение такого налога было бы гораздо справедливее нынешней системы, когда помощь религиозным общинам оказывается из государственной казны. С какой стати православные налогоплательщики должны участвовать в реставрации Большой хоральной синагоги в Москве, а евреи – Соборной мечети? Почему в том числе на деньги мусульман и евреев восстанавливается тот же Ново-Иерусалимский монастырь? Введение налога на веру позволит снять вопросы и относительно равного доступа религиозных организаций к государственной помощи. Евреям и мусульманам не придется обижаться на государство, выделяющее больше средств православным, чем другим конфессиям. Кроме того, такой подход сделает религиозных лидеров менее зависимыми от властей. Ведь понятно, что никто не станет кусать кормящую руку. Даже если кормит она не так обильно, как хотелось бы.

Следует заметить, что налог на веру существует в таких демократических странах, как Германия и Финляндия. В Финляндии по ставке 1–2%. Почти 80% доходов религиозных общин – средства, полученные от налога. В Германии налог выше – 8–9% и тоже покрывает примерно 80% потребностей религиозных организаций.

Но, несмотря на международный опыт и очевидную пользу, инициатива игумена Феофилакта не будет встречена восторженно в первую очередь его собственным руководством, да и всеми остальными религиозными лидерами. Скорее всего, они бросятся в ноги президенту, если это предложение дойдет до него, с криком: «Отец родной, не погуби!» Именно религиозные лидеры неофициально, но очень сильно сопротивляются введению графы «вероисповедание» в листы переписи населения. Причина понятна. Православные иерархи постоянно говорят, что православных в стране по соц-опросам 80%, муфтии твердят, что мусульман – 20 млн, а еврейские лидеры намекают, что евреев – аж полтора, а то и два миллиона (хотя по результатам последней переписи около 200 тыс.). Справедливости ради, замечу, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже не раз говорил, что цифра в 80% не отражает числа подлинно верующих, так называемых «воцерковленных» людей. Но насколько их меньше? Вот вопрос. И насколько их окажется меньше, если за веру придется платить налог? Например, на интернет-форуме русских, живущих в Финляндии, живо обсуждается тема выхода из церкви. Очень уж не хочется платить налог, атеисты от него освобождаются. Журналисты

заметили, что значительная часть поляков, приезжающих на работу в Германию, заполняют заявление установленной формы о выходе из католической церкви. Немецкие власти посылают извещение в Польшу, в приход, где был крещен человек. И многие католические епископы в Польше настаивают на отлучении предавших веру из жадности.

В России же, где православные так любят обсуждать «толстых батюшек на “мерседесах”», таких вероотступников может оказаться не меньше, чем среди поляков-католиков.

Не претендуя на репрезентативность, разумеется, я провел среди своих знакомых опрос: «Готовы ли вы платить налог на веру?» Лишь один православный журналист абсолютно твердо заявил, что будет платить, причем независимо от ставки: «Что же я, ради денег от веры откажусь?! Буду платить, куда я денусь». Большинство же, явно ощущая неловкость прямого отказа, начинали заниматься юридической и отчасти политической казуистикой: а соответствует ли это конституции, а не украдет ли государство эти деньги, а я и так жертвую, ах, опять «пятый пункт в паспорте» – нет ли в этом антисемитизма... И так далее.

Кстати, о «пятом пункте». Введение такого налога безусловно окажется сюрпризом для некоторых русских евреев. По крайней мере для тех, кто в уме держит возможность отъезда в Израиль на постоянное место жительства, а пока занимается здесь бизнесом или общественной деятельностью. Некоторые из них, глядя на высокопоставленных чиновников в православных храмах, уже успели креститься. И многие не подозревают, что израильский закон «О возвращении», гарантирующий право каждого еврея и членов его семьи репатрироваться на историческую родину, содержит важную оговорку. Пункт 4б гласит: «Евреем считается тот, кто рожден от матери-еврейки и не перешел в другое вероисповедание». Сегодня уличить документально еврея из России в переходе в другое вероисповедание, если он сам этого публично не объявил, практически невозможно. А тут – раз, и квас... Графа в паспорте. И приходит такой еврей в посольство или в МВД, а ему там решение Верховного суда по делу Освальда Руфайзена (известного как брат Даниэль, рожденного в еврейской семье в 1922 году, активиста молодежного сионистского движения, который в 1942 году скрывался от нацистов в монастыре, где не только добровольно крестился, но и стал монахом): «Закон “О возвращении” не распространяется на лиц, рожденных евреями, но добровольно сменивших вероисповедание. Такой человек, безусловно, может подать прошение на право жительства в Израиле, как и другие неевреи, но он не может считаться евреем, согласно закону “О возвращении”, и ему не положены ни автоматическое израильское гражданство, ни права новых репатриантов». Надо же, какая неожиданность для тех, кто из карьерных соображений спутал КПСС и Русскую православную церковь. Евреям-коммунистам в гражданстве-то не отказывали...



В общем, как ни глянь на предложение игумена Феофилакта – сплошная выгода и очевидный профит. Штамп в паспорте потребует от людей определиться: кто ты и с кем? Готов ли ты ради веры в Б-га поступиться хотя бы своими ничтожными рублями или будешь вертеться? Кстати, власти, приняв это предложение, получили бы интереснейшую информацию о степени религиозности населения. Вырастут ли платежи по подоходному налогу или граждане, привыкшие играть в кошки-мышки с государством, продолжат скрывать свои доходы не только от инспекторов, но и от своих духовных наставников? Но, думаю, государство на такой эксперимент не пойдет. У нас ведь нравственность нынче принято измерять религиозными линейками, и если окажется, что жадных больше, чем верующих, то и президента, и премьера постигнет сильное разочарование. А сколько усилий приложено: храмов понастроили, богослужения по телевидению вместо первомайских демонстраций транслируют, основы религиозных культур в школы ввели, военных священников тоже. Сами вот службы выстаивают. А люди безнравственными окажутся? И как ими потом руководить, такими жадными?

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ИЗ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПАМЯТИ

Матвей Ганапольский

Хотя для нынешнего поколения Великая Отечественная война – это почти то же, что для меня, рожденного в 1953-м, война с Наполеоном, мы, люди постарше, готовимся встретить эту дату скорбно и торжественно. Так надо, ибо это наш общий долг перед погибшими, замученными и осиротевшими.



Военнопленные засыпают землей участок Бабьего Яра, где лежат расстрелянные евреи. Начало октября 1941 года

Моя мама еще жива, ей 83 года. Она одна из немногих, кому удалось спастись в Бабьем Яру. Все мое детство мама рассказывала, как в Киеве объявили, что евреям нужно собраться в определенных местах, взяв с собой минимум вещей, имевшиеся драгоценности и детей. Все собрались, и их расстреляли в Бабьем Яру вместе с детьми, а драгоценности тщательно опечатали и отправили в рейх.

Потом была Победа, но о трагедии Бабьего Яра предпочитали молчать. Вдумайтесь: погибли тысячи людей, но свое же государство предпочитало об этом не вспоминать – государственный антисемитизм набирал обороты. Однако нечто высшее решило напомнить живым об убитых: в Бабий Яр закачивали пульпу, все прорвало и потоки воды вынесли с холма, где расстреливали, на нижнюю дорогу кости и черепа.

Это было первое напоминание потомкам. Второе было рукотворным: все заговорили о самиздатовской книжке Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», ходившей в зачитанных до дыр машинописных листах.

Однажды я, школьник-семиклассник, пошел, уже не помню с кем, на Куреневский рынок за семечками. Этот «кто-то» сказал, что нужно зайти к одной жившей неподалеку знакомой что-то забрать. Рядом с рынком был «частный дом» – так в Киеве тогда называли личные дома. Дом был маленький, в центральной комнате висела очень большая люстра, на стенах много фотографий, по углам высились книжные шкафы.

Когда мы вышли из дома, сопровождавший меня человек почему-то сказал шепотом:

– Знаешь, кто это?

– Нет, – ответил я честно.

– Это мать Анатолия Кузнецова, написавшего «Бабий Яр», – так же шепотом закончил попутчик.

Понимаете, я уже не помню, кто был этот человек, не помню, как выглядела мать Кузнецова. Только запомнил одно: мы шли по улице, вокруг кипела базарная жизнь, а мой попутчик, «кто-то», почему-то шептал мне на ухо, что это мама какого-то человека, который написал какую-то книгу. Я запомнил этот факт, потому что он был противоестественен: семиклассник не может понять, почему о какой-то книге нужно шептать на ухо.

Потом, когда книга уже была мною прочитана, я ужаснулся. Передо мной была чудовищная трагедия нации, безжалостный геноцид, смерть, поставленная на конвейер. Мне казалось, что об этом нужно кричать на каждом углу.

Но все было тихо в городе Киеве. И во время очередного Дня Победы по Крещатику еще не старые ветераны несли портреты Брежнева и Щербицкого.

Оскорбительный абсурд этой картины я понял только через много лет, когда стал задавать себе вопросы, – в какой стране живу.

Ветераны шли, ордена блестели, вечером на большом помосте пели песни и плясали. Не было только одного – упоминания о тысячах погибших в Бабьем Яру. Советская страна отказалась от них по национальному признаку.

Даже в 1976 году, когда на месте расстрела был поставлен помпезный монумент, никакого упоминания о гибели евреев на нем не было. Его заменило упоминание об абстрактных «советских гражданах». Ловко заменило, не придерешься.

Это предательство собственной Советской страны я никогда не забуду, потому что никогда не забуду, как мама рассказала мне: ее вытолкнули из очереди на расстрел те, кто знал о нем, и она, в свои двенадцать лет, пришла домой в свою опустевшую комнату в коммуналке и села на кровать, не зная, что ей делать дальше. Она поняла, что никогда больше свою маму не увидит, но три дня не выходила из этой комнаты – надеялась, что случится чудо и мама придет. Она сидела голодная на кровати, чтобы не пропустить приход мамы. Боялась, что мама ее не застанет, будет волноваться.

Я никогда не забуду, что моя страна не хотела вспоминать о злодеянии против своих граждан, потому что эти граждане были евреи.

СНОВА ВСЕ ТОТ ЖЕ СТАЛИН

Уже давно нет советской власти, мы живем в относительно свободной стране, в которой все же есть свобода мысли.

А свобода мысли рождает вопрос: кто виноват? И свободный человек хочет, чтобы виновные были наказаны.

Чужие уже наказаны – челюсть Гитлера валяется в каких-то шкафах ФСБ. Осталось воздать своим, допустившим эту трагедию.

Но тут происходит невероятное: к 65-летию Победы на арену снова выползает Сталин. И руководство города заявляет, что к празднику появятся плакаты с его изображением, «отражающие его роль».

А до этого станцию метро украсили строчками из сталинского гимна. Заявляется, что в этом ничего страшного нет, ибо все это часть нашей истории.

Сталин – он, конечно, не Гитлер, но понятие «сталинизм» появилось не на пустом месте. Не хочу вновь объяснять, в чем преступления Сталина, – скучно. Почти все документы опубликованы, все книги о его деяниях написаны.

Меня, кстати, совсем не смущает, что людям нравится Сталин. Я понимаю, что когда сам не сидишь в тюрьме по ложному обвинению, когда у тебя не вырывают ногти на допросах и когда ты с детьми не отправлена на поселение в ГУЛАГ, то можно быть романтиком и вспоминать только о том, что Сталин был великий строитель и при нем был порядок. Я понимаю, что жизнь сейчас тяжела и будущее туманно, поэтому хочется твердой руки и уверенности. Поэтому я своих сограждан, любящих Сталина, не осуждаю. Просто у них есть мнение, что Сталин – спаситель и сегодня он России крайне необходим.

А я считаю, что он был кровавым чудовищем, что его прах должен быть развеян и он должен быть предан забвению.

На мой взгляд, если бы страна была готова к войне, а руководство армии не было уничтожено Сталиным, то, возможно, не было бы Бабьего Яра и моя мама не осталась бы в двенадцать лет круглой сиротой.

То есть страна разделена на тех, кому необходим Сталин и кто его не приемлет. Это очень серьезное общественное разногласие, которое иногда доходит до драки.

Но между людьми стоит государство, которое должно держать нейтралитет и, руководствуясь международными стандартами, осудить преступления против человечности. Однако государство хочет повесить плакаты с лакированным лицом генералиссимуса.

Как лично мне смотреть на эти плакаты?

Я напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, которая, по сути, осуждает преступления нацизма и сталинизма. В документе под названием «Объединение разделенной Европы: Защита прав человека и гражданских свобод в XXI веке в регионе ОБСЕ» выражается глубокая обеспокоенность прославлением тоталитарных режимов. Есть там и предупреждение о возможном усилении экстремистских движений, в том числе неонацистских.

Германия вступила в фашистское зло, но прокляла его и делает все, чтобы фашизм был вычеркнут из ее дальнейшей истории. В этой маниакальности, в деле истребления фашистского духа нет никаких особых поэтических эмоций, а есть прагматичное понимание, что фашизм – это смерть страны, что катастрофа, к которой он неизбежно приводит, более недопустима. Есть осознание того, что фашизм может возрождаться, что у немцев, по-видимому, нет генетического сопротивления этой заразе, поэтому необходимо ежедневно выкорчевывать ее как сорняк. Немцы решили для себя, что больше никогда не войдут в эту реку. Они отделили процветающую гитлеровскую экономику и роскошные автобаны от гитлеровской идеологии, потому что автобаны – это одно, а Освенцим и расстрелы – другое. Нынешняя Германия не хочет идти в будущее с гитлеровской кровью на руках.

А Россия смело шагает в будущее со сталинским гимном, текстом про Сталина в метро и плакатами о роли Сталина в победе.

Позвольте, не тот ли это Сталин, который отказывался признать подготовку Германии к войне? Не тот ли это генералиссимус, который, узнав о нападении, сидел в прострации, а потом звонил Жукову, чтобы тот «что-то сделал»? О расстреле верхушки армии я уже упоминал.

По-моему, роль Сталина в войне неоднозначна. Но если она неоднозначна, зачем плакаты с его физиономией, прославляющие «его роль»?

Некоторые в России называют Сталина «эффективным менеджером». Это словосочетание повторили в школьном учебнике, предав память миллионов невинных, стертых в лагерную пыль во время репрессий. Есть и другие негодяи, продолжающие предавать нынешних россиян, призывая к коллективной лжи, повязывая их сталинской кровью.

В резолюции ОБСЕ есть фраза, что страны Европы пережили два мощнейших тоталитарных режима – нацистский и сталинистский, во время которых имел место геноцид, нарушались права и свободы человека, совершались военные преступления и преступления против человечности.

Что тут неправда? Не было этого?

Но современные российские сталинисты протестуют, заявляя, что Россия внесла решающий вклад в разгром фашизма, хотя резолюция не про то, что Россия не внесла решающий вклад, а про то, что сталинизм и фашизм – это две человеконенавистнические идеологии, которые уничтожали своих как чужих и чужих как своих.

ЗА ФАСАДОМ ПАМЯТНИКА

Можно ли представить себе, чтобы немцы поставили памятник Гитлеру, объяснив миру, что он, конечно, изувер, но построил хорошие автобаны. Можно ли представить, что итальянцы откроют памятник Муссолини и расскажут, что он, конечно, автор идеологии фашизма, но великий строитель и осушитель болот. А еще он любил кино, и именно при нем появилась итальянская документалистика и государственный видеоархив.

Думаю, представить себе это невозможно. В этих странах существует понимание того, что есть персоны, чью деятельность народ понимает по-разному. И новый памятник или прославляющая афиша – оскорбление чувств части своего же народа.

Но такого понимания нет в России. После всего того, что люди узнали о Сталине, решено развесить плакаты с его мудрым государственным лицом.

Но что будут символизировать эти плакаты? Нет, не победу над врагом, а факт разобщения собственных граждан.

Для меня является очевидным: памятник людям или явлению, вокруг которого существует кровавый непроясненный след, в центре города стоять не должен. Там не может гореть Вечный огонь, и дети туда не должны носить цветы, потому что история не поставила точку в вопросе: этот огонь и цветы героям или убийцам.

Точно так же не должно быть афиш с их лицами.

Я готов видеть усы Сталина на плакатах, посвященных Победе, но только если потом повесят другие плакаты, где сухим языком фактов будут сообщаться имена расстрелянных, сосланных и замученных.

И среди этих имен я хочу видеть имена и моих родственников по линии отца, сгинувших в ГУЛАГе.

Не хотите вешать плакаты, которые я хотел бы увидеть?

Тогда не вешайте те, которые я видеть не хочу, которые меня оскорбляют.

Меня оскорбляет, что я увижу прославление человека, который своей бездарностью способствовал тому, что фашисты убили моих родных.

Не хочу вспоминать Верховного главнокомандующего, сажавшего в лагеря своих же солдат-победителей и несчастных, вернувшихся из плена.

Я протестую против того, чтобы в моем любимом городе висел плакат, славящий чудовище, которое в конце жизни хотело совершить новый еврейский геноцид, осуществив массовую высылку евреев, и только смерть помешала его планам.

Шести миллионов уже убитых ему было мало?

Все известно, все доказано. Есть люди, позитивный вклад которых напрочь перечеркивается их преступлениями. Сталин именно из этих людей.

Зачем нужны памятники разобщению или плакаты взаимной ненависти? Что хотят доказать авторы идеи?

Они хотят справедливости? Но справедливость не бывает половинчатой, нужно договаривать все до конца.

Они тайные сталинисты? Возможно, но нельзя личное путать с государственным.

И вот что думается напоследок. Всегда, когда хочешь вновь восславить тирана, помни, что тираны имеют свойство возвращаться. И тогда именно ты можешь оказаться с мятым листком приговора, в котором будет написано: «Десять лет без права переписки», а это ложь, потому что твой муж или сын давно расстреляны.

Я все время думаю о тех тридцати миллионах погибших в Великой Отечественной войне – сейчас историки склоняются именно к такой цифре.

Удивительно, но именно они, погибшие, нуждаются в нашей защите.

Защиты требуют их память и чувство справедливости. Защиты требуют их кости, вот уже 65 лет валяющиеся на полях сражений, до сих пор не захороненные. Защиты требует их честь, ибо только мы можем окончательно открыть архивы и сказать, что они невиновны и что они не были японскими шпионами, которые хотели убить Сталина, а после сбежать по тоннелю, который уже начали копать, в Румынию.

Погибший – не значит забытый.

Когда-то, через пару сотен лет, мои правнуки при упоминании имени Сталина будут пожимать плечами, а его портрет не будет вызывать никаких эмоций. Но сейчас расстояние от меня до Сталина слишком мало, а память все время напоминает о потерях.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

«ПОВЕРХНОСТЬ НАТЯЖЕНИЯ» – МЕА

ШЕАРИМ

Сергей Костырко

Впервые отправляясь в Иерусалим самостоятельно (из Тель-Авива, где поселился по приезду), я, естественно, волновался. Слишком много накопило для меня имя этого города. Ну и, во-вторых, смущало положение соглядатая, человека здесь пришлого. Пришлого во всех отношениях. А хотелось бы не только «ознакамливаться» с древним городом, рассматривая живые картинки и исторические декорации в натуральную величину через стекло экскурсионного автобуса, но и как-то почувствовать его жизнь непосредственно. Пусть на чуть-чуть, но побыть составной его жизни.



На автостанции Иерусалима я спросил у двух девушек, на каком «басе» я могу «гоу ту Олд Сити». Вопрос на своем скудном английском я еще могу задать, понять ответ,

увы, – не всегда. К счастью, ответ сопровождался активной жестикой, девушки дважды ткнули рукой на остановку через улицу, и потому я смело сел на первый же подошедший к указанной остановке автобус. И еще порадовался тому, что тронулся он с людной площади полупустым, дав возможность устроиться у окна с хорошим обзором. Скажу сразу, автобус был не тот, сверяясь с картой, я понял это быстро, но возвращаться не стал: ничего не бывает случайным. Для чего-то мне надо было ехать именно этим маршрутом.

Для чего, я понял уже через несколько минут, когда слева под стенами белого могучего здания увидел неправдоподобную почти для современного города мизансцену, составленную сразу из нескольких групп молодых мужчин, одетых исключительно в черные длинные сюртуки, такие же черные шляпы с высокой тульей. Снежной белизной светили треугольники их манишек. Белый фон стен отчетливо прорисовывал острые длинные бородки и пейсы. Разумеется, я уже встречал на улицах «религиозных евреев», но не в таком количестве. Разницу я почувствовал сразу: дело не в количестве, дело в том, что здесь, в этих кварталах, они – дома. Я въехал в их город. В город религиозных ортодоксов – «сефардов, ашкеназов, хасидов, митнагедов», как названы они в скачанной мной из Сети перед поездкой в Израиль статье «Ультраортодоксы» рава Александра Айзенштадта; или, как называют их мои друзья, – «харедимных» («Б-гобоязненных»), и слово это, кстати, произносят в Израиле с самыми разными интонациями – от и до.

Автобус затормозил на остановке, и жизнь, которую я рассматривал в окно, начала втекать в салон. В автобусе потемнело от черных сюртуков и длинных пальто. Мужчины поднимались по ступенькам, не прерывая своих бесед, не отрывая от уха включенных мобильных. Я с трудом удерживал зуд в руках, в которых лежал наготове крохотный «Кэнон», позволяющий снимать незаметно. Не посмел. Ко мне пробирався один из ортодоксов – высокий, кряжистый, с румянцем во всю щеку мужчина, совсем еще молодой, можно сказать, парень, но одной рукой он придерживал идущую впереди крохотную – года три, не больше, – девочку, на другой руке, у сгиба локтя, спал младенец. Приподняв девочку, он посадил ее на пустующее рядом со мной сиденье, освободившуюся руку сунул в карман, вытащил мелочь для билета, а потом начал подвигать девочку на сиденье поближе к проходу, чтобы, как я понял, уложить на освободившееся место ребенка под присмотр девочки.

– Мужик, ты чего делаешь-то! Давай хоть я подержу ребенка!

Парень наклонился, аккуратно переложил младенчика ко мне на руки и, не оглядываясь, двинулся по проходу к шоферу за билетом. Автобус в очередной раз затормозил, девочку качнуло, и она ухватилась за мою футболку. Купив билет, парень двинулся по проходу назад, но его остановили двое таких черносюртучных. Они заговорили. Время от времени молодой отец кидал взгляд в нашу сторону, все ли там в порядке, и продолжал беседу. Девочка же тихо и доверчиво сидела рядом с грузным седым дядькой и спящим на руках у дядьки братиком.

Ну а до дядьки постепенно доходила ситуация: вот он, двадцать минут назад прибывший в Иерусалим, сидит в автобусе со спящим еврейским младенчиком на руках и девочкой, оставленной на его попечение, – то есть я, разумеется, надеялся на живой контакт с городом, но о такой вот степени интимности не мог и мечтать.

За окном же происходило странное: город выцветал на глазах. Стены домов сдвинулись вокруг автобуса. Исчезли разноцветные витрины и рекламные щиты. За окном серый камень и штукатурка старых домов, а также черно-белая графика ивритского

шрифта на залепивших стены «пашквилях» – местных афишах-газетах. Идущие по тротуару мужчины одеты в глухие черные сюртуки, серые и коричневые халаты, одноцветные или в мелкую полоску, из-под халатов – ноги в черных или белых носках и черных ботинках. Черные жилетки на белых рубашках. Шнурки и кисти, бахромой свисающие с пояса. Серые, черные, коричневые береты на головах женщин. Длинные темные юбки, глухие блузы... Где я? В еврейских местечках Галиции позапрошлых веков? В кварталах у Мыльной улицы довоенной Варшавы, какими я пытался себе вообразить их, читая Исаака Башевиса Зингера? Ощущение, будто я в каком-то сне. Но тепло и тяжесть спящего на моих руках ребенка были абсолютно реальными, как и твердый кулачок держащейся за мою футболку девочки. И ничего за окном и отдаленно не напоминало раскрашенную фанеру кинодекораций, – мир вокруг был абсолютно живым и плотным, с невероятным количеством проработанных деталей: с пятнами ржавчины на железных воротах; с отстиранными ползунками, вывешенными, как праздничные флажки, на длинной, можно сказать, бесконечной веревке; с силуэтом застывшего у стены с «пашквилом» старика; с бумажным мусором, упакованным в пластиковый мешок; с блеском вставленного в ухо под пейсами микрофончика от мобильного телефона; с потресканными, выгоревшими на солнце досками, которыми защит фронто́н старого дома, и проч. и проч.

...К нам быстро шел оторвавшийся наконец от знакомых парень. Принимая от меня так и не проснувшегося ребенка, он коротко сказал мне что-то благодарственное на иврите, подхватил девочку, и они вышли.

Я сошел на следующей остановке и медленно двинулся назад.

Я шел по Меа Шеарим, уже понимая, где я. Вокруг меня Вечный город.

Нет, разумеется, по стенам его струились электрические провода, над моей головой висели запыленные короба кондиционеров, блестели бока проезжающих «тойот» и «хонд», а также пузатая бутылка с кока-колой в руках обогнавшего меня мальчика, но все эти меты современности были чем-то вроде рамы, подчеркивающей отдельность, уникальность вставленной в нее картины.



И еще: аскетичность окружающего пейзажа и однообразие одежды не только на взрослых, но и на детях – из переулочка по ступенькам поднимались, держась за руки, две

девочки в блузках и мальчик в рубашке, пошитых из одной материи, – почему-то они заставили меня вспомнить собственное детство – Железнодорожную слободу города Уссурийска в конце 50-х годов. Та же ситуация, когда язык не поворачивается назвать окружающую меня жизнь бедной. Бедна та жизнь, которая сравнивает себя с другой, богатой. А эта, похоже, ни с кем себя не сравнивает. Эта держится с редким достоинством. Нет, это не бедность – это добровольная аскеза.

Таким было первое впечатление от Меа Шеарим. Потом я приходил сюда несколько раз, и один, и с персональным экскурсоводом Ицхаком (кипа его, в отличие от экипировки жителей Меа Шеарим, была цветной, но в рюкзаке лежал приготовленный для нашей прогулки пухлый том из Танаха, который Ицхак вынул сразу же, в начале нашей прогулки, и зачитывал на каждом шагу, объясняя, что я на самом деле вижу), – и это первое впечатление от Меа Шеарим не рассеивалось, напротив – оно усиливалось.

Я действительно оказался в другом времени. И времени как бы даже не вполне физическом. Меа Шеарим – феномен вневременной. Персонификация почти двухтысячелетнего усилия евреев оставаться евреями. Меа Шеарим прошел сквозь века, не меняя образа жизни и ее внутреннего содержания. Трудно подсчитать, сколько племен и народов выварились до полного растворения в многонациональном кипящем котле, который представляла собой история Средиземноморья в последние две тысячи лет; сколько исчезло языков и верований. Евреи остались. Более того, они вернулись на свою историческую родину. И сама возможность этого возвращения, возможность войти в свой дом, утраченный, казалось бы, навсегда, заговорить на своем языке обеспечена была сохранностью на протяжении восемнадцати столетий самого кода национальной, то есть религиозной еврейской жизни в неизменном почти виде. Хранителями этого кода и были вот эти, как бы пришедшие из давно почивших времен, люди – насельники Меа Шеарим. Вот они, вокруг меня, поблескивают очками в новомодной оправе, прижимают мобильные телефоны к уху, отодвинув вымытые шампунем «Head&Shoulders» пейсы, но так же, как двести, и тысячу лет назад, смысл и содержание их жизни остается в сидении над раскрытой книгой («еврей – это тот, кто читает» – такое сверхкраткое определение национальности я услышал от Михаила Гробмана), только сидят они уже не в крохотных комнатках еврейских кварталов Дамаска, Гранады, Варшавы или Вильно, а в просторном с тонкими квадратными колоннами, поддерживающими расписанный потолок, зале, вдоль стен которого высокие шкафы с книгами, в здании, расположенном в самом центре Иерусалима. Вот эти молодые, и не слишком, и далеко уже не молодые мужчины, посвятившие свои жизни усвоению, осознанию, сохранению того строя мысли и чувствования, который хранили их предки восемнадцать столетий. Экзотика? Возможно. Это если рассматривать их в контексте сегодняшней жизни улиц Яффо или Бен-Йеуды, в контексте нынешней Москвы, Барселоны, Копенгагена. Но кто сказал, что человечество так уж сильно поумнело за два тысячелетия? Замена голубиной почты мобильным телефоном – еще не критерий. XX век показал, чего стоит внешний цивилизационный лоск, которым так гордились европейцы на рубеже XIX–XX веков. И потому, увы, наличие в этом мире Меа Шеарим остается, видимо, актуальным.

Да, я знаю, что взаимоотношения ортодоксов с религиозными сионистами (не говоря уж об израильских «левых»), активно создающими сегодняшний Израиль, здесь достаточно сложные. На стенах Меа Шеарим, то есть в квартале, оберегаемом созданным сионистами государством, висят плакаты с надписями: «Сионист – враг еврея». Взаимоотношения эти Ицхак проиллюстрировал для меня старым анекдотом про еврея, построившего себе на необитаемом острове две синагоги, и на вопрос, зачем тебе две, ответившего: «Как зачем? Одна синагога, чтобы ходить в нее, а вторая синагога – чтобы не ходить в нее». Но, поверх всех их споров (это уже действительно не моего ума дело), я,

как человек, наблюдающий ситуацию издали, могу себе позволить свободу вот этого изложения собственных ощущений.



Гуляя по Меа Шеарим, я вспоминал зингеровский роман «Раскаявшийся» – про успешного американского еврея-бизнесмена, которого вдруг затошнило от языческой дикости современной цивилизации и который прилетел в Израиль, чтобы «стать евреем». И единственным, как обнаружил герой Зингера, способом для него стать евреем оказался его приход в Меа Шеарим и освоение образа жизни религиозного еврея, всей этой как бы рутины: как одеваться, как стричься, когда, где и как молиться, что есть на завтрак, а что – на ужин и т. д. При всей страстности зингеровского повествования, которое я бы назвал еврейским вариантом толстовской «Крейцеровой сонаты», описываемое в нем отношение к форме содержит свою логику. Непроизвольный жест бывает умнее нас. Психомоторика может определить более короткий путь к цели, нежели логика: взаимоотношения формы и содержания на самом деле гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот еще одна отдаленная ассоциация, которая возникла у меня во время прогулок по Меа Шеарим: спор двух русских литераторов о форме (сейчас, записывая свои впечатления, я могу воспроизвести по оригиналу запись об этом споре из дневников Владимира Лакшина): «Залыгин заходил. Интересн. разговор о Катаеве. Он очень ценит его, и это характерно. Доказательства – от точн. наук. М. б., еще не открыто, для чего это, но для чего-то важного, как у математика Малышева. Важно не ядро, а поверхность, поверхность натяжения образует форму. Спорил с ним».



Не имея возможности вникнуть в ядро – разве только со слов Ицхака и литературно-художественных переложений его от Агнона до Зингера, – полноценно я мог

воспринимать здесь только «натяжение поверхности». И это натяжение более чем выразительно. Оно почти самодостаточно – все, что я вижу в этом мире: белье на веревках, очередь исключительно из женщин в кошерном магазинчике, том Танаха, привычно ложащийся в руку Ицхака, жест, которым еврей при входе в дом трогает закрепленную у наличника мезузу, – эти и невероятное количество других жестов кажутся абсолютно самодостаточными, и, похоже, они ведут к ядру еврейской жизни так же безошибочно, как и многолетние усилия читающего Тору.

Не знаю. Не мне судить. Слишком далекая и сложная для меня материя. Но и неожиданно близкая, если сам вид жизни Меа Шеарим способен так заморозить, и отнюдь не «экзотикой еврейской жизни», а неким обнажением сущностного – обнажением абсолютно реальным, даже если ты просто гуляешь здесь как турист, воровато щелкающий зажатой в руке цифровой мыльницей, чтобы – а вот это уже серьезно – хоть чуть-чуть, хоть кроху самого духа этого места оставить себе. Потому как дело тут уже не только в иудаизме, дело в способности духа быть неистребимым.



ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ДРУГ МИЛЫЙ, ПРЕДАДИМСЯ БЕГУ

Михаил Горелик

В январе в Твери состоялся 33-й международный марафон. Программа спортивного праздника включала, кроме марафона, забег на десять километров, заезд инвалидов-колясочников, народный забег. Автор этих строк пробежал десять километров.



Старт забега

Сначала стартуют марафонцы. Через пятнадцать минут те, кто бежит десятку. Марафонцев около двух тысяч – самый многочисленный из всех тивериадских марафонов. И бегущих десятку около полутора тысяч. Толпа. Гул разноязыких голосов. Объятия встреч. Улыбки. Фото на память. Разноцветные футболки. Мужчины и женщины самых разных возрастов – от детей до старцев. Музыка. Клоуны на ходулях. Зрители. Упоительная атмосфера праздника. Короткие речи. Мэр Твери, директор Нью-Йоркского марафона, кто-то из городского Департамента спорта.

Раньше я этих радостей совершенно не понимал. Зачем бежать в толпе, когда можно одному? Зачем бежать по асфальту, когда можно по лесу? Бег на длинные дистанции – занятие для любящих одиночество. А это совершенно новый опыт. Праздника и единства с этими прекрасными, окружающими меня людьми.

Мэр сказал: наш марафон – самый лучший. Конечно, лучший. Самое лучшее то, что делаешь сейчас. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Не мой опыт. Лучшая гора – та, которая сейчас. Те горы, на которых не бывал, – фикция.

Я случайно притиснут толпой к линии старта. Неправильная позиция. Правильное место сзади. Для меня правильное. Старт. Все приходит в движение. Меня обгоняют. Те, кто порезвей, но в толпе оказались сзади. Понятно, что обгоняют. Многие по возрасту годятся во внуки. Однако ж и те, кто переоценил свою резвость, не рассчитали

сил. Такие наверняка есть. Не могут не быть. Их я обойду после поворота. Все наперед известно. Если бы начинал сзади, обгонял бы только я.



38-й км марафона. Марафон кончился, указатели еще остались

Большой соблазн поддаться порыву и форсировать темп. И все равно начинаю чуть быстрее обычного. Атмосфера увлекает. Это «чуть» под контролем, я его себе разрешаю. Шоссе 90. Пересекает страну с севера на юг. Аллея, уводящая из города. Деревья. Цветущие кусты. Сияющая свежей зеленью гора справа. Слева Кинерет и далекие, залитые солнцем горы на том берегу. Конечно, самый лучший. Даже если отвлечься от субъективного переживания. Если не самый красивый, то наверняка один из самых красивых. И самый низкий: минус двести десять относительно уровня моря. Я еще успел с утраца поплавать. По сравнению с марафоном десятка, конечно, ерунда, никакое не испытание, одна приятность. Они будут бежать до кибуца Эйн-Гев, двадцать один с лишним километр, пересекут дважды, туда-сюда, Иордан, жаль, я не с ними, повернув, увидят Тверию с другого берега. Мы повернем через пять километров. Всего-то. Двадцать шесть в тени. Без ветра. На солнце, надо полагать, все тридцать. Пора снимать футболку. Номер я благоразумно пришили на трусы. Футболкой хорошо вытирать пот со лба – чтобы в глаза пот не попал. Контролирую время и скорость по ощущению: часы внезапно умерли незадолго до того, как отправился в аэропорт. Это знак. Зачем часы? Счастливые часы не наблюдают. Чего на них смотреть? Вредная привычка, глупость, невротическая суетливая потребность. Совершенный не торопится и не опаздывает. Наложение пейзажей. Вон уже и поворот показался. Пять километров – полчаса. Чуть больше, чуть меньше. Я вижу просеку, ведущую к Никульскому, вади в Гиват-Зееве, узкий мост над Чарльз-Ривер, шум небольшого водопада, аллею на Комменвелф, газон покрыт опавшими листьями, Обердейлский парк, Екатерининский парк, который я продолжаю по привычке

именовать «цедеса», малый круг вокруг нижнего, с утками и лодками, пруда, большой круг вдоль ограды, мимо суворовской часовни с глядящим на нее увенчанным знаменитым хохолком бюстом, барельефы баталий, с обеганием верхнего пруда и потом вниз мимо площадки военной техники, теннисные корты, ресторанчик, танцплощадка, Екатерининский, с тыльной стороны, дворец, Сокольники, можно кружить в них, можно выбежать в Лосиный Остров и бежать ровно на восток к Кольцевой по Абрамцевской просеке, пространство-время, все пейзажи собраны сейчас в точке получаса. Пять километров. Часы не нужны. И без них все знаю. Победы не нужны. Даже над собой. Победы, поражения – фикция. Бегу как дышится. Торопиться некуда. Все-таки как это общее движение увлекает. Лучшее, что написал Мураками, – книга о беге, как готовился к Нью-Йоркскому марафону. Остальное, в общем, попса. Теперь к этим накладывающимся друг на друга пейзажам прибавится Кинерет, его горы, его деревья, его цветущие кусты. На повороте стол, пластиковые стаканы с водой. Некоторые пьют. Буду я терять время на воду! Дело не в потере времени: входишь в гипнотический ритм, было бы глупо терять. Как раз поймал, разогнался до рабочей скорости, раньше получаса обыкновенно не получается. Сейчас даже раньше, чем обычно, резвее начал. Вода – это для марафона. При такой жаре им без воды никак. Так, вот и повернули, вот и обратно. Теперь Кинерет справа. Зеленая гора слева. Поменялись местами. И смотрятся по-иному. Бежишь по одной и той же дороге, однако, разворачиваясь, меняешь пейзаж. Все, как и ожидалось: начинаю обгонять понемногу тех, кто слабеет. Кое-кто и на шаг уже перешел. Обычное для таких забегов дело. Это не значит, что непременно сошли с дистанции, передохнут малость и опять побегут. Я-то, наоборот, чуток прибавил. Впереди бежит парень в кипе с развевающимися щитом. Бойко бежит. В молодости кажется, что возможности тела безграничны. С возрастом приходит опыт отказов. Дело не в дыхании, что дыхание! – в суставах. Иногда удается уговорить боль, иногда нет. Тогда остается перейти на хромающий шаг. Что делать, со временем начинаешь принимать и это. Хоть сколько-то пробежал – и то хорошо, и на том спасибо. Но все-таки пускай не сегодня. Возможность внезапного отказа, непредсказуемость тела неожиданным образом сообщают особую остроту самочувствию: ты знаешь, что тело может в любой момент отказать, ты это знаешь, ты не в силах этому помешать, ты готов это принять, но оно не отказывает, могло бы, но нет, ты воспринимаешь это как дар, придающий бегу особую остроту, молодым не понять, ты бежишь, тело послушно, восхитительное состояние одновременной собранности и расслабленности, перестаешь думать, на обочине стоят люди, аплодируют, ободряют, играет музыка, я все чаще вытираю пот со лба футболкой, у меня всегда так, а уж при такой-то жаре и безветрии лишь бы пот в глаза не попал, бегущий рядом парень протягивает бутылку с водой, прекрасная солидарность, ло, тогда (спасибо, нет), добегу, вот уж тогда и попью, бежал бы марафон, пора было бы и приложиться, обезвоживание опасно, но это не мой случай, осталось-то всего ничего, вот и Тверия показалась. Выбегаю на финишную прямую, нарядная красная арка над финишем, чуть усиливаюсь, перехожу на более широкий шаг, вбегаю в арку, все!



Памятная медаль

Развязываю шнурки, высвобождаю электронный чип, зафиксировавший начало и конец бега, отдаю организаторам, получаю взамен памятную медаль. Теперь и попить можно. Медленно. Очень медленно. Не пить воду – есть воду. Посидеть на теплом песке. Не торопясь, поплыть брассом в сторону далеких Голан. Вода, конечно, холодней, чем в Эйлате, никакого сравнения. Жизнь прекрасна. Я занял почетное 938-е место, оставив за спиной человек четыреста.

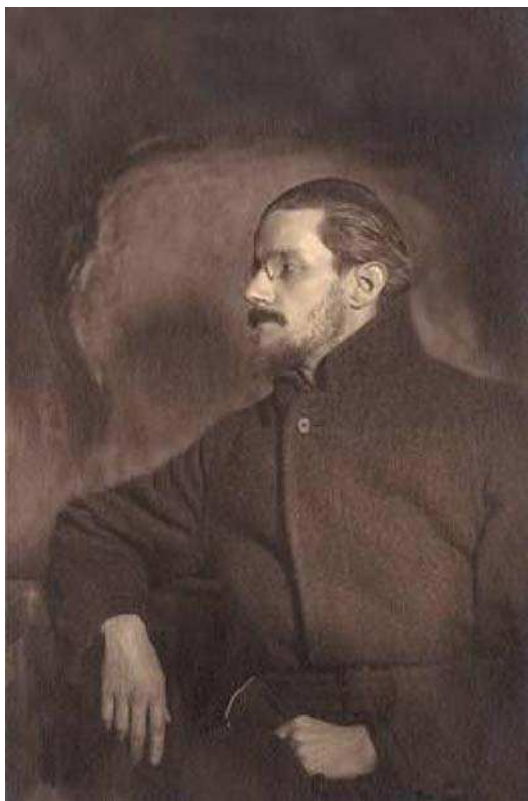
Ночью в Москве было минус семнадцать.

На следующее утро я уже бежал на лыжах в Сокольниках.

ПАРДЕСЫ ДЖОЙСА

Александр Иличевский

В Израиле всегда превосходно спится, без задних ног. Первая моя ночь двадцать лет назад прошла в студенческом общежитии Вейцмановского института на чем-то среднем между раскладушкой и гладильной доской. Высота постели находилась вровень с балконными перилами, и каждую ночь меня преследовало ощущение, что, засыпая, я отлетаю куда-то вверх и вбок и отправляюсь в неизвестное не менее, чем бездонное, путешествие над окраинами Реховота. В первое утро я там и оказался, а месяц спустя после приезда я полюбил там гулять.



Джеймс Джойс. Цюрих. 1918 год

В первое утро друг, у которого я остановился, разбудил меня на заре словами: «Вставай, пойдем воровать апельсины». Мы умылись и отправились на дело. Сторож апельсинового сада еще спал, и поэтому мы поздоровались только с его собаками. Деревья стояли еще по пояс в тумане. Я в первый раз видел апельсиновые деревья. До того момента апельсины мною наблюдались только в ящиках или на витрине. Вообще, сознание мое было явно ошеломлено теплой осенью, царившей на Святой земле, – улетал я накануне из ноябрьской Москвы, заваленной мокрым снегом.

Мой друг подходил к тому или другому дереву, срывал плод, разламывал его, чтобы впиться в мякоть и прислушаться к своему ощущению – насколько спелый, и шел решительно дальше. Для меня каждый апельсин в этом только народившемся у горизонта

солнечном свете был драгоценен, и все вокруг мне виделось чистым волшебством, невидалью, и я никак не мог согласиться с придиричностью моего друга. Оставлять такие богатства ради лучших казалось мне кощунством. Ушли мы из этого райского сада с рюкзачком, полным великолепных, невиданных по аромату и сладости апельсинов.

В первый же день стало ясно, что если моя плоть и сделана из земли, то именно из той, что теперь у меня под ногами. Впервые тогда я смог вообразить себя лежащим в этой земле без того страха, который в детстве у меня вызывало это представление.

Поселился я в кампусе Вейцмановского института в небольшом домике – цриффе. За ним, у мусорных ящиков, вертелись худущие, с огромными ушами, облезлые кошки. Они казались только что спрыгнувшими с египетских барельефов и вначале сильно меня напугали. Несколько каркасных бараков среди эвкалиптовых деревьев, чьи стволы были похожи на слоновьи ноги, стояло вокруг овальной впадины, поросшей травой. Каждый вечер, спускаясь в центр земляного параболоида, я ложился навзничь и наблюдал стремительный южный закат, не похожий на закаты Среднерусской возвышенности: рассеяние Рэлея на атмосферных взвешьях определяет палитру восходов и закатов – вот почему цвет неба так сильно зависит от характера почвы и растений, на ней произрастающих.

На новом месте меня занимало все – начиная с природоведения. Впервые в жизни я вел «дневник закатов» – заносил в заведенную тетрадку время, когда солнце касалось верхушек деревьев, и кратко описывал, насколько хватало слов и способностей, характер облачности и колорита. О, сколько восторга вызвал январский ливень, стеной обрушившийся на Святую землю, когда по улицам хлынуло наводнение и молнии лупили во все места, не оснащенные громоотводами, в частности в автозаправки, прямоком в зарытые в землю кессоны с топливом, и выли кругом автомобильные сигнализации и сирены противовоздушной обороны.

Я полюбил бродить в окрестностях Реховота. Гулял в обществе лохматой собаки Лизы, кормившейся у студенческих цриффов. Дымчатые холмистые дали открывались со склона. В подножии холма размещалась обрушенная усадьба. Во дворе ее росли пять длинных тощих пальм, лежали заросшие травой ржавые останки сельскохозяйственной техники, кучки битого кирпича, какая-то рухлядь. Вокруг усадьбы широко по склону холма росли дички апельсиновых деревьев – уже обмельчавшие, задичавшие растения, плоды которых были кислы и горьки. В низкорослом кустарнике жили дрозды с ярко-желтыми клювами. Дрозд – символ английской поэзии, и вслушиваться в речь его – пронзительную и многообразную – было большим удовольствием.

На втором этаже усадьбы, лишенной крыши, я подобрал несколько пожелтевших клочков писем, написанных химическим карандашом по-английски. На обрывке конверта удалось разглядеть штемпель: 1926, London. Я прочитал и сунул листки под куски штукатурки, где они лежали, и оглянулся.

Лиза, забравшись на развалины и пропав в косматом протуберанце, хватала зевком солнце. Взор мой парил. Он утопал в световой дымке, стремясь вобрать весь ландшафт, весь до последней различимой детали. Апельсиновые сады тянулись внизу сизыми кучевыми рощами по обеим сторонам петливой грунтовой дороги. Закатные солнца в них висели на ветках под густой листвой: срываешь один плод, разламываешь, выжимаешь в подставленные губы, на пробу, утираешься от сока, идешь дальше, от дерева к дереву, выбирая. Лиза, носясь под деревьями, заигрывается с собаками сторожа, берет на

себя их внимание. Черные дрозды с желтыми клювами, оглушительно распевая, перелетают, перепрыгивают от куста к кусту в сухой блестящей траве. В ней я однажды наткнулся на огромную черепаху. Размером с пятилитровую кастрюлю, черепаха обнаружила на своем панцире несколько вырезанных и расплывшихся по мере роста букв.

Обрывки писем содержали, кроме личных признаний, призывы приехать. Женский почерк (более мелкий, округлый и тщательный) отказывался ехать в небезопасную Палестину и призывал адресата приехать на Новый год самому. Письма было стыдно читать. Но сейчас мне более непонятно, почему я решил оставить их на том же самом месте (ясное дело, стыд, вызванный осознанием подглядывания, должен был загаситься исследовательским интересом), чем каким образом они там сохранились в развалинах под открытым небом... Мужской почерк (раздельные прямые высокие буквы) сообщал в подробностях, как происходит сбор урожая, какие деревья насаждаются в низинных местах города, как возделываются плантации, какие сельскохозяйственные машины планируется купить в будущем году, а какие придется взять в аренду. Женский почерк сообщал, кто присутствовал на похоронах бабушки, как были обставлены поминки...

Там, в окрестностях Реховота, на взгорье, также я мог несколько часов просидеть на возвышенном месте – перед ландшафтом заката. Что думал при этом, я никогда выразить не мог, но ощущения сообщали, что происходило рождение нового стремления, нового движителя. Однажды это совместилось с чтением.

Мне было двадцать лет, на коленях у меня лежал «Улисс», я курил сигареты «Nobless», и занимала меня только одна серьезная мысль: каким образом в главе «Навсикая», изобразительный ряд которой в первой половине текста остается принципиально черно-белым, во второй половине вдруг необъяснимым образом вспыхивает всеми оттенками радуги? Задумавшись и не найдя ни единого прилагательного, ответственного за это преобразование, я стал перелистывать страницы и наткнулся вот на что:

He walked back along Dorset street, reading gravely. Agendath Netaim: planter's company. To purchase vast sandy tracts from Turkish government and plant with eucalyptus trees. Excellent for shade, fuel and construction. Orangegroves and immense melonfields north of Jaffa. You pay eight marks and they plant a dunam of land for you with olives, oranges, almonds or citrons. Olives cheaper: oranges need artificial irrigation. Every year you get a sending of the crop. Your name entered for life as owner in the book of the union. Can pay ten down and the balance in yearly installments. Bleibtreustrasse 34, Berlin, W. 15⁰¹.

Все это означало только одно: несколько дней назад, в развалинах, я читал письма Блума, обращенные к Мэрион. И если бы не стояло после этого абзаца «Nothing doing. Still an idea behind it.»^[2], я бы и вправду принял бы все это за чистую монету.

□ Он зашагал обратно по Дорсет-стрит, углубившись в чтение. Агендат Нетаим – товарищество плантаторов. Приобрести у турецкого правительства большие песчаные участки и засадить эвкалиптовыми деревьями. Дают отличную тень, топливо и строительный материал. Апельсиновые плантации и необъятные дынные бахчи к северу от Яффы. Вы платите восемьдесят марок, и для вас засаживают дунам земли маслинами, апельсинами, миндалем или лимонами. Маслины дешевле: для апельсинов нужно искусственное орошение. Ежегодно вам высылаются образцы урожая. Вас вносят в книги товарищества в качестве пожизненного владельца. Можете уплатить наличными десять, потом годичные взносы. Берлин, W. 15, Бляйбтройштрассе, 34 (здесь и далее перевод с английского В.А. Хинкиса и С.С. Хоружего).

^[2] Не выйдет. Но что-то есть в этом (*англ.*).

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ГРИГОРИЙ ФРИД И КЛУБ

ИНАКОМЫСЛЯЩИХ

Беседу ведет Ирина Мак

Тридцать лет назад, еще школьницей оказавшись на заседании Московского молодежного музыкального клуба в Доме композиторов, я не предполагала, насколько это место и эти люди изменят мою – и не только мою – жизнь. Говоря «эти люди», я прежде всего имею в виду Григория Самуиловича Фрида, композитора, одного из основателей и бессменного руководителя клуба, который в то жесткое и, казалось, совершенно бесперспективное время устроил в Москве этот оплот вольнодумства и диссидентства. Те, кто сюда попадал, здесь и оставались – несмотря на скромные размеры зала. «Четверги у Фрида» были источником знаний в самых разных областях, и прежде всего в музыке. Ибо больше нигде было тогда услышать сочинения Шенберга, Берга, Шнитке, Денисова, Губайдулиной... И узнать мнения людей о музыке и о жизни, высказанные без оглядки на цензоров и общепринятую точку зрения. То, о чем обычно шептались на кухне, здесь обсуждали вслух. Здесь спорили психологи, философы и врачи. На этой сцене играли Мария Юдина и Мария Гринберг, выступали Мария Осиповна Кнебель и Вильгельм Левик, Бэлла Ахмадулина, Натан Эйдельман... Члены молодежного клуба старели, многие разъезжались из страны. В США, кстати, сегодня живут дочь и внуки Фрида, а сам он известен в русскоязычных кругах Америки как автор нескольких книг и композитор, написавший, среди прочего, монооперы «Письма Ван Гога» и «Дневник Анны Франк». Последняя выдержала десятки постановок в Германии и США, и только что, в год юбилея композитора – Фриду в этом году исполняется 95 лет, а клубу – 45, прошла очередная премьера – в Брно, о которой автор узнал от меня.



Анат Ефрати в опере «Дневник Анны Франк». Вена. Май 1998 года

– **Неужели вы о ней даже не слышали?**

– Нет, но время от времени «Дневник...» где-то ставят. Это, я думаю, мюнхенская постановка, 2009 года. Я теперь уже не езжу, но я был на четырех премьерах «Дневника Анны Франк» в Германии, видел спектакли в Голландии, блестящую постановку в Вене.

– **Я слышала превосходную запись оперы, сделанную американкой Маргарет Чокер, 1978 года. Она с вами репетировала?**

– Что вы, тогда у нас эта музыка не могла быть исполнена. Эту запись передавали по «Голосу Америки», и я слышал ее, приезжая на дачу, – за городом не так глушили.

– **Откуда возникла идея оперы?**

– У нас «Дневник Анны Франк» был издан лет на 13 позже, чем в Европе: благодаря усилиям Ильи Эренбурга его выпустили в 1960-м, в переводе Райт-Ковалевой. Дневник меня потряс, но мысли об опере тогда еще не было. А в 1969-м, когда я перечитывал книгу, меня вдруг осенило, что это готовое либретто. Но что значит готовое? Из 350 страниц надо было сделать девять-десять, я как сумасшедший работал над текстом и тут же стал писать музыку. За два-три месяца был готов клавиш, а осенью того же года я сделал партитуру.

– **Вы думали, что увидите оперу на советской сцене?**

– Нет, и не было даже мысли, кто бы мог это исполнить. Дирижер Виталий Катаев подал мне идею поговорить с замечательной ленинградской певицей Надеждой Юреновой. Причем я понимал, что здесь эта опера едва ли будет поставлена, но, может быть, по-настоящему ее исполнят в Израиле. То, что она прозвучит в Германии, и во сне не могло присниться. Когда же в 1993-м году состоялась премьера в Нюрнберге...

– **Вы тогда впервые попали в Германию?**

– После войны – да. В Нюрнберге был очень хороший дирижер – Франц Киллер. Незадолго до этого он побывал в Музее Анны Франк в Амстердаме, и у него возникла идея поставить оперу на немецкой сцене. Бургомистр Нюрнберга, который принимал нас с женой на следующий день после премьеры, спросил, как я отношусь к тому, что опера о еврейской девочке ни разу не звучала в Израиле и первое сценическое воплощение состоялось в Германии. Дело в том, что в Советском Союзе «Дневник Анны Франк» исполняли в Кисловодске и Свердловске – но в концертном исполнении, а на оперной сцене – только в Воронеже. Я ответил, что для меня это невероятное потрясение.

– **И с тех пор в Германии опера исполняется постоянно...**

– Семнадцать лет – стучу по дереву – ее ставят там в разных городах и по-разному: иногда в больших театрах, с великолепными певицами и хорошей постановкой – мне очень понравилась премьера в Нюрнберге, спектакль во Франкфурте, в оперном театре, в камерном зале Шагала. Сцена представляла собой развернутый дневник. Потом я сделал вариант партитуры на девять музыкантов, чтобы оперу могли ставить небольшие

театры. Бывали наивные исполнения – в Потсдаме поставили оперу для детей и для наглядности ввели в спектакль гестаповцев. А после Германии больше всего «Дневник...» ставят в Америке.

– **В Израиле его так и не исполнили?**

– Нет. В течение многих лет шли переговоры, но безрезультатно.

– **Где был самый яркий спектакль?**

– В Вене, где великолепно пела солистка Венской оперы израильтянка Анат Ефрати. Премьера состоялась 5 мая 1998 года, в День национального покаяния – в годовщину освобождения концлагеря Маутхаузен. Было несколько спектаклей в Венской опере, но первый – в ратуше. Присутствовали президент страны, правительство, члены парламента и уцелевшие узники Маутхаузена, во главе со знаменитым Симоном Визенталем. Сцены в ратуше не было – только полукруглый зал и колонны, которые гениально использовал Эдвард Пиплитц, один из лучших австрийских режиссеров. У меня в опере Анна погибает, произнося слова «До тех пор, пока ты можешь без страха смотреть на небо...». По замыслу режиссера наверху было чердачное окно, и чтобы дотянуться до него, актриса ставила стол, на него столик, стул, залезала на эту пирамиду и стояла как Жанна д'Арк на костре... Это исполнение стало моим самым большим успехом. Что меня удивило: в фойе Венской оперы устроили фотовыставку «Евреи и нацизм». Первым был Малер, потом Бруно Вальтер с Рихардом Штраусом, за ним еще кто-то, Геббельс с каким-то евреем... А в конце я увидел себя...

– **Оказавшись в одном ряду с Малером, что вы чувствовали?**

– Большую неловкость.

– **Вы себя рано идентифицировали как еврея?**

– Что такое еврей, в детстве я, конечно, не понимал. Но знал, что места, откуда происходила семья дедушки, – Бобруйск, Полтава, Прилуки, где родился отец, – в черте оседлости. Они говорили на идише, но прекрасно знали русский язык, и мечтой дедушки было, чтобы дети – из тринадцати детей выжило шесть – вышли в люди. Дедушка умер в 1933-м, когда мне было 17. Он не был ортодоксальным евреем, но иногда ходил в синагогу. Дома говорили по-русски. До войны, я бы даже сказал – до ее второй половины, пока вождь не произнес тост «За великий русский народ!», антисемитизма я не чувствовал. Ни когда учился в школе, ни на фронте. Одна девочка в классе седьмом сказала мне «жид», и ее, бедную, чуть не исключили из школы.

– **А родились вы в Петрограде...**

– В 1915 году, и прожил там первые три года моей жизни. Мама была профессиональной пианисткой – окончила, будучи еврейкой, по двухпроцентной норме Петербургскую консерваторию. Папа – скрипач-любитель (окончил Киевское музыкальное училище) и журналист. Он много ездил, и мы с мамой вместе с ним: жили в Брянске, Орле, потом обосновались в Москве. Когда мы поселились в Дегтярном переулке, в трех проходных комнатах громадной коммунальной квартиры, папа основал журнал «Театр и музыка», и редакция находилась у нас дома.

– **Правда, что у вас музицировали Владимир Горовиц и Натан Мильштейн?**

– Да, накануне отъезда в Америку, в 1923 году. Журнал был тесно связан с Камерным театром, с Малым, у нас неоднократно бывал Луначарский. Однажды он принес фотографию своей жены, актрисы Натальи Розенель, с тем чтобы папа поместил ее в журнале. Что очень смутило отца. В нашем доме бывало много художников, артистов... Я хорошо помню участников знаменитого квартета имени Страдивариуса – Даниила Карпиловского, Виктора Кубацкого, Владимира Бакалейникова. Отец был разносторонне талантлив, но полностью себя не реализовал. Арестовали его 10 июня 1927 года. Вообще, арестовывали его часто. Первый раз – в 1905 году: во время разгона студенческой демонстрации его ранил казак шашкой по голове, и 14 месяцев он был в ссылке в Черниговской губернии. Потом он сидел при белых, при красных, при зеленых. Он был человек легкомысленный, блестящий оратор, говорил не всегда то, что нужно. Самая крупная «посадка» была в 1927 году. Приговорили к трем годам на Соловках – в то время это был страшный лагерь – и последующей высылке в Сибирь. Так что, возвращаясь к вопросу о моем еврействе, скажу, что до войны я себя евреем не чувствовал, и если бы мне предложили записаться русским или китайцем, мне было бы безразлично. А после войны ни за что бы не согласился. И знаете, даже не будучи в Израиле, я всегда был поборником того, чтобы это государство существовало и укреплялось. Я горжусь, что такое государство есть. У меня там много друзей.

– **Вы видели во время войны проявления жестокости по отношению к евреям?**

– Во время войны – нет, хотя пробыл в армии шесть лет – два года срочной службы и четыре года на фронте – и у меня погибли на войне младший брат и двоюродный брат – танкист и очень много друзей. Но я видел зверства по отношению ко всему нашему населению, к пленным. Тогда мы не знали о лагерях смерти – также как очень мало знали о наших лагерях. И никогда не испытывая любви к Сталину, зная об арестах и расстрелах, не только я, но и старшее поколение не могли себе многого объяснить. И для меня смерть Сталина, хотя сейчас это наивно звучит, затушевана тем, что в этот день умер Прокофьев. В 11 вечера 5 марта 1953 года мне позвонил Борис Терентьев, секретарь парторганизации Союза композиторов СССР, и говорит: «Быстро приезжай в Союз композиторов – будешь ночь стоять у гроба Сергея Сергеевича». Союз композиторов находился тогда на Миусской. Тело Прокофьева с трудом удалось вывезти из его квартиры – он жил в Камергерском переулке, где все было оцеплено. И ночь я провел около его гроба.

– **Вы оказались в Московской консерватории в лучшее время: никогда позже здесь не работало столько великих музыкантов.**

– Достаточно сказать, что класс фортепиано вели Игумнов, Нейгауз, Гольденвейзер, Фейнберг, Юдина, композицию преподавали Глиер, Мясковский, Анатолий Александров, Литинский, Шебалин, потом приглашенный Прокофьев, скрипку – Ямпольский, Мострас, Цейтлин... За границу никого не пускали, и все отдавали себя ученикам. У Гольденвейзера учились Роза Тамаркина, Григорий Гинзбург, у Нейгауза – Миля Гилельс, Рихтер, у Игумнова – Оборин, Флиер, Мария Гринберг... Время было голодное, многие студенты жили в общежитии, и все время мы проводили в Консерватории. На майские и ноябрьские праздники о том, чтобы не пойти на демонстрацию, не могло быть и речи – это было бы дурно истолковано. Вставали в семь утра, доходили до Никитских ворот и стояли до двух-трех часов дня. Но на демонстрациях

мы видели всех: могли подойти к Нейгаузу, Гедике... Это общение было для нас самым интересным.

– В одной из ваших книг я обнаружила историю о 14 портретах композиторов в Большом зале. Как вы вернулись с фронта, пришли в консерваторию на Девятую симфонию Шостаковича и обнаружили, что портреты поменяли.

– Четыре портрета. Почему убрали Мендельсона – понятно: еврей. Но почему вместе с ним сняли Генделя, Глюка и Гайдна, заменив их Шопеном, Римским-Корсаковым, Мусоргским и Даргомыжским? Ведь это был замысел еще Рубинштейна, и новые портреты очень отличаются по стилю...



Григорий Фрид перед портретом матери, выполненным его кистью

– **Как вы познакомились с Шостаковичем?**

– Благодаря удивительному музыканту Николаю Жилиеву, о трагической фигуре которого у меня сохранилось самое яркое воспоминание. Его посадили 3 ноября 1937 года – он был очень дружен с семьей Тухачевского, также, кстати, как и Шостакович,

– и расстреляли 20 января 1938-го. Жилиев занимал комнату в захлавленной коммуналке, где у него бывали Прокофьев, Мясковский, и все они относились к нему с огромным уважением. Это был человек феноменальной эрудиции, очень странный. Где-то весной 1936 года Николай Сергеевич сказал: «Приходи ко мне». Это была большая честь – он был профессором, вел композицию. Он принимал по пятницам, поил крепким чаем с пирогами, на которые тратил всю зарплату. Жилиев сказал: «Сейчас Митя придет». – «Какой Митя?» – «Шостакович». Я был потрясен: хотя Шостакович был тогда молод, он был кумиром многих студентов. В 1933-м, когда я только приехал из Иркутска, я был на концерте в Малом зале консерватории, где Шостакович играл свои прелюдии. С его сочинениями были связаны скандалы, и в 1936-м уже появилась статья «Сумбур вместо музыки»... И вот тогда, у Жилиева, мы познакомились. А потом, когда я написал Первую симфонию, я поехал в Ленинград, где жили мои родители, и показывал симфонию Шостаковичу. И у него в доме познакомился с Соллертинским.

– В трио «Памяти Соллертинского» едва ли не самый трагический момент – еврейская тема. Кажется, еврейские мелодии вообще олицетворяли в сочинениях Шостаковича тему жертвенности, трагедии... Почему? Ведь это началось до войны.

– Трио – 1944 года. Но еврейская тема действительно занимает у Шостаковича значительное место. Это и цикл Еврейских песен, и трио, и скрипичный концерт 1947 года... И знаменитый струнный квартет № 8, «Памяти жертв фашизма». Думаю, дело в том, что Шостакович был человек чрезвычайно ранимый и остро воспринимал несчастья других. Трагедия евреев во время войны не могла его не затронуть. Кроме того, я убежден, что некоторое влияние на него оказало творчество композитора Мичислава Вайнберга – еврея, беженца из Польши.

– Я знаю, вы были дружны с великой пианисткой Марией Юдиной. Когда это началось – она ведь была намного старше вас?

– Во второй половине 1930-х. Она преподавала в консерватории, и у нее учился мой близкий друг Кирилл Салтыков. Он был альпинистом и вместе с одним художником и однокурсницей они в 1939 году отправились на Кавказ, на гору Бжедух. Связанные веревкой, они сорвались и погибли. И вот тогда Юдина призналась мне, что Кирилл был ее женихом. Я был ошеломлен: мы смотрели на Юдину снизу вверх. После смерти Киры она взяла на себя всю заботу о его матери. И, что касается Марии Вениаминовны, должен сказать вам одну вещь, на которую обычно не обращали внимания: да, она была полная, может быть, грузная, никогда мы не видели ее молодой, и в одежде она всячески подчеркивала свой аскетизм... Но она была очень женственной. У нее были красивые руки, обаятельная улыбка. Мама Кирилла Елена Николаевна мне говорила: «Гриша, обрати внимание, как ест и пьет Мария Вениаминовна». Она любила выпить вина и ела очень красиво... И несмотря на всю ее набожность и одежды, в которые она облачалась, многое земное, связанное с чувствами, с переживаниями, не было ей чуждо.

– В книге «Дорогой раненой памяти» вы вспоминаете, как еще в консерватории создали кружок, ставший прообразом клуба в Доме композиторов.

– Действительно, в 1938 году мы с пианистом Вадимом Гусаковым создали Творческий кружок, к которому присоединилось несколько студентов – пианисты Толя Ведерников и Слава Рихтер, с которыми я был очень дружен, музыковед Кира Алемасова. У нас звучало много музыки, в том числе редко исполняемые или неизвестные сочинения,

бывали студенты и кое-кто из педагогов. Чаще других заходил Нейгауз. Долгоиграющих пластинок еще не было, симфонии и оперы звучали на фортепиано в две или четыре руки. Я помню, как на одном из заседаний Рихтер исполнял «Турандот» Пуччини. Тот кружок я вынужден был оставить осенью 1939 года, когда ушел в армию, и он просуществовал еще год. А Московский молодежный музыкальный клуб возник в 1965-м – первое заседание состоялось 21 октября. Так что я его возглавляю 45 лет. Но основал я его не один. Вместе с моими друзьями, музыковедами Григорием Головинским и Владимиром Заком, мы собрались у директора Дома композиторов Андрея Луковникова, обсуждали будущий клуб и подумали, что хорошо бы проводить наши вечера не в форме концертов, а в форме дискуссий. И уже на первом вечере в зале было очень много молодежи. Когда через пять лет ушел Зак, пришла музыковед Нонна Шахназарова. Среди ведущих клуба были замечательные личности – музыковеды Рабинович и Крауклис, композитор Кривицкий. Безусловно, мы устраивали клуб инакомыслящих, хотя сами боялись этого. Я уверен, что это было первое и, не побоюсь этого слова, единственное объединение в СССР, где можно было выйти к микрофону без предварительного согласования. Причем все мы – те, кто в разные годы вел клуб, – делали все на общественных началах, без материального вознаграждения. И я могу сказать, что все, связанное с клубом, я делаю прежде всего потому, что мне это интересно. Я провел вечер к 100-летию Эйнштейна, потому что, будучи профаном в физике, был им страшно увлечен как философом и музыкантом. Также как я очень много времени посвятил изучению жизни Альберта Швейцера.

– **Я помню эти два вечера под названием «Этика Баха и эстетика Швейцера». И помню потрясший меня вечер, посвященный Янушу Корчаку – первый, на который я попала. И первый авторский вечер Шнитке.**

– Не только Шнитке – в клубе устраивались творческие вечера и Губайдулиной, и Эдисона Денисова, и Гии Канчели. Но вечер памяти Януша Корчака по своей глубине, по уровню личности Корчака вряд ли можно с ними сравнить.

– **А теперь вы занимаетесь еще и живописью. Или это началось давно?**

– Мне было тогда лет 55. В 1961 году я отправился в круиз вокруг Европы, и на пароходе оказалось много художников. Глядя на них, я начал рисовать. Мы вернулись в Москву, я стал бывать в их мастерских. И тогда я ближе познакомился со многими из них, в частности с Вильгельмом Левиком, который был не только блистательным переводчиком – нельзя открыть ни одного сборника европейской поэзии, не обнаружив в нем переводов Левика, – но и художником. Мы много общались, писали натуру... И сейчас я занимаюсь живописью больше, чем раньше. Я испытываю ту же «любовь к материалу», которая присутствовала у меня в сочинении музыки: я любил нотную бумагу, перо, которым писал. Но есть принципиальное различие между музыкой и живописью. В музыке между автором и слушателем стоит исполнитель, и хорошо, если он понимает авторский замысел. А здесь мне не нужен посредник. У меня было несколько выставок, и я надеюсь дожить еще до одной, на которой смогу показать то, что пишу сейчас.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

И МАСТЕР, И МАРГАРИТА

На четыре вопроса отвечают: Дмитрий Барский, Евгений Марголит,

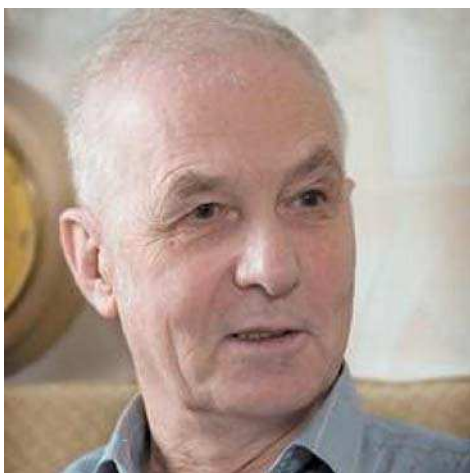
Наталья Милосердова, Майя Туровская

Беседу ведет Афанасий Мамедов

Сначала был звонок: «Не сохранился ли у вас архив деда?» Рассказал, в каких нетях мог кануть дедушкин архив. Затем долгие разговоры по телефону о моем деде Афанасии и Маргарите, Маре Барской, наконец, встреча с киноведом Натальей Милосердовой, передача из рук в руки фотографий, писем, статей... Имя, которое я ношу, досталось мне от деда, «выбывшего по литере “В”» в 1937 году. (Это одна из версий его гибели, есть другая.) Так на лапидарном наречии «конторы» называли высшую меру наказания. Меня всегда потрясло не только кафкианское «выбыл», но и то, что «выбыл» *צא ÷וֹי* по значению своему не уступает в метафизичности – «выбыл» *עוֹיִז* За ответ в какой-то степени может сойти бесконечный по продолжительности оттепельный анекдот, также доставшийся мне по наследству. «За что сидишь?» – спрашивает один у другого. «За “дело Радека”. А ты?» – «И я». Доходят до последнего в камере: «Ну а ты-то за что?» – «А я и есть Радек». С малых лет вышло мне судьбою остерегаться пары Радек/Барская. Боялся их, как боится темноты засыпающий в одиночестве ребенок: знал семейное предание – деда Афанасия Милькина забрали из дома Мары, возлюбленной Радека, а в прошлом – гражданской жены деда, тогда еще не помышлявшего о женитьбе на моей бабушке... Взрослея, я узнал, что Барская была актрисой, сценаристом, одной из первых женщин-кинорежиссеров, родоначальницей детского кино. А еще – она оказалась в том самом страшном анекдоте, из которого не вернулись ни мой дед, ни половина советского кинематографа.

ОНА ВСЕ-ТАКИ БЫЛА РЕПРЕССИРОВАНА

Àì èòòèé Ààòñéé, í'èàì ýí í èé Ì àðñàðèò ù Ààòñéé



– **Говорят, Маргарите «зеленый свет» дала сама Комиссаржевская?..**

– Моя бабушка, Марина мама, из-за финансовых сложностей, периодически возникавших, несмотря на процветающее шляпное дело, сдавала одну или две комнаты актерам в театральный сезон, что позволяло почти полностью покрывать аренду за квартиру. По одной версии, Мара, девочка шести лет, просто вышла на сцену и сыграла себя, по другой – попала в дом актрисы, театр которой в ту пору гастролировал в Баку. Другое дело, что Комиссаржевская опытным взглядом разглядела в ней актерский потенциал.

– **Коли вы заговорили о бабушке: из какой семьи она происходила, как попала в Баку, какую роль сыграла в воспитании Мары?**

– Бабушка в восемнадцать лет заявила, что не верит в существование Б-га, отказалась ходить в синагогу. В ответ ее религиозная мама сказала: «Маша, в моем доме ты жить не будешь». Бабушка в восемнадцать лет должна была покинуть отчий дом в Белоруссии, в Орше, и перебраться к родственникам в Баку. Они были состоятельными, кто-то даже владел каспийской пароходной компанией. Родственники и приветили бабушку. Так начался путь от девочки, бежавшей из еврейской религиозной семьи, до хозяйки шляпной мастерской «Лувр». Не имея никакого художественного образования, но обладая врожденным вкусом, она придумывала фасоны шляп, и было известно, что двух одинаковых от «Лувра» в Баку не бывает. Если бакинская модница ехала в фаэтоне и у нее на коленях лежала коробка с надписью «Лувр», это считалось признаком состоятельности и вкуса. В доме до четырнадцатого года были бонны, царил немецкий, а когда началась первая мировая, бонну-немку сменили на француженку. Бабушка первой в Баку ввела восьмичасовой рабочий день, после местные буржуа закатали ей обструкцию – мужья запрещали женам шить у нее шляпки. Когда в 1918 году к власти пришли большевики, Мара пошла машинисткой в штаб Красной Армии из идеологических соображений. Потом большевики бежали, и бабушка с дочерьми тоже. Причем до этого они были ограблены большевиками. После победы красных вернулись в Баку. Мара поступила в театральную студию. Бабушка перебралась в Москву после того, как здесь укоренилась Мара. Она приехала сюда из Киева после развода с Чардыниным. Думаю, Маре передались материнская настойчивость и трудолюбие...

– **Почему столько лет не проявляли никакого интереса к творчеству и трагической судьбе Барской и как вы относитесь к возникшему интересу?**

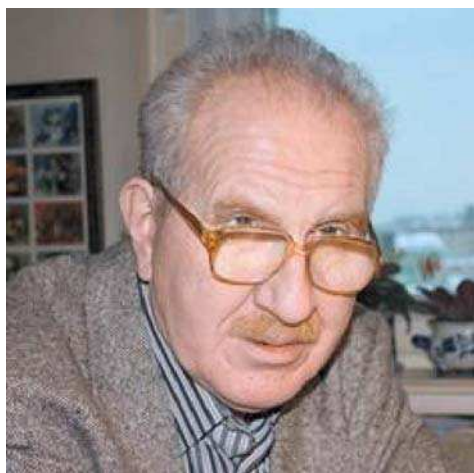
– Думаю, это потому, что она снимала детское кино. Если бы это было взрослое кино, к нему было бы иное отношение. К детскому – и современному, и позднего советского образца – всегда было прохладное отношение. Кроме того, она все-таки в каком-то смысле была репрессирована. К таким людям в советское время было как минимум *нулевое отношение*. А потом случились другие времена. Возникшему интересу к тетиному творчеству я, безусловно, рад, но, думаю, буду достаточно объективен, если скажу, что меня озадачил невысокий уровень ее «Рваных башмаков». Возможно, я не совсем в теме детского кино, но ведь в то же время была снята «Путевка в жизнь». Мне хотелось бы гордиться ею, но я чувствую, что «Рваные башмаки» – *очень среднее* кино. Вокруг этой работы было много шума. Дело в том, что этот фильм просто оказался в струе. Я помню, мама рассказывала, что было даже распоряжение, чтобы каждый школьник посмотрел этот фильм. Фильм насаждался.

– **«Насаждался»?!** Какое участие в продвижении фильма принимал Радек, он же Собельсон? На съемках «Рваных башмаков» он выступал в роли «консультанта по Германии». Роль так себе – для отрекшегося троцкиста и первого переводчика «Майн кампф», но ведь он сумел высечь любовную искру. Сумел?..

– Возможно... Я тут проксимирую текст одной из ее записей. Где она описывает, как ездила в Ленинград с каким-то *очень высокопоставленным человеком*. Они решили сходить в Эрмитаж в день, когда он закрыт для всех. Мара пишет, как она ходила по безлюдным залам музея, как «чувствовала историю». В описании эрмитажного куска у Мары было употреблено выражение, что спутник ее «открывал двери Эрмитажа буквально ногой». Возможно, это и был Радек. Мама и тетя Женя рассказывали, что первопричиной Мариного схода с орбиты было ее выступление в защиту Радека. Публичное! На общем собрании Союза писателей. Мара единственная встала, выступила и ушла. А после она многократно ходила на Лубянку, где ее настоятельно просили дать показания на врага народа Карла Радека. Марина официальная версия звучала так: она работала с ним как с журналистом, который работал с Лениным, ее интересовало исключительно становление пути советской журналистики. Может, это и правда послужило когда-то знакомством с Радеком, а потом уже были чисто человеческие отношения. На Лубянке она говорила, что Радек никак не проявлял себя «врагом народа», посему она ничего не подписывала. После этого Мара была лишена работы, личного автомобиля, фильмы на полку, производство свернуто... Снятый фильм «Отец и сын» так и не дошел до зрителя. Из сложных сплетений судьбы, приведших ее к гибели, творческая нереализация – на первом месте.

ОНИ МОЛЧАЛИ ДО 1937 ГОДА

Αἰεὶ ἐὶ ἰ ἀδῶ ἔεὸ, ἐεὶ ἰ ἐδὲ ὀεὲ, ἐῖ ὀ ἰ δὲ ἐ ἐεὶ ἰ



– Я столкнулся с мнением, суть которого такова: Маре помогли *ἐρᾶε ἰῖῖῖῖ* им, власть предрешающим, обязана она коротким кинематографическим успехом. «Рваные башмаки», говорят, среднее кино. Могли бы вы оценить этот фильм и вообще творчество Барской?

– Поколение, создавшее в 1920-х советское кино как новый вид искусства, состояло из индивидуальностей столь ярких и энергичных, что ни в какой «протекции свыше» никто из них не нуждался. По яркости, темпераменту – да и по времени прихода в кинематограф (в качестве актрисы и ассистента режиссера в середине 1920-х) – Барская принадлежала к этому поколению. Роковое знакомство с Радеком состоялось, когда Барская уже была в штате «Межрабпомфильма» и сценарий «РБ» был завершен. Да и веса особого Радек к тому времени уже не имел. Возможно, наиболее реальную выгоду из их отношений, если верить воспоминаниям Веры Адуевой, Барская извлекла уже после гибели Радека, когда, преданная на студии остракизму, жила тем, что распродала свой гардероб. Действительная драма ее режиссерской биографии состояла в том, что Барская пришла в режиссуру, когда это поколение первооткрывателей окончательно состоялось и устоялось, ворвалась в кинообщество как «человек со стороны» со своим шумным успехом режиссерского дебюта. Да еще так легко преодолев «звуковой барьер», когда «классики» – тот же Пудовкин или Довженко – пребывали в растерянности. Ей не простили этого успеха. И чем этот успех «чужака» был очевидней, тем настойчивей кинообщество его отрицало. Наталия Милосердова установила, что фактически единственный одобрительный отзыв коллег на «Рваные башмаки» – это приветствие ЛенАРРКа. Прочие восторги принадлежат партийному руководству, ведущим литераторам (от Горького до Льва Кассиля), но московские и прочие собратья по камере безмолвствуют. Выскажут свое отношение, когда придет время, – в 1937-м.

– Говорят, у Петра Чардынина, с которым Мара в течение шести лет состояла в браке и в творческом союзе, была своя система подготовки кинозвезд, якобы позднее подхваченная Голливудом. Через нее прошли Вера Холодная, Иван Мозжухин, Маргарита Барская... Можно сказать, что Чардынин, легенда немого кино, «вылепил» Барскую, повлиял на ее самостоятельное творчество?

– Действительно, свои киноуниверситеты она пройдет у Петра Чардынина на Одесской кинофабрике ВУФКУ. Создатель «мирового боевика» «Молчи, грусть, молчи»

вряд ли мог чему-то научить Голливуд, но «американский» поясной план он первым стал последовательно использовать в русском кино и вместо одной звезды снимать в фильме целое созвездие, как в Голливуде (впрочем, идея принадлежала владельцу фирмы Д. Харитонову), начал первым тоже он, Чардынин. В середине 1920-х, когда с ним встретилась Барская, Чардынин, после недолгой эмиграции, был лидером Одесской кинофабрики. Но уже к концу 1920-х его кинематограф казался новому зрителю (а тем более критике) чистой архаикой. Да, в общем-то, и был таким. Но это был кинематограф, неизменно «державший в уме» зрительскую реакцию – чего авангардный молодежь чаще всего не учитывал. Очевидно, этот момент Барской был принципиально важен. Впрочем, главное здесь, очевидно, то, что талантливый человек всегда ученик благодарный – найдет полезное для себя везде, было бы желание учиться. И наконец, ситуация в нашем кино начала 1930-х, когда Барская стала режиссером, была достаточно парадоксальной: с приходом звука создатели новаторской монтажной эстетики в одно мгновение оказались архаистами, а люди, работающие со звучащим словом, неизбежно становились новаторами – ведь никаких канонов в работе с ним еще не существовало. Так что отдаленность Барской от опыта киноавангарда 1920-х сослужила, возможно, добрую службу в ситуации, резко изменившейся с появлением звукового кино.

– **Отрывки из писем Мары моему деду напомнили мне давнишний разговор с Леонидом Зориным о бакинском еврействе. Леонид Генрихович подметил тогда, что бакинское еврейство всегда отличалось особым духом романтизма. Детское кино Мары не потому ли так мощно, что в нем дух бакинско-еврейского романтизма сплавился с еврейской же чадолюбивостью? Не был ли этот сплав своего рода замещением/сублимацией, ведь у самой Мары не было детей?**

– Вы насильственно притянули друг к другу два существенных в биографии Барской (как и всего ее поколения) аспекта, лежащих в разных плоскостях. В этом кинематографическом поколении действительно много евреев. Но существенней то, что и евреи, и неевреи в массе своей – выходцы с периферии империи. Революция в равной мере дает право завоевать культурный центр и стать в нем ведущими творцами новой культуры местечковому мальчику из Прибалтики Эрмлеру и сыну крестьянина с Черниговщины Довженко, сыну архитектора из Прибалтики Эйзенштейну и сыну екатеринбургского слесаря Александрову. Революция освобождала их всех от обреченности на периферийность – евреев в первую очередь. Поэтому о происхождении они не задумывались ни в 1920-х, ни в 1930-х – разве что вставляли помнящиеся с детства словечки в письмах друг другу, как Козинцев Юткевичу. Для того чтобы в полной мере пережить и осознать свою принадлежность к давно, казалось бы, ушедшему миру, понадобились события войны и послевоенные эксцессы. Но до всего этого Барская не дожила. А что до того, как смотрятся дети в ее фильмах – а именно это действительно делает кинематограф Барской уникальным явлением в мировом кино и по сегодняшнему дню, – то волшебство это, подозреваю, есть следствие по каким-то причинам не реализованной (и тем более острой) жажды материнства. Теодор Вульфович, один из создателей «Последнего дюйма», школьником снимавшийся в «Отце и сыне», рассказывал нам со Шмыровым, как заботилась Барская о нем (отец Вульфовича в это время был арестован) и предлагала мальчику усыновить его. Тогда же Теодор Юльевич сообщил версию, согласно которой Барская покончила с собой, будучи беременной.

– **Можно ли считать Маргариту Барскую основоположником мирового детского кино? Имелись ли у нее последователи?**

– Она была одержима этой идеей, с ней приехала в Москву, ее реализовывала последовательно и разнообразно. Под предлогом необходимости создания производственной базы киностудии детских фильмов, за что боролась Барская, закрыли «Межрабпомфильм»

(Барская оказалась как бы инициатором этой акции, чего старые работники студии ей простить не хотели). «Рваные башмаки» шли и на детских, и на взрослых сеансах – по тем временам случай редкий. Но было ли это в полном смысле кино для детей? Безоговорочно утверждать подобное я бы не рискнул. Уж слишком одинок ребенок в этом слишком реальном мире, где его подстерегают совсем не детские опасности. Даже в «Отце и сыне», где «фабульный анекдот» сценария призван продемонстрировать противоположное, на экране возникает такая тревожная и напряженная атмосфера, что и без всякого Радека судьба картины радужной стать никак не могла. Вообще, в советской культуре этих лет самая близкая Барской фигура – это Аркадий Гайдар. «Отец и сын» – кинематографический аналог «Судьбы барабанщика».

И ВСЕГО ТРИ ФИЛЬМА

Γὰρ ἀλλῶ ἰ ἐεῖπιδάτῃ, ἐπὶ ἰδέε ἐεῖτῇ



– **Вы исследователь творчества Маргариты Барской, пишете о ней книгу, участвуете в создании фильма. С чего началось ваше знакомство с режиссером?**

– Я киновед, историком стала случайно: руководство института предложило сделать очерк по истории детского кино. Кинулась за помощью к коллеге – Евгению Марголиту, лучше всех, кого я знала, разбиравшемся в раннем кинематографе для детей. Он меня ввел в тему, выделив Маргариту Барскую – легендарную женщину-режиссера, прославившуюся на весь мир первым детским звуковым фильмом «Рваные башмаки». В 1937 году, когда начались расправы над кинематографистами, она единственная из всех отказалась каяться и виниться, свидетельствовать против Радека, с которым была близка. Меня ошеломил фильм, несмотря даже на то, что детские голоса, которые Барская писала «вживую» на съемочной площадке (что даже сегодня позволяют себе немногие), были заменены голосами актрис, озвучивавших мультфильмы (голоса Зайца из «Ну, погоди!» и Ежика из «Ежика в тумане»). Но вся степень надругательства над фильмом стала очевидна после того, как я посмотрела оригинальную версию, сохранившуюся в ГФФ. Я прочитала все, что об этом периоде написано, и меня поразило, что про вторую ее картину, «Отец и сын», изуродованную и так и не выпущенную на экран, за которую ее обвиняли в очернительстве и клевете на советскую действительность, никто из современных историков ничего не пишет. Несмотря на то, что она первой подняла тему отцов, занятых великими свершениями, и детей, страдающих – из-за их занятости – от одиночества и непонимания. Я запросила фильм в ГФФ, не зная того, что знали историки, а именно – что фильм сохранился в виде размонтированного негатива. И фильм мне привезли – как потом выяснила, в 1996 году была сделана позитивная копия с сохранившегося негатива. Я загорелась идеей найти

те мифические два чемодана с архивом Барской, о котором мне рассказывал Марголит. Не с первой попытки, но я их нашла. И благодаря обнаруженным вырезкам из газет и запискам Барской, удалось найти и ее ранний фильм «Кто важнее, что нужнее», считавшийся утерянным, даже содержание его не было известно, а он все это время лежал в Красногорском архиве. Для своего времени он был этапным, так как, по заключению комиссии, принимавшей картину, разрешал «вопрос, каким должен быть детский фильм, до сегодня не разрешенный». Стало ясно, что ее вклад в развитие кинематографии значительнее, чем принято было считать: каждый из трех фильмов был первопроходческим.

– **Что сближало ее с Радеком? Может, уже наступила пора отделить Радека от Барской?**

– Она очаровывалась яркими людьми – именно таким был Радек. Маргарита искала консультанта для «Рваных башмаков», не хотела, чтобы жизнь детей в европейской стране выглядела «развесистой клюквой». Ей назвали несколько человек. К Радеку попасть было проще – просто прийти в редакцию «Известий». Я нашла кусочек текста, где она описывает эту первую встречу. Он заканчивал диктовать машинистке статью и попросил Маргариту немного подождать. И уже по тому, как она описывает его манеру говорить, жестикулировать, смотреть, как восхищается манерой изложения мыслей, ясно, что он ее очаровал. В следующий раз они встретились уже после триумфа ее картины. В «объяснении», которое ей пришлось писать в 1938-м на очередном витке борьбы за справедливость, она утверждает, что их отношения носили характер дружески-деловых. Представьте, какое бешенство вызвало это объяснение в то время, когда от нее ждали обвинений в его адрес, раскаяния и самобичевания, – ее же обвиняли в том, что под влиянием злостного врага народа она сделала клеветнический фильм. Кстати, фильм в идеологическом смысле абсолютно невинный, просто та степень правды, так всех восхищавшая в «Рваных башмаках», в которых речь идет об условной европейской стране, в которой крепнет фашизм, была неприемлема по отношению к советским детям. Что касается Радека – даже сегодня мы не знаем его подлинного лица и роли в истории.

– **Те письма, которые вы мне прислали, обращенные к деду Афанасию после их очередного расставания, и то, что я слышал в семье о Маре, лично у меня ассоциируются с образом *la femme fatale*. Соответствует ли этот образ действительности?**

– Она, конечно, осознавала силу своей притягательности. Натура страстная, и не исключено, что голос плоти порой заглушал голос рассудка, и потом ей нелегко было «разрулить» создавшуюся ситуацию. Но, ценя способность человека к страстной любви, она, тем не менее, выше ее ставила нежную и бережную любовь-дружбу. Была ли она *la femme fatale*? В письме к вашему деду есть строчки, которые впрямую на этот вопрос отвечают: «Я исчерпала все средства, чтобы не быть разрушителем твоей жизни. Роль демона в юбке, ты знаешь, меня никогда не прельщала». И в том же письме – что творческому человеку «хотеть работать надо так, как хочется есть, спать и целоваться». Меня восхитила эта формулировка: то, что любовь для нее столь же жизненно необходимая потребность, как еда и сон. Причем начиная с ее первой любви, которую вытеснила страсть к сцене, – она поняла в какой-то момент, что этого юношу, с которым они боялись соприкоснуться даже руками, она воспринимает как партнера по сцене («как будто мокрым полотенцем вытерли лицо», – пишет Мара). Потом Чардынин, патриарх русского кино – актер, режиссер, сценарист, она оставила его ради того, чтобы ехать в Москву делать детские фильмы. «Вы спрашиваете, как я работаю, – отвечает она журналистам, – для меня это равноценно вопросу, как я живу».

– Правда, что к концу жизни Мару интересовали иудаизм и история предков?

– До этих последних лет тема собственной национальности ее мало волновала, поскольку никак не отражалась на ее жизни. Подумаешь, в детстве из-за «процентной нормы» не взяли в гимназию, в которую хотела определить ее мать. Сама не расстроилась. Правда, вспоминает, как потряс ее, еще несмышленица, разговор с бабушкой: «Я уважаю бабушку, впрочем, также как и все у нас в семье. Она очень много знает. Она училась в Варшаве в немецкой гимназии и знает польский и немецкий языки, живет с юности в России и хорошо знает русский. А так как она еврейка, то она говорит с мамой по-еврейски, когда хочет, чтобы я и сестры ничего не поняли. Но кроме всего она знает древнееврейский язык, который очень величественно звучит. Я думаю, что это слишком для бабушки, ведь она старая. Я спросила: “Зачем древнееврейский, если на нем не говорят?” Бабушка посмотрела куда-то выше моей головы, задумалась и сказала: “Если бы ты видела своими глазами, что такое погромы, ты тоже захотела бы знать этот язык. Народ, который хотят истребить, должен знать свой язык”. В период упоения новой деятельностью, до которой она дорвалась в Москве, она вообще поет гимн советской власти, которая избавила ее от черты оседлости и прочих ограничений в возможностях. Она вспоминает о своих корнях и мучительно размышляет о судьбе своего народа, только когда ее оклеветали, унизили и лишили возможности творить – хотя это никакого отношения к ее национальной принадлежности не имело. Раньше она причисляла себя к племени, не имеющему национальности, – точнее, имеющему представителей всех национальностей и рас, – к племени творцов. И гордилась этой принадлежностью. К концу жизни задумывается о принадлежности национальной.

ЭТО ВРЕМЯ ЛОМАЛОСЬ

Ἰ ἀέϋ ὀδὴ ἀνέϋ, πῶαι ἀδεῖν, ἐεῖ ἰέδε ὀέε, ἐπὸ ἰδεε ἐεῖ ἰ, ἐεῖν ὀδὴ ἰᾶ



– Миф ведет нас в мир, где царствуют имена собственные. Почему советский кинематограф, безусловно миф, так долго обходился без первого кинорежиссера-женщины, более того, издевательски отнесся к тому, что осталось от ее искусства? Быть может, Барская «царствует» в другом мифе – «феминистском» или «еврейском»?

– Барская не первая женщина-режиссер. Первая – Эсфирь Шуб, не только соратница Эйзенштейна, но в вопросах монтажа, пожалуй, наставница. Даже Лиля Брик делала фильм «Стеклянный глаз». Барская для вас миф, а для меня и она, и ее фильм ни в

кчем случае не миф, а теплое воспоминание детства. Помню, как мы, школьники младших классов, смотрели «Рванные башмаки». Надо понимать, *чем* тогда было кино. Мы воспринимали его примерно так же, как теперь воспринимают home video или телевидение, то есть почти как реальность. Мы не считали его искусством, искусством для нас был театр. Но мы смотрели все фильмы по нескольку раз, знали их наизусть. Тем более первые звуковые. О том, что у любого фильма есть режиссер и что режиссер «Рванных башмаков» женщина и зовут ее Маргарита Барская, мы не задумывались. К тому же равноправие женщин для нас тогда было чем-то само собой разумеющимся: мамы работали, а девочки хотели стать летчицами, это было нормально. Вспомните коронные фото тех лет: красавица не со звездным партнером, а с трактором. Сейчас сюжет «Рванных башмаков» может показаться сентиментальным: одни башмаки на троих... Конечно, мы не ходили в школу в рванных башмаках, не делили их на троих, но, тем не менее, облик той экранной жизни в какой-то степени был схож с нашим. Жизнь в значительной степени была черно-белой (для меня вообще черно-белое кино – навсегда документальное). Помню, Конрад Вольф – тоже мой одношкольник, впоследствии немецкий режиссер – рассказывал, как его маленьким сняли в «Рванных башмаках» в одном кадре. Он был настолько горд этим, что ходил в кинотеатры и простаивал часами возле касс, чтобы все его узнавали. Безусловно, Мара Барская сделала прелестное, очаровательное кино. Мы его любили, как могли бы любить что-то свое, родное. Хотя после появилось немало детских фильмов, «Рванные башмаки» остались для нас главным, любимым фильмом. Малыш – Буби, кажется (возможно, от немецкого Bub), – был в то время, наверное, самой популярной звездой экрана. Что касается мифологии. Разные времена по-новому все перелицовывают. Тогда тоже, как вы знаете, происходила своя псевдомифологизация, своя подтасовка, столбцами вычеркивались имена, и имя Барской оказалось в их числе... Я помню, когда я в первый раз увидела ее портрет, она произвела на меня впечатление замечательной красоты женщины, южного типа, с очаровательной улыбкой. А потом мы узнали о ее трагической судьбе, и вопрос о «женщине-режиссере» приобрел уже иной смысл и вес... Я думаю, она «царствует» в мире кинематографа.

– Мы в какой-то степени пережили *и а́а́и́ и́е́ф* революцию 1990-х и переживаем реставрацию. Почему именно сейчас заинтересовались творчеством Маргариты Барской, а не тогда, в свободные от запретов 1990-е?

– Тогда «переодевались» в то, что было срочно. Столько текущих проблем было, все были так заняты «переназыванием» недалекого прошлого, что на прочее элементарно не хватало времени. В 1990-х лежало на полке столько фильмов, сделанных при нас и при нас же запрещенных. Их же надо было найти, рассекретить и показать. Помню, когда нас впервые выпустили на мюнхенский кинофестиваль, мы повезли целые пакеты фильмов, которые еще вчера были «полочными». Кстати, тогда «еврейский вопрос» все еще стоял на повестке дня, потому что, к примеру, известный фильм Аскольдова «Комиссар» с «полки» как раз не был снят. Его пришлось пробивать самому режиссеру. Он сам показал его на международном форуме в Союзе кинематографистов, и с этого началась его большая судьба. Хотя, быть может, и Марой Барской кто-то заинтересовался в 1990-х. Ее драматическая судьба не могла остаться никем не замеченной.

– Дети часто «заигрываются», теряя ощущение условности ситуации. Барская, как никто в кинематографе того времени умевшая работать с детьми, не «заигралась» ли за пределами киноплощадок?

– Все зависит от того, что вы имеете в виду. Намекаете, что Барская была любовницей Карла Радека (он, как известно, был большой «ходок»)? Кинематограф всегда был передним краем, «первой линией». Естественно, он привлекал внимание влиятельных фигур, потому и жизненные катаклизмы в мире кинематографа заметнее. Барская стала

жертвой не потому, что «заигралась». Я думаю, она была человеком пылким, склонным к идеализму, потому и покончила с собой. Она, как и многие, угодила в исторический капкан. Само время ломалось, калеча судьбы. Я почему-то уверена, исходя из облика этой замечательной женщины, что в жизни она вела себя в высшей степени порядочно, не отрекалась от людей, впавших в немилость.

– **Вы соавтор сценария культового фильма «Обыкновенный фашизм» о нацистской природе и становлении Третьего рейха и автор книги с одноименным названием. Вы смотрели «Рваные башмаки» в пору его показа в кинотеатрах. Не кажется ли вам, что Барская почувствовала приближение Хрустальной ночи прежде многих художников-евреев, хотя явных сцен на эту тему в фильме нет?**

– Не могу сказать, давно не пересматривала фильм. Возможно, для нее «еврейский вопрос» имел принципиально иное значение, чем, скажем, для меня и моих сверстников, с детства воспитывавшихся в духе интернационализма. Я понимаю, что сейчас это слово стало ругательным: все определились по этносам. Мои родители еще помнили, как в Гражданскую при смене властей «жидов» вешали то одни, то другие. Если я и знала о своей национальности, то от отца. Мы даже читали с ним «Сказание о погроме» Бялика – но это было факультативно. Во дворе и в переулке я была как все, в школе мы вообще не знали, у кого какой «пятый пункт». Релевантно было, из рабочей ты семьи или нет. А главное, посадили ли родителей. Дети «вождей» могли стать детьми «врагов народа». Нас от вражды защищала наша 110-я школа. Взрослых никто не мог защитить – Мара Барская оказалась беззащитна. Здесь одна из составляющих тех радикальных перемен, той кардинальной смены эпох, о которой мы говорили выше. Время меняется, меняются приоритеты. Предчувствовала ли она «еврейский вопрос» – не знаю. Не могу ответить.

Как-то ночью, бродя по весеннему Лейпцигу, я застыл у витрины частного магазинчика – привлекла дагерротипных тонов фотография: площадь (мюнхенская?), тысячи людей выбрасывают вперед руку и лишь один – должно быть, в помощь любознательным туристам обведенный фломастером в кружок – стоит хмуро, скрестив на груди руки. Что-то сместилось в эфире, отодвинутое было далеко за спину прошлое вдруг ожило, обнаруживая одну на всех пневму. Я стоял и не знал, как мне благодарить этого человека. Думаю, хозяин магазинчика не был бы против, если бы рядом с этой фотографией оказался портрет Маргариты Барской.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

Вы читали? [Из нашей почты // 2010. № 3](#)

Наш ответ. Мне неловко отвечать на письмо Б. Кунина, ведь большинство замечаний внимательного читателя относятся все же к книге Михаила Левитина. И сюжет про брата Таирова, Леонида Коренблита, и упоминание о гомосексуальных связях в труппе Камерного – это детали книги, которые я как рецензент всего лишь транслирую, в самом деле не видя в этом абсолютно ничего дурного и скандального. Про замечательную книгу Светланы Сбоевой мне, конечно, известно, но вышла она позже левитинской, и даже после того, как рецензия была написана. Но дело в другом: книга Сбоевой (равно как и другие театроведческие труды о Таирове) касается лишь одного сюжета из жизни Камерного театра и написана в первую очередь для специалистов. А книга Левитина – и в этом ее неоспоримое достоинство – является очерком всей жизни и творчества выдающегося мастера, очерком для широкой аудитории. Популярных книг в нашей литературе о Таирове все-таки немного, и именно это мною было артикулировано. Читатель упрекает меня в неосведомленности: я, мол, не знаю, что у Таирова был только один театр, Камерный. Я же готов обвинить читателя ровно в том же, а также, что книга Левитина им не прочтена. Левитин как раз и описывает биографию Таирова как путь художника, который прошел через множество «реинкарнаций» на пути к своему Камерному театру: опыт работы в Театре Гайдебурова, в Свободном театре, в Театре Веры Комиссаржевской, в нескольких провинциальных театрах. Все это, а также опыт Камерного театра, который Таиров несколько раз упустил из своих рук, и позволило мне заявить о том, что Таиров «все время терял свои театры, начиная всякий раз заново, с нуля».

Павел Руднев

Вы читали? *Александр Иличевский.* [Джером Дэвид Сэлинджер. Десятый рассказ // 2010. № 3](#)

Реакция. Это замечательно, что журнал откликнулся на уход Д.Д. Сэлинджера. В «Кадише» соблюдены все правила хорошего тона, «мемориальность», но, право же, такой писатель заслуживает большего, чем рамки с траурной ленточкой. Тем более в еврейском журнале. Может быть, не одной, а скажем, двух страниц «Кадиша» или еще лучше – полноценной статьи какого-нибудь исследователя. Прощаясь с Сэлинджером по-еврейски, нельзя было не упомянуть имя Ирины Львовны Галинской и ее легендарный труд «Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. Сэлинджера», вошедший в анналы классической «сэлинджеряны». На «Поэтике Сэлинджера» Галинской выросло целое поколение филологов, писателей и вдумчивых читателей. Эта она помогла иначе взглянуть на повести о Глассах, на знаменитые девять рассказов, которые одним чутьем не понять. Именно Галинская открыла, в чем смысл самого числа девять, как верно перевести названия рассказов, от которых зависит понимание их «дзенской» символики, как находить спрятанные в тексте литературные параллели. Разве знали бы мы без нее, что, к примеру, рассказ «В яльнике» является не только размышлением о страхе, любви, но еще и направлен против бытового американского антисемитизма. Главное же, Галинская помогла нескольким поколениям читателей увидеть иную современную литературу, опирающуюся на многочисленные суггестивные пласты, связанную с религиозным мировоззрением и откровениями тысячелетней давности. Надеюсь, журнал еще расскажет о «самом молодом из всех американских старцев».

Ветта, Интернет

Вы читали? *Матвей Ганапольский.* [Гопак // 2010. № 1](#)

Реакция. Я не все разделяю в Ваших статьях, особенно когда Вы пишете об Украине. Любой разговор об Украине, о Киеве и Львове должен быть примером глубокой ответственности и взвешенности суждений. За «Гопак» отдельное спасибо, спасибо Вам за горькие и в то же время светлые воспоминания о нашем прошлом, о жизни при «загнивающей» советской власти. Мы еще как-то все не найдем соответствующей интонации в разговоре о том времени, о нашей молодости, о своих мучениях и надеждах. Сбиваемся то на мстительность, то на ложную патетику, тем самым окончательно губя любое спонтанное воспоминание о 70–80-х годах прошлого века, которые для нашего с Вами поколения вроде старой доброй Англии. Вне всякого сомнения, нам нужен опытный и сострадательный проводник, необходимо найти подлинное звучание, камертон к ценности единичной жизни.

Александр Вольдман, Москва

Вы читали? *Марина Топаз.* [Владимир Молчанов: «Я думал о вас...» // 2010. №](#)

[1](#)

Реакция. Я когда-то жила в СССР, в городе Баку, и в те годы для нас самой интересной передачей, которую мы никогда не пропускали, была передача «До и после полуночи». Мы не ложились спать, не дождавшись ее появления в эфире. Для нас она была духовной пищей, без которой человек превращается просто в тупое животное. И сейчас я тоже была счастлива прочитать интервью Марины Топаз с Вами. Спасибо, Владимир, такие люди, как Вы, Ваш прекрасный отец и Ваша очаровательная жена, – лучшее доказательство тому, что добро в этом мире существует.

Лиля, Интернет

Вы читали? *Борис Клиш.* [Вера и деньги // 2010. № 1](#)

Реакция. «Собственно говоря, – пишете Вы, – через такие фонды и всевозможные “попечительские советы” государство помогает верующим в значительно более широких объемах. Это называется “социальная ответственность бизнеса”». Полностью с Вами согласен. Ваши статьи как-то особенно подчеркивают легковесное отношение государственных мужей и самого государства к Истине: сколько упреков они выслушивают и все равно ими пренебрегают.

Д. Сломкин, Интернет

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

В ЗЕРКАЛЕ НЕКРОЛОГА

О шмуэле Эльяшиве (Фридмане)

Нелли Портнова

В определениях жанра некролога говорится, что в этом условном жанре иногда бывает выражена ностальгия по настоящему Человеку. Читая многочисленные публикации, вызванные кончиной дипломата, критика и переводчика Шмуэля Эльяшова (Фридмана), убеждаешься, насколько это чувство было всеобщим во время прощания с ним, а читая вышедшую 19 лет спустя «Книгу памяти» о нем – насколько оно оказалось устойчивым [\[1\]](#).



Шмуэль Эльяшив (Фридман)

Родные, друзья и коллеги не повторялись. Министр иностранных дел, а потом премьер-министр Моше Шарет (Черток) озаглавил свой некролог так, будто обращался к живому – «Любимый и уважаемый друг»: «Он был одной из тех избранных и возвышенных душ, которые всегда остаются высоко духовными и которые в любой миг возвышают и очищают окружающих» (с. 22). Доктор Элияу Порат назвал свои воспоминания изысканно – «Праведность пути и печаль лица»: «Привлекательность неслышной печали была разлита в нем. Он не умел идти легко и танцующе по скользкой плитке жизни, подобно тем – “успешным”... Он не был человеком крепких локтей. Мне кажется, локти у него отсутствовали вообще, он видел жесткость нашей общественной жизни по отношению к отдельной личности, видел и содрогался» (с. 34). Сотрудник Эльяшова по МИДу Даниэль Бен-Нахум писал о душевной красоте, которая выражалась во внешности: «Серые глаза, смотревшие прямо в лицо человека, прекрасная улыбка, открытая и широкая, движения, сдержанные движения и манеры культурного человека» (с. 49). Зеэв Чек, другой его сотрудник, выразился лаконично: «Я знал, что глубоко в его душе поэт поселился до дипломата, писатель – прежде политика» (с. 48). Старый, с 1920-х годов, друг Эльяшова Ицхак Маор писал: «Во всех наших встречах, начиная с самой первой – 30 лет назад, “наш Шмуэль”, как мы называли его, всегда один и тот же: задушевный друг, брат, человек общества и человек для каждого из нас, которому всегда верили; все в одном – гармония»[\[2\]](#).

1.

Шмуэль Эльяшив (Фридман; 1899–1955) родился в Пинске, в доме деда, раввина Давида Фридмана (известного как рав Довидл Карлинер[\[3\]](#)), вырос в Ковно. «По обеим сторонам этой колыбели, как два ангела-хранителя, стояли два деда Самуила: справа, с отцовской стороны, младенца оберегал “светоч изгнания”, рабби Давид Карлинский, крупнейший авторитет в талмудическом законоведении последнего века; слева же, с материнской стороны, над колыбелью склонялся наш общий ковенский дед, р. Соломон-Залкинд Эльяшов, выдающийся представитель группы так называемых “Жагорских мудрецов”, доказывавших и доказавших на деле, что европейское Просвещение совместимо с безграничной преданностью древним святыням»[\[4\]](#).

По делам отца семья часто переезжала с места на место: Вильно, Рязань, Полтава, – однако на Песах все съезжались в Карлин или в Ковно, собирались вокруг стола деда. Как обычно в состоятельных еврейских семьях Литвы, мальчики получали воспитание еврейское и общее. Дома говорили по-русски, но изучали иврит и Талмуд. Их еврейская жизнь была активной и вполне благополучной. Старший брат Шмуэля Мордехай вспоминал: «В городе была организация говорящих на иврите под названием “Прахеи Цион”(«Цветы Сиона»), и мы вступили в нее. По шабатам слушали лекции учителей иврита, которые обсуждали темы сионистские и общееврейские. Отношения между нами и нашими друзьями-христианами не были плохими (за исключением отдельных случаев, как, например, в дни дела Бейлиса, но даже тогда мы не чувствовали антисемитизма ни со стороны учителей, ни со стороны учеников); были также случаи, когда ученики-евреи, которых было 50% в классе, воевали и восставали против проявлений антисемитизма» (с. 16).

В семье было принято учить детей не только еврейским предметам, но и полезной в жизни профессии. Дядя Исидор Эльяшов посоветовал родителям забрать мальчиков из хедера и отдать их в рязанскую коммерческую школу. После ее окончания Шмуэль, как и его двоюродный брат Ицхак-Нахман Штейнберг (книгу которого «Нравственное лицо революции» он впоследствии переведет с русского языка на идиш), поступил на юридический факультет Московского университета, продолжил учебу в

Киевском, а закончил в Харьковском в 1921 году с дипломом доктора права. Но и это было не все: уже будучи женатым, Шмуэль решил дополнить образование и во Франции, в Тулузе, в 1927 году получил диплом доктора политических наук.

Еще одной особенностью этой семьи была любовь к прекрасному, к литературе. Аарон Штейнберг писал об этом в своем поэтическом стиле:

Наш дед к старости обрел несокрушимый внутренний мир. И с благообразного, нежно-розового цвета, лица его не сходила блаженная ласковая улыбка. Он полюбил людей и весь Б-жий мир и, вздыхая, восклицал: «Г-споди, сколько красоты!» Наш дед Соломон, блаженной памяти, несомненно, был прирожденный эстет <...>. Гостя в раннем детстве в доме деда, я сам слышал, как он, входя перед вечерней трапезой в столовую с томиком Толстого в руке, со своей ласковой улыбкой как бы невзначай произносил библейский стих о том, что есть «в шатрах Сима» место и для Иафета (Эллады) [\[5\]](#). Мать Самуила страстно обожала все красивое, а литературу не просто любила, а была в нее влюблена. Она целыми страницами могла цитировать наизусть прозу Тургенева [\[6\]](#).



Шмарьяу Фридман с сыновьями Мордехаем, Йосефом и Шмуэлем. 1920-е годы

Главным наставником юноши стал «дядя Исидор» – д-р медицины Исидор (Израиль) Эльяшов, родоначальник литературной критики на идише (под псевдонимом Баал-Махшовес). Во время первой мировой войны Шмуэль с бабушкой оказался в Полтаве; будучи соседом В.Г. Короленко, он сблизился с ним (а потом, в последний год жизни русского писателя, опубликовал о нем эссе). Любовь к Украине осталась со Шмуэлем навсегда. «Прославленный сахарный украинский юмор и особая, сочетающаяся с ним чувствительность задевали в сердце Самуила созвучные струны. Еще тридцать лет

спустя, прогуливаясь под звездным небом на морском берегу в Тель-Авиве, он скандировал шелестящим южнорусским шепотом: “Тиха украинская ночь... Своей дремоты превозмочь не хочет воздух...”»^[7] Может быть, этой любви способствовала встреча в Полтаве с Рахелью Марголиной, его будущей женой, брак с которой оказался на редкость счастливым.

Шмуэль не просто продолжал семейные традиции, но глубоко погружался в каждую область, которая его интересовала. Он рано начал печататься: на идише – в «Идише штиме», по-русски – рассказом «Рош-ашана между военнопленными австрийцами» в «Еврейской жизни», потом – в разных изданиях: в «Ди нойе цайт» (Рига) – очерки и рассказы о погромах и еврейской самообороне на Украине, в «Ди трибуне» о национально-еврейской автономии в Литве, в «Идише эмиграция» – о еврейской эмиграции из Литвы, в «Нойе штифтен» – статьи общего характера. В 1928 году выпустил сборник «Украинские мотивы» (Париж–Берлин, переведена на французский язык).

«Синтез мысли и художественного вдохновения»^[8], – назвал А. Штейнберг соединение в натуре кузена чувства прекрасного и таланта политического, делового, что впервые проявилось в 1920 году. Вместе с дядей, идишским критиком Баал-Махшовесом, Самуил приехал в Берлин, чтобы найти убежище для киевской «Культур-Лиги». Книгоиздательский концерн «Клал Ферлаг», который собрал под свою крышу самые разные эмигрантские газеты, вроде «Слова», акционерного общества «Логос» или кадетского «Руль», чуждался «жаргона», чтобы не распугать немецких вкладчиков. Формально «Всеобщее издательство» фигурировало как самостоятельное коммерческое предприятие, фактически же оно было подразделом издательской империи братьев Ульштейн. «Муля посоветовал дяде оформиться в фирме Ульштейнов под псевдонимом и принять план их финансовой поддержки, но держать это соглашение в строжайшем секрете, чтобы толстосумы не узнали и не отрелись». После этого дядя стал называть племянника «мой государственный секретарь».

Другая история, в которой проявились дипломатические способности Шмуэля, произошла в 1928 году. Шмуэль жил в Ковно, занимался частной юридической практикой и сионистской работой (был членом партии сионистов-социалистов Литвы, в 1929 году участвовал в Сионистском конгрессе). Вместе с тем он очень интересовался международным положением независимой Литвы, не имевшей дипломатических отношений с соседями, в том числе с Польшей. Отправившись в Женеву, Фридман с помощью друзей устроил необходимую встречу премьер-министра Литвы Аугустинаса Вольдемараса с премьер-министром Польши Юзефом Пилсудским.



2.

В 1934 году Шмуэль Фридман понял, что дни независимой Литвы сочтены, и решил покинуть Ковно и отправился с семьей – женой и сыном – в Эрец-Исраэль. Сначала было очень трудно чисто материально – брат Мордехай писал в 1938 году: «Муля с Руней с трудом сводят концы с концами, так как у них имеются еще старые долги». Шмуэль втянулся в деятельность рабочего движения, в 1937 году стал членом рабочего комитета Гистадрута, а в 1945–1948 годах – членом его Центрального комитета. В полном объеме эрудиция и деловые качества Эльяшива проявились после 1948 года, когда он перешел на работу в Министерство иностранных дел. В 1948–1950 годах он исполнял обязанности главы Восточноевропейского отдела МИДа, в 1951-м – был назначен консулом в Праге и Будапеште, в 1962-м – членом делегации Израиля в ООН. В 1953–1955 годах Эльяшив был посланником, а затем послом Израиля в СССР (третьим по счету, после Голды Меир и Мордехая Намира). Будучи одним из основателей системы международных связей молодого государства, он учил принципам дипломатии своих преемников – «члены дипломатического корпуса советовались с ним по любому вопросу»^[9].

Посольский период в жизни Шмуэля был нервным и трудным, даже мучительным. В последние годы сталинского правления, когда СССР то поддерживал и снабжал оружием молодое государство, то резко разрывал с ним отношения, ни премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, ни министр иностранных дел Моше Шарет не в состоянии были разобраться в хитросплетениях сталинского курса. Опасной и загадочной казалась им советская политика по еврейскому вопросу.

Шмуэль Эльяшив считал необходимым строить дипломатические отношения на общественных и культурных связях двух стран и народов. Но наладить их было невозможно. В соответствии с протоколом он общался с руководством советского МИДа, с А.А. Громыко и А.И. Лаврентьевым, которые, в частности, распускали слухи о том, будто он пытался покончить с собой. Более или менее открытым оставался дипломатический корпус – для него Шмуэль устраивал у себя приемы – «шабатние ночи». Среди иностранных дипломатов были и евреи, но сблизиться или хотя бы общаться с русскими евреями было невозможно. Невозможно было встретиться ни с одним советским писателем, например с Ильей Эренбургом, с которым Эльяшив познакомился в парижском кафе. О ситуации полной изоляции Шмуэль телеграфировал 4 октября 1951 года в МИД Израиля: «В канун праздника (еврейского Нового года) и в два праздничных дня посетили синагогу. Как всегда, тысячи молящихся в огромной скученности, среди них множество молодых. Вокруг нас атмосфера напряженности, страх приблизиться, отдельные попытки обменяться репликами. Двоим удалось передать нам записки с важной информацией о положении евреев. Шпионы внутри синагоги следили за каждым нашим шагом»^[10].

Предшественники Эльяшива на этом посту, Голда Меир и Мордехай Намир, всеми способами старались добиться репатриации. Эльяшив лучше понимал внутреннюю ситуацию и советовал действовать осторожно, «считаться с интересами СССР при голосовании в ООН, если нам так важен вопрос о репатриации». В письме М. Шарету от 1 февраля 1952 года Шмуэль рисовал сложную обстановку в стране: «Если мы продолжим свою прежнюю линию, мы просто потеряем этих евреев... Мы просим о решении, идущем вразрез со всей здешней реальностью. Оно в корне противоречит всей жесткой практике герметически закрытых границ. У нас нет ни малейших оснований надеяться, что они пойдут наперекор собственным представлениям, если мы, со своей стороны, будем

выглядеть в их глазах составной частью враждебного лагеря». Он советовал принимать в расчет также психологию советских евреев, которые «безгранично чувствительны ко всему, что касается нашей политики», которыми владеет страх и стеснительность, а солидарность таится глубоко в душе «под скорлупой неприязни»[\[11\]](#).

Министру иностранных дел Моше Шарету, и так отличавшемуся осторожностью в отношениях с иностранными державами, Шмуэль советовал максимально учитывать характер советских лидеров, а также обращать внимание на такие детали, как время встречи и манера разговора. Но несмотря на соблюдение им всех тонкостей дипломатического этикета, сам Эльяшив тоже не мог ни предвидеть, ни тем более предотвратить таких событий, как «дело врачей» или разрыв дипломатических отношений (под предлогом взрыва бомбы на территории советского посольства в Тель-Авиве), о котором министр иностранных дел СССР А.Я. Вышинский объявил послу за 7 минут встречи, в час ночи 12 февраля 1953 года. (Отношения были возобновлены через год после смерти Сталина и представительства Израиля и СССР поднялись на более высокий уровень.) Заболев в январе 1955 года опасной формой «инфлуэнции», Шмуэль уехал домой. В апреле наступило временное улучшение, он собрался выйти на работу, получил новое назначение на пост замминистра, но занять его уже не смог.



Здание советской миссии после взрыва. Февраль 1953 года

Литературная деятельность Эльяшова приобрела в последние годы новое качество: расширились проблематика и культурно-географический спектр. В периодике появлялись его статьи о судьбе литовских евреев, о европейских гетто, о лагерях уничтожения: «Человек в лагере уничтожения» называлась его большая статья 1948 года. Больше всего его интересовало внутреннее состояние еврея перед последней чертой. И именно сквозь эту призму он анализировал новую литературу Израиля, обращая главное внимание не на литераторов, конструирующих образ нового еврея, а на репатриантов, очевидцев Холокоста. Так, он написал две большие проблемные статьи о сочинениях одного из первых свидетелей Холокоста, знаменитом впоследствии Ка-Цетнике (Йехизэле Динуре)[\[12\]](#): «Саламандра» и «Дом кукол»[\[13\]](#). Эльяшив советует переходить от фиксации фактов и перечисления ужасов к осмыслению внутреннего состояния евреев, хотя понимает, что для художественной обработки такого материала еще не настало время. Чрезвычайно важной для формирования адекватного отношения израильского общества к европейскому еврейству была тема сопротивления и героизма; ее Эльяшив затронул в эссе «История героизма на грани забвения».

Сборник очерков «Решимей маса» («Путевые записки», 1951) – итог его путешествий по Восточной Европе и России. Дипломат Эльяшив описывает свои впечатления как частный человек, не претендующий на обобщения. Но при этом перед читателем предстает некий синтез национально-израильского и универсального взглядов на мир. «Человек из Израиля, выезжая в другие страны, которые были некогда большими еврейскими центрами, наполняется неповторимыми размышлениями. Ему недостаточно нового вида, отличного от его страны, его душа не удовлетворяется культурными сокровищами тех народов и стран, даже если этот вид необыкновенный и освежает сердце... Он знает, что в тех местах, по которым он идет, в течение поколений текла богатая еврейская жизнь, жизнь, которая была раздавлена ногами врага»[14]. Наблюдая за архитектурно-историческими достопримечательностями стран Восточной Европы, он неизменно переходит к судьбе евреев Польши, Болгарии, Чехословакии, Румынии и Венгрии.

Радуюсь всему новому и необычному, Эльяшив открывал израильскому читателю неизвестные ему культурные миры. Так, с особым волнением рисует он встречу с Москвой: «Москву я оставил много лет назад, когда был студентом первого курса, и с тех пор ее не видел. Ты не можешь преодолеть сердечного трепета, когда подлетаешь на самолете к ней, приземляешься на летное поле и видишь большие буквы имени города: МОСКВА». Как просветитель, он считает своим долгом показать культурные преимущества большого города: обилие музеев и театров, а особенно богатство книжного мира, точнее, его доступность: «Не ты ищешь ее. Она приходит к тебе со всех сторон, она предлагается тебе при каждой возможности. Не только в книжных магазинах – ты натыкаешься на книжную торговлю везде: в театральных коридорах, в киосках газированной воды на улицах, в торговых пассажах, на станциях метро». Шмуэля поражает обилие книг – самых разных для разного читателя, обилие различных изданий, например Пушкина: «издания народные и роскошные, однотомники и многотомники, иллюстрированные и нарядные, простые и скромные внешне». Он хотел бы перенести на родину эту важную особенность культурного города: рядом с газетами и развлекательными книжками в киосках газированной воды поставить на полку, скажем, народное издание Бялика, и тогда «остановившийся попить полистает его между глотками и в конце концов, может быть, купит».

Встречая в Советском Союзе охраняемые памятники и церкви, он называет их «примерами высокого напряжения культуры», «образцами уважения к сокровищницам духа». В русском и европейском искусстве он предлагает увидеть сходство истории разных народов. Чем может, например, заинтересовать израильского читателя Троице-Сергиева лавра? «Но это одно из самых святых для русского народа и его царского дома мест; это место напоминает далекие дни, когда Россия была слабая и окружена ненавистью»[15].

Встречаясь с мировыми шедеврами, Эльяшив постоянно ищет «еврейские точки». Так, в Музее имени Пушкина вдруг вздрагивает: «...маленькая картинка в скромной рамке, и содержание ее для меня дороже всей комнаты с шедеврами. Это была голова еврейки, в сером платке, покрывающем волосы, с лицом добрым и морщинистым; ее руки сложены в движении благословения свечей, и перед ней – на столе – пламя одной свечи дрожит в простом металлическом подсвечнике. Такое лицо и такие руки можно увидеть среди матерей Израиля в Польше и Литве. Тот же серый платок и те же трогательные и тихие глаза. Смотрел на эту картину, и все вокруг, знаменитые и великие, как будто исчезли из моего поля зрения» (о картине Матиаса Стомера «Старуха со свечой»)[16]. В Третьяковской галерее особое волнение у него вызвали пейзажи В.Д. Поленова. «Мне показалось, что я попал на выставку наших художников: Тверия,

Кинерет, Мертвое море, и цвет песка на берегу нашего моря, и развалина старого арабского дома, оливковые деревья, согнутые и сплетшиеся вместе, голова араба, вход в церковь и наши глубокие небеса. Как будто я нахожусь на выставке художников, посвятивших все свое творчество видам нашей родины»^[17]. Современники говорили, что очерки Эльяшива были почти единственным источником их знаний о культуре современной России.



Посланник Государства Израиль Шмуэль Эльяшив вручает верительную грамоту председателю Президиума Верховного Совета СССР Клименту Ворошилову. Декабрь 1953 года

Вторая книга очерков «А-сифрут а-советит а-хадаша» («Новая советская литература», 1953) – единственный случай критического подхода: еврейская литература рассматривалась как часть советской и отдельно от нее. Характерно, что заключительной главой стал очерк под названием «Машбер» («Кризис») – метонимическое обозначение того состояния, в котором оказалась послевоенная литература. Она, по мнению автора, отказалась от достижений военных лет. Так, А.А. Фадеев, В.П. Катаев, В.А. Каверин, самые значительные советские писатели, исправляли свои произведения после публикации «не потому, что сами так решили, но потому, что этого от них требовали»^[18]. Эльяшив останавливается на литературной судьбе Василия Гроссмана, на истории его романа «За правое дело», посвященного Сталинградской битве. Роман был подвергнут критике за «идеалистический подход и подпольную философию», после чего редакция «Нового мира» прекратила публикацию «ошибочного» и «идеологически вредного» произведения.

Другой признак «кризиса» в том, что «авторы описывают прошлое не так, как они видели его в реальности, а так, как нужно видеть его сейчас». В «Буре» Ильи Эренбурга, опубликованной в 1947 году, писатель обрисовал немцев и русских не так, как он их видел в те годы, но как следовало их видеть после войны. Эммануил Казакевич во «Встрече на Эльбе» рассказывал об освобождении заключенных из лагерей; он перечислял там представителей разных народов, «только евреев не увидел среди них». В романе «Девятый вал» Эренбург пишет об офицере Альфере, возвращающемся домой в Киев: один человек признал в нем еврея и «послал» в Палестину – офицер не оскорблен антисемитизмом, и сам писатель-еврей обижен не этим – его оскорбило то, что человек осмелился указать советскому офицеру «ехать на американское место». Вообще, пишет Эльяшив, «нужно быть очень кропотливым, чтобы в десятках военных произведений найти хотя бы легкий намек на евреев», а если они встречаются (у К.М. Симонова или А.Е. Корнейчука), то ничем не отличаются от русских.

Если в русской литературе обрывочность и неадекватность еврейской темы понятна, то в литературе идишской, единственном источнике знаний о жизни русского еврейства, она обидна, – говорит Эльяшив. Он упрекает идишских авторов в искаженной подаче трагедии евреев на оккупированной территории, в стандартности сюжетов, в сентиментальности. Многочисленны истории о том, как солдаты собирают брошенных еврейских детей и приводят их в свои части. Д. Бергельсон рассказывает об одном летчике, который удочерил еврейскую девочку, и все внимание отдал заботе о ней и ее воспитанию. У Файвла – та же история: русский полковник взял еврейского мальчика («Мотька») и не расстается с ним во всех перипетиях фронтовой жизни. Многие писатели повествуют о добросердечных гоях, занятых спасением евреев. А. Кац, П. Маркиш, И. Рабин – у всех неевреи давали убежище евреям. У Х. Блувштейн и Г. Орланда – другой вид помощи: соседи беспокоятся о евреях в подвалах и лесах и снабжают их провизией. «Читая эти рассказы, можно сделать вывод, что нееврейское население России все посвятило себя заботе о своих еврейских соседях и осуществляло ее всеми возможными способами, с невероятной преданностью»[19]. Эльяшив показывал фальшь ходульных сюжетов, когда о самой еврейской трагедии умалчивалось, а говорилось лишь о подобных случаях благородства со стороны русских – единственное, что пропускала цензура.

Очерки Эльяшова были призваны дополнить усилия дипломата по установлению культурных связей между странами и поднять невозможную в советской печати еврейскую тему.



Харам эш-Шериф – площадь, где находился древний Иерусалимский храм. В. Поленов. 1882 год

3.

Дипломат и писатель Шмуэль Эльяшив воспринимался своими современниками на специфическом фоне. Государство стремилось влиять на формирующееся общественное сознание, предлагая – и навязывая – ему один язык и один человеческий идеал. В политической линии правительства доминировала идея отречения от еврея диаспоры, «галутного еврея», слабого раздвоенного индивидуалиста, путем внедрения образа «загорелого сабры», в котором торжествовало коллективное начало[20]. «С 1951 по 1975 год мы становимся свидетелями угасания личностной идентификации, но в то же время – крутого подъема, вплоть до полной доминантности, местной, израильской»[21]. Нерукотворный памятник, созданный друзьями и знакомыми Эльяшова в некрологах ему, свидетельствовал как раз о потребности израильтян в «галутной ментальности» – образ ушедшего выглядел для них как идеал будущего.

[1] «Прошедшие 18 бурных лет стерли следы многих больших деятелей <...>, и после всего этого мы поднимаем образ того “единственного”, который жил среди нас, влиял на нас и испытывал наше влияние, а сейчас, с появлением “Книги памяти”, ожил по-новому, пройдя второй экзамен – экзамен памяти» (Шмуэль Эльяшив. Тель-Авив, 1984. С. 3 [иврит]. Далее номера страниц этого издания указываются в тексте).

[2] Маор И. Человек гармонии // А-поэль а-цаир. 5 июня 1956 (иврит).

[3] Династия цадигов из Карлина достигла наибольшего влияния в Полесье и на Волыни в XIX веке. Карлинские хасиды относятся к литовским течениям хасидизма; группа карлинских хасидов жила в Эрец-Исраэль.

[4] Штейнберг А. Двоюродный брат Самуил / Публ. Н.А. Портновой // Архив еврейской истории. Т. 2. М., 2005. С. 73. Эта публикация была сделана с русской рукописи автора, которую он подготовил параллельно опубликованному в «Книге памяти» ивритскому варианту. Жагоры (Жагаре) – еврейская община на границе Литвы и Латвии, известная с 1456 года. Избежав погромов Богдана Хмельницкого, община сохранила традиционную культуру; в ней зародилось движение «мусар»; спокойнее, чем другие общины, она приняла Хаскалу.

[5] Ной дал благословения двум своим сыновьям – Симу и Яфету, в отличие от Хама проявившим скромность при виде обнаженного отца: «Да распространит Б-г Яфета, и да вселится он в шатрах Симовых». По интерпретации Агады: греческому языку суждено распространиться среди евреев.

[6] Штейнберг А. С. 75.

[7] Там же. С. 77.

[8] Там же. С. 76.

[9] Фридман-Эльяшив М. Д-р Шмуэль Эльяшив: 10 лет со дня смерти // Едиот ахронот. 4 июля 1965 года.

[10] Советско-израильские отношения. Сб. документов. Том I. 1941–1953. Книга 2. Май 1949–1953. М., 2000. С. 292–293.

[11] Там же. С. 333–334.

[12] Его псевдоним Ка-Цетник (или KZ-nik) – производное от букв KZ – концентрационный лагерь, т. е. «узник концлагеря».

[13] Любопытно, что в солидной монографии профессора Йехиэля Шейнтуха «Саламандра. Миф и история в произведениях К. Цетника» (Иерусалим, 2009) статья Ш. Эльяшова не упомянута.

[14] Эльяшив Ш. Решимей маса. Тель-Авив, 1951. С. 7 (иврит).

[15] Там же. С. 79.

[16] Там же. С. 77. Матиас Стомер (1600—1672) – голландский художник, автор многочисленных работ на библейские сюжеты и сюжеты из римской истории.

[17] Там же. С. 78. В Третьяковской галерее хранятся привезенные В.Д. Поленовым из своих путешествий на Восток картины: «На Тивериадском озере», «Олива в Гефсиманском саду», «У подножия горы Хермон», «Типажи людей на Тивериадском озере» и др. Поленова считали противоречивым мастером, в натуре которого соседствуют два или три художника: русский, европейский и восточный.

[18] Эльяшив Ш. А-сифрут а-советит а-хадаша. Тель-Авив, 1953. С. 250 (иврит).

[19] Там же. С. 225.

[20] Шмуэль-Самуил сделал только одну уступку времени: гебраизация ашкеназских имен была не только желательна, но обязательна для государственного служащего, и он взял себе фамилию матери, чуть изменив ее (чтобы отличаться от знаменитого дяди Исидора Эльяшова).

[21] Рубинштейн А. От Герцля до Рабина и дальше. Минск, 2002. С. 249.

«МЕССИЯ ПРАВДИВЫЙ» ИОАННИКИЯ ГАЛЯТОВСКОГО И ЕГО «ЕВРЕЙСКИЕ» ИСТОЧНИКИ

Андрей Шпирт

В отношении иудаизма и евреев средневековая христианская полемическая литература весьма многогранна. Позиция христианства в адрес современного ему иудаизма не может сводиться лишь к тотальному отвержению. В целом ряде случаев не только еврейское Священное Писание, но и живая (устная?) еврейская традиция продолжает оставаться для христианского мира источником авторитета. К примеру, включение евреев в христианскую легенду об обретении животворящего креста не ограничивается полемическими целями; евреи нужны как авторитет, подтверждающий легитимность христианской власти, укрепляющий основание христианской веры. Иуда – иерусалимский раввин, под пытками указавший христианам, где спрятан крест, на котором был распят Христос, – это «иудей, который знает. Иуда – не верующий, но знающий еврей. Его знание является наследственным и исключительным, и это сокровенное знание тщательно скрывается от неевреев. Еврей не верит, хотя и знает, христианин верит, хотя и не знает»¹. Таким образом, евреи предоставляют в распоряжение христиан то, чем те не обладают, – долгую историческую память. Евреи призваны передать христианам как Священное Писание, так и знание о святых местах в Палестине, но только тогда, когда сами примут ту истину, носителями которой являются.



Первые страницы из польского издания «Мессии правдивого». 1672 год

В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть отношение к евреям и еврейским источникам ректора Киевской академии и архимандрита черниговского Елецкого монастыря Иоанникия Галятовского (1620–1688)².

Иоанникий Галятовский – украинский православный проповедник, автор антикатолических, антиуниатских и антимусульманских сочинений^[1]. Галятовскому также принадлежит заслуга написания первого агрессивного антииудейского

православного трактата – «Мессия правдивый»^[2]. Это компилятивное произведение, в котором были собраны все существовавшие до этого в западной литературе антиеврейские стереотипы.

Галятовский сообщает, что писал «Мессию», не имея «обители и пристанища». После конфликта с мстиславским епископом Мефодием Галятовский лишился должности ректора Киевской академии и должен был покинуть Киев. Вначале он искал пристанища у львовского епископа Арсения Желиборского (1664 год), а затем в монастырях Луцка, Минска и Слуцка. «Мессию правдивого» Галятовский пишет, находясь в Речи Посполитой. В 1668 году он возвратился в Киев, где занялся подготовкой написанной рукописи к публикации. «Мессия правдивый» вышел в типографии Киево-Печерского монастыря в 1669 году на «малороссийском диалекте». Галятовский планировал также издание своего антииудейского сочинения на латинском и польском языках. Помощь от русского царя Алексея Михайловича – несколько соболиных шкур – позволила опубликовать «Мессию» на польском языке (1672 год).

По словам Галятовского, главной причиной, побудившей его к написанию антииудейского трактата, стало мессианское движение Саббатая (Шабтая) Цви. Однако читатель тщетно будет искать в «Мессии» какие-либо сведения о саббатианстве в Польше, о котором Галятовский, по всей видимости, знал лишь опосредованно, через переводные немецкие антисаббатианские памфлеты^[3]. Не найдет читатель «Мессии» и отзвуков еврейско-христианских отношений в Речи Посполитой.

«Мессия правдивый» написан в форме диалога между евреем и христианином, в котором последний убеждает первого, что единственным истинным Мессией был Иисус Христос. В свое время Н.Ф. Сумцов^[4] и некто Критикус в заметке, напечатанной в «Восходе»^[5], посчитали, что диалог между И. Галятовским и евреями в действительности имел место. На это указывают слова Галятовского о том, что он специально разъезжал по городам и селам, встречался и разговаривал с евреями и записывал их аргументы против христианской религии. Оба исследователя пишут об ученой добросовестности Галятовского, чей «христианский апологет не скрывает веских возражений еврея и опровергает их по силе разумения». Критикус отмечает, что иудей – рационалист, толкующий слова Писания по их точному и логичному смыслу, – даже ставит своего собеседника в тупик смелыми вопросами.

Что имел в виду Галятовский, когда, уподобляя себя св. Иерониму, писал о встречах и разговорах с евреями? Признавал ли он тем самым необходимость постоянного общения с евреями ради того, чтобы выудить имеющиеся в их распоряжении дополнительные сведения о библейском тексте? Был ли это простой интерес к еврейскому языку (*hebraica veritas*) или стремление узнать представления евреев о Мессии, мессианской эпохе и даже о самом Христе (*judaica veritas*)? В какой степени записи его бесед с евреями отразились в самом «Мессии правдивом»? Или Галятовский лишь воспользовался определенной рамкой, чтобы придать своему сочинению больший авторитет?

«Мессия правдивый» – текст разножанровый, не укладывающийся в традиционный жанр иудео-христианского диалога. В этом трактате поднимаются разнообразные проблемы. Галятовский стремится доказать не только мессианство Иисуса Христа и осуществление им мессианских ветхозаветных пророчеств, но и важнейшие догматы христианской ортодоксии: Троицу, предвечность Христа и совмещение в нем божественной и человеческой природы, культ святых, почитание икон. В центре внимания автора также находятся вопросы, которые, казалось бы, никогда не были частью иудео-

христианской полемики: первородный грех, предопределение, возможность спасения по вере и по делам, двойная воля Бога и предвидение, существование зла в мире и даже формы поклонения. Герой-иудей у Галятовского часто цитирует не только книги Нового завета, но и сочинения отцов церкви, византийских и даже западноевропейских авторов, а также пользуется схоластическими формулами (например, *actus purus*, «чистая реальность», о Боге – одно из ключевых понятий богословия Фомы Аквинского).

Все это говорит о том, что под формой диалога между иудеем и христианином скрывается обыкновенный богословский флорилегий («цветник», или антология), в котором Галятовский объясняет положения христианской религии. Антииудейская полемика является лишь одной из его задач.

Компилятивный характер трактата предопределяет некоторую непоследовательность Галятовского в том, что касается судьбы евреев в христианском окружении. Ссылаясь на практику православной церкви, он выступает против насильственного крещения евреев, но в то же время неоднократно призывает своих читателей к расправе над евреями и их изгнанию. Призыв к истреблению евреев – главный рефрен одной из глав «Мессии» – «Беседы о злостях жидовских», где впервые в восточнославянской православной литературе приведены почерпнутые из польской антиеврейской литературы «свидетельства» осквернения евреями просфоры, убийства христианских младенцев с ритуальными целями, заражения колодцев и т. д.

Однако в том, что касается отношения христиан к еврейским источникам и еврейскому тексту Библии, Галятовский сохраняет уверенную последовательность. Он постоянно отрицает какой-либо смысл знакомства с еврейской религией и даже с еврейским языком. По его убеждению, еврейский текст Библии после пришествия Христа был сфабрикован и вымышлен евреями: «Писмо правдивое о Христе написанное пречъ з книг своих выскробуют и выкидают, фалшуют и отменяют и фалшиве тлумачат» (XV, 244об., 399об., 406). Вместо Библии «рабинове за едностайных всех жидов зезволенем написали книгу талмут названную, писму Святому противную, незличонными [неисчислимыми] баснями и блюзнерствами [богохульствами] наполненную» (400). Поэтому Галятовский призывает больше доверять Новому Завету, чем Ветхому: «...барзей верити Новому завету нижель Старому бо в Старом завете тень была; тут светлость» (268об.)^[6]. Еврейский библейский текст, следовательно, также не имеет никакого значения: «Грецкой Библии яко правдивой барзей треба верити, нижели жидовской зфалшованной. <...> Судьбами Бозкими правдивое писмо жидовское поганомся досталось, жебы потым, погане в Христа уверивши, жидом могли правдивым писмом их показати... и жебы не могли юж правдивой Библии фалшовати, як фалшовати звыкли» (405–405об.)^[7]. И наконец, по примеру германского выкреста XVI века Иоганна Пфефферкорна, Галятовский призывает христиан сжигать еврейские книги (398об.-399).

Наряду с этим Галятовский убежден в том, что помимо фальшивых и глупых книг евреи обладают тайным знанием, доступным лишь избранным: «Иншие книги хваете потаемне и крыете и не тылко христианам але и своим не всем ваши рабинове такую книгу показуют, в которой книзе Христос сын Божий знайдуется [находится]» (406).

Таким образом, мотив спрятанного евреями знания имеет неожиданное продолжение. Ненависть, которую испытывают евреи к христианам, объясняется их давней осведомленностью о том, что именно христианство – истинная вера, а Иисус Христос был предсказанным Мессией. Особенно хорошо это известно еврейским старейшинам, раввинам, которые якобы знают правду о Спасителе из своих книг, но держат это знание в строжайшем секрете. Подобный взгляд на преступление иудеев в

корне меняет отношение к ним христиан, поскольку сознательное, умышленное убийство Христа как Мессии означает особую извращенность природы иудеев, их принципиальную враждебность ко всему христианскому[8].

Сочинения, которые Галятовский приводит в качестве еврейских, в действительности являются христианскими источниками. Так, упоминаемое им Послание Самуила Марокканского – это очень популярный в Европе псевдоэпиграф XIV века, составленный в Испании Альфонсо Буэномбре и приписанный им марокканскому раввину Самуилу, который якобы жил в XI веке в Фесе, в Марокко. Сочинение Михаила Иудея – это произведение католического киевского епископа Ю. Верещиньского, который написал или опубликовал текст некоего Михаила, крещеного еврея из Сецеховского монастыря.

Другой источник, который Галятовский называет еврейским и часто цитирует, – «Письмо евреев в Рай». Его авторство приписано некому Иозвебену (Йешуа бен) Леви, который, по словам Галятовского, является также автором Талмуда. На самом же деле это «Письмо» принадлежит перу краковского поэта начала XVII века Яна Кмиты и на поверку оказывается довольно злобной антиеврейской сатирой[9]. Галятовский подробно останавливается на второй части этого сочинения – «Ответе евреям от Мессии из Рая»[10]. Здесь он находит информацию о преподнесенных евреями Мессии подарках, о хитром проникновении Йешуа бен Леви в рай и обмане им Ангела Смерти, об устройстве рая, где стоят семь зданий, построенных как из драгоценных камней, так и из простого кирпича, и наконец, о знаках, которые будут предшествовать рождению осла, на котором въедет в дольний мир Мессия (75об.-76). Галятовский сразу же отмечает подобного рода представления. По мнению православного автора, рассказанная в «Талмуде» история о краковских евреях является несомненной «басней», так как в раю Бог посадил лишь прекрасный сад (где растут древо жизни и древо познания), а никакого «палацу» Бог там не возводил. Галятовский уверяет своего читателя, что если сам Макарий Римский молился Богу и просил Его показать ему рай, и ему было отказано, то тогда «далеко барзей Иозвебена Леви, смердюха вашего Рабина жидовского и послов жидовских, смердюхов, до оглядана Раю не допущено» (77об.).

Представление о Талмуде как о сборнике басен было и прежде распространено среди православного населения Речи Посполитой[11]. Вместе с тем подобное представление не соотносится с позицией высокой книжной культуры Западной Европы, для которой Талмуд – это вполне конкретный исторический источник.



Портрет И. Галятовского. XVII–XVIII век

Еврейские источники Галятовскому доступны, прежде всего, в пересказе католических авторов. Так, от польского автора начала XVII века Себастьяна Мичиньского он узнает, как евреи называют Христа, Богоматерь, причастие и апостолов[12]. Из «Михаила Иудея» Верещиньского он пересказывает раввинистический памфлет «Толдот Йешу» («Жизнь Иисуса»). Ссылаясь на Михаила Неандра[13], Галятовский рассказывает о том, что евреи проклинают умерших христиан и любят их гробы (408), а также изучают Талмуд совместно со своим Б-гом (458; ср. Авот, 3:3). Из антииудейского сочинения Николая де Лиры Галятовский заимствует талмудическую историю (Брахот, 5а) о том, что Мессия родился в день разрушения Храма, а из «Поучения клирику» знаменитого испанского схоласта Петра Альфонси, «христианина из иудеев», – о пребывании Спасителя в Риме среди бедняков (Сангедрин, 98а) (74).

Иногда Галятовский прямо указывает источники аргументов, которыми пользуется его иудей в полемике с христианином. Так, опровержение эсхатологических расчетов о семи седмицах из книги Даниила (65–65об.) заимствовано из диалога поляка Марка Короны «Разговор между католическим теологом и еврейским раввином перед арианом»[14]. Оттуда же берется дискуссия о толковании правицы Бога (212об.-213), равно как и вся схоластическая аргументация о соединении божественной и человеческой природы в Христе, об ипостасях Троицы и о том, может ли грех убийц Христа быть искуплен его смертью. За замечанием иудея, что не над всем миром правит Христос, так как многие христиане находятся под владычеством мусульман: турок, персов, татар – и даже язычников, скрывается ссылка на «Комментарии на Псалтирь» испанского богослова Якова де Валенсии (Яго Переса)[15] (340, 364). Таким образом, утверждая, что он использует иудейские полемические аргументы, почерпнутые им из разговоров с евреями,

Галятовский на самом деле получал вторичную информацию из христианских сочинений жанра *adversus judaeos*.

Помимо косвенных ссылок Галятовский несколько раз сам непосредственно обращается к Талмуду и приводит цитаты из него, однако ссылки, в которых он указывает номера порядка, трактата и дистинкции, но без названия трактата, не внушают особого доверия. Некоторые приводимые Галятовским «талмудические» цитаты, например, о принесении евреями ежемесячной жертвы, о том, что муха или комар, садящиеся на бумагу в субботу, сжигаются нисходящим с неба пламенем, о том, что Бог страдает бедствиям своего народа и льет слезы «в море океанское», хотя и имеют ссылку в вышеуказанном формате, но очевидно заимствованы из сочинений поляка Яна Кмиты [16]. Галятовский приводит также талмудические утверждения, отсутствующие у Кмиты, например, о том, что сам Бог надевает на себя тфилин и талит («порядок 2, трактат 4, дистинкция 5»; на самом деле: Брахот ба, Рош а-Шана 17б), или о том, что Бог еще до сотворения нашего мира создал и разрушил несколько миров («порядок 1, трактат 4 и дистинкция 3»; на самом деле: слова р. Абаху в мидраше Берешит раба, 3:5, 9:2).

Наконец, в «Беседе о фальшивых пророках», в которой идет речь о приходивших к евреям неудачных мессиях, в том числе о Саббатае Цви, Галятовский пересказывает историю восстания Бар-Кохбы и описывает казни рабби Акивы и некоторых других мудрецов, осужденных римлянами (Шимона, Ишмаэля, Хананьи, Йеуды и Иссахава). При этом он ссылается на церковные истории епископа Евсевия Кесарийского (IV век) и кардинала Цезаря Барония (XVI век) и между ними дает сноску на Иерусалимский Талмуд, а именно на некие 68-ю и 69-ю страницы.

О средневековых еврейских лжемессиях: Давиде Алрое (Персия), Лемлене (Австрия), Давиде Алмузере (Моравия), Давиде Реубени и других – Галятовский повествует, ссылаясь на сугубо еврейские источники: раввина «Цемаха Давида», раввина «Иуды Схебета», раввина «Схалсхелета». В свое время Критикус справедливо отметил, что за собственные имена авторов Галятовский принимает названия еврейских хроник Гедаљи ибн Яхьи, Йеуды ибн Верги и Давида Ганса: «Шалшелет а-каббала» («Цепь традиции»), «Шевет Йеуда» («Скипетр Йеуды») и «Цемах Давид» («Росток Давида») [17]. По всей видимости, автор «Мессии» не видел этих хроник и не читал их, а ссылки на них и собственно информацию о лжемессиях получил из польского перевода одного из антисаббатанских немецких памфлетов, а именно – «Описания нового короля жидовского» [18]. В этом памфлете приводится целая подборка историй о том, как некоторые евреи, назвавшись мессиями, очаровывали своих единоплеменников, со ссылками на вышеназванные хроники. Таким образом, Галятовский скопировал источники немецкого автора и выдал их за свои, на сам же немецкий памфлет сослался лишь дважды, то есть счел еврейских «раввинов» большим авторитетом.

* * *

«Мессия правдивый» – первое в православной культуре Восточной Европы произведение ярко выраженной агрессивной антиеврейской направленности. Это первое православное сочинение, в котором его автором была высказана претензия на реальное знание иудаизма и на личное знакомство с евреями. Однако, вопреки собственным утверждениям, знание еврейских источников Галятовским минимально и происходит только из христианской, прежде всего католической, литературы. Использование Галятовским сочинений Петра Альфонси и Николая де Лиры не означает, что православный проповедник разделяет взгляды этих прославленных средневековых авторов на Талмуд и на еврейскую ученость и стремится к такому же уровню знакомства с

предметом. Отношение автора «Мессии» к *judaica veritas* крайне негативно. Он призывает своих читателей избегать и сторониться «фалшивой жидовской науки» (458–458об.). Часто прибегая к польскому трактату францисканца Марка Короны, Галятовский игнорирует в нем пассажи о пользе и важности еврейского языка, на котором говорили Моисей, пророки, Христос и апостолы, или о необходимости дискуссий с «мудрыми» иудеями[19].

Даже своими настоящими источниками Галятовский пользуется весьма небрежно. Так, называя один из текстов поляка Яна Кмиты «еврейским», автор «Мессии» будто бы не замечает, что сам Кмита «смыслом своей шутки отвлекал вежливых жидков» от их ложных представлений и показывал, что намного проще, ближе и дешевле чаемого ими путешествия в рай к якобы сидящему там Мессии стало бы признание Христа истинным и настоящим Мессией[20].

Вместе с тем, пренебрегая *judaica veritas*, Галятовский парадоксальным образом стремится сослаться на непрочитанные им еврейские источники и представить себя знатоком «еврейского знания», которым он не владел и от которого предостерегал своих читателей.

[1] «Белоцерковская беседа» (1663), «Старая западная церковь новому костелу римскому нисхождени Святого Духа показываает» (1678), «Лебедь» (1679), «Фундаменты, на которых католики утверждают единство Руси с Римом» (1683), «Аль-Коран» (1683).

[2] Галятовский И. Месиа правдивый, Исус Христос, Сын Божий, от початку света через все веки людем от Бога обещанный и от людей очекиванный. Киев, 1669. Здесь и далее ссылки на «Мессию правдивого» даются в тексте в скобках (римскими цифрами обозначаются ссылки на предисловие к трактату).

[3] Об этом более подробно см.: Шпирт А. «Мессия правдивый» Иоанникия Галятовского // Славяноведение. 2008. № 4. С. 37–45.

[4] Сумцов Н.Ф. И. Галятовский: К истории южно-русской литературы XVII в. Киев, 1884. С. 40.

[5] Критикус. Южнорусское духовенство и евреи в XVII в. // Восход. 1887. Т. III. С. 9.

[6] Ср. со взглядами православного богослова Речи Посполитой Лаврентия Зизания (умер после 1633 года) о приоритете Евангелия над Десятисловием («Десятисловие же не тако добро оубо есть и се, но во Евангелии и со Евангелием красно»), а также с утверждением киевского православного митрополита Петра Могилы (1596–1646) о том, что все установления Ветхого Завета заключены в «Новом законе» Христа.

[7] Еще ранее на указанный героем-иудеем неправильный перевод одного из мест в Ветхом Завете его оппонент-христианин отвечает: «Лепше мы веримо правдивому текстови апостольскому, нижели жидовскому, для потлумения [подавления] имени Христоваго пофалшованному» (244об.).

[8] Moore R.I. *Anti-Semitism and the Birth of Europe* // *Christianity and Judaism* / Ed. by D. Wood. Oxford, 1992. P. 49–52.

[9] [Kmita J.A.] *Sefer Ein Brief abo List od Zydo^ww polskich do Mesjasza, ktory iako Zydzi wierzą w raiu siedzi i czekaiąc czasu przyścia swego*. Br. Bm.

[10] *Ibid.* P. 7–10.

[11] Так, например, по мнению П. Могилы, автора полемического трактата «Лифоса» (1644), воззрение его оппонента, католика К. Саковича, на причастие под одним видом «отдает талмутом и алькораном, а это у нас байками называется» (Лифос, альбо камень // Архив Юго-Западной России. Киев, 1893. Т. 9. Ч. 1. С. 69).

[12] Miczyński S. Zwierciadło Korony Polskiej. Kraków. 1618. S. 6–7.

[13] Neander M. Grammatices Hebraeae linguae tabulae breves collectae ex erotematis. Viteberae, 1575.

[14] Korona M. Rozmowa Theologa katholickiego z Rabinem Żydowskim przy Aryaninie. Lwów, 1645.

[15] Jacob Pérez de Valencia. Commentaria in Psalmos. Valencia, 1484.

[16] Kmita J.A. Talmud abo wiara żydowska. Lublin, 1642. S. 2v-3; Idem. Sefer Ein Brief abo List od Żydów polskich do Mesjasza... S. 7.

[17] Критикус. С. 11–12.

[18] Historie y Exempla niekto^{re} o Mesiaszach domniwanych y co sie od roku 133 począwszy ro^{żnych} czaso^w z takimi kto^{rzy} się Mesiaszami Żydowskimi udawali, stało y co za koniec wzięli // Biblioteka Czartoryjskich. Dz. IV. Sygn. 1656. S. 492–497.

[19] В этом отношении Марк Корона следует посттридентской традиции, в которой полемический жанр приобрел особое значение. Korona M. Rozmowa theologa katholickiego...

[20] Sefer Ein Brief... S. 10.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ОТ КРИТИКИ КАНТА К «СОЮЗУ ДОБРА И БЛАГОДЕНСТВИЯ»

Города и персонажи раннего еврейского Просвещения

Илья Баркуский

Задача определить момент появления того или иного исторического явления или процесса нередко превращается в сильнейшую головную боль для историков. События человеческих жизней, мысли и идеи пересекаются порой столь причудливым образом, что весьма затруднительно бывает проследить, где именно появились первые ростки и кто конкретно был зачинателем.

Это замечание вполне справедливо и в вопросе о происхождении еврейского Просвещения (Хаскалы). До сих пор не утихают споры о том, какую дату можно считать отправной и оправданно ли вообще такую дату устанавливать. С достаточной степенью определенности можно говорить лишь о географии этого движения в самом его начале.



Университет Альбертина в Кенигсберге. Рисунок Людвиг Клерикуса. Около 1850 года.
Архив Corps Masovia

Если мы возьмемся нарисовать карту ранней истории Хаскалы в Европе, то самыми жирными точками на ней однозначно следует отметить два города: Берлин, который в тот период был политическим, культурным и экономическим центром Пруссии, и столицу провинции Восточная Пруссия – город Кенигсберг, из которого, по выражению историка Генриха Греца, «вышло ближайшее возбуждение» Хаскалы.

Кенигсберг был основан в XIII веке тевтонскими рыцарями как очередная, но не самая главная база Ордена на землях балтийских племен пруссов. Изначально это был деревянный, а затем каменный замок, вокруг которого возникли небольшие литовско-пруско-германские поселения, со временем приобретшие статус самостоятельных городков с названиями Лебенихт, Альтштадт и Кнайпхоф. Лишь в 1724 году – году рождения Иммануила Канта – эти три города юридически были объединены в один с общим названием Кенигсберг.

Благодаря выгодному положению в устье реки Прегель Кенигсберг стал важным стратегическим и торговым центром. В 1525 году последний Великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн принял лютеранство и распустил орден, положив таким образом начало традициям антиклерикализма, расцветшим впоследствии в этом регионе. Одновременно с секуляризацией ордена Кенигсберг был назначен столицей нового Прусского герцогства, в котором Альбрехт стал первым герцогом.

Альбрехт Гогенцоллерн прославился не только как дальновидный политик и умелый дипломат, но и как интеллеktуал и меценат. Именно он начал собирать знаменитую кенигсбергскую «Серебряную библиотеку», сгоревшую в огне второй мировой войны, незадолго до того, как город приобрел нынешнее нелестное имя Калининград. Стараниями того же Альбрехта в 1544 году в Кенигсберге был открыт университет, ставший одним из первых на территории германских земель и получивший впоследствии название Альбертина в честь своего основателя. Превращение Кенигсберга в университетский центр позволило ему к концу XVIII столетия стать одним из важнейших в Европе «рассадников» идей Просвещения.

1.

Идеи Просвещения, зародившиеся в Англии во второй половине XVII века и получившие широкое распространение в Европе в XVIII столетии, были подхвачены евреями относительно поздно. Это было связано с тем, что из всех народов, населявших западную и центральную части Европейского континента, евреи дольше других продолжали существовать в рамках традиционного общества и очень медленно подвергались процессу модернизации. Отделенные от своих соседей христианами стенами гетто, а также языковым и культурным барьерами, они представляли собой корпорацию, наверное, даже более замкнутую, чем иные корпоративные системы Средневековья. Евреи имели свой суд, свою систему образования, свое общинное управление. Правовой базой, регулирующей все стороны еврейской жизни, было религиозное законодательство – алаха. Евреи жили в собственном культурном мире, замкнутом от посторонних, но и закрывавшем самим евреям возможность близкого знакомства с внешним миром.

С христианским окружением евреи предпочитали иметь лишь деловые контакты, а отношения европейских правительств к ним ограничивались, фактически, фискальными потребностями первых. Подчас налоговое бремя было весьма ощутимым, особенно если учесть извечное стремление европейских монархов ограничить сферу деятельности еврейского населения наименее прибыльными отраслями ремесла и торговли. Специальными законами определялось и количество евреев, имеющих право

проживания в тех или иных городах или государствах. Так, и в начале XIX века, чтобы поселиться в австрийском, прусском или, например, баварском городе, еврею необходимо было получить особый «матрикул», который мог наследоваться только старшим сыном.

Несмотря на все эти препоны, уже в XVI–XVII столетиях в западноевропейском еврействе складывается прослойка состоятельных и авторитетных членов общины, которые благодаря своему богатству и обширным коммерческим связям оказываются в тесном контакте с элитой христианского общества. Этими людьми были так называемые «придворные евреи», служившие при европейских дворах поставщиками, монетчиками, банкирами и даже дипломатами.

Постепенно различия в образе жизни между крупными еврейскими предпринимателями и остальными членами общины становились столь существенными, что первые начали тяготиться своим неопределенным правовым положением и иногда предпочитали принять христианство, чем оставаться постоянной финансовой опорой для своих менее удачливых соплеменников. В иных случаях крещение оказывалось единственной возможностью изменить к лучшему свою жизнь: поступить на государственную службу, получить офицерский чин в армии, поселиться в городе, куда въезд для евреев был ограничен.

Но многие не были готовы так просто отказаться от веры, объединявшей их народ на протяжении тысячелетий. Ущербное положение соплеменников заставляло их испытывать душевную боль, а узкое пространство традиционных знаний, которое единственно было доступно большинству евреев, все больше стесняло их пытливые умы. Остаться со своим униженным и безнадежно отставшим от современной жизни народом или оставить его ради приобщения к бурно развивающейся европейской христианской культуре – этот вопрос, вынужденно поставленный ими перед собой, не имел однозначного ответа. Примеры Уриэля д'Акосты и Баруха Спинозы, жизнь которых была омрачена трагическим разрывом с еврейством из-за тяги к новым знаниям, еще не ушли в прошлое. А образец эллинистического синтеза, когда еврейская ученость мирно уживалась с греческим рационализмом, наоборот, казался бесконечно далеким, хотя и вызывал стойкий исследовательский интерес.

С течением времени немногие молодые евреи, сумевшие получить не только традиционное религиозное, но и европейское светское образование, стали находить друг друга. Их встречи происходили в аудиториях университетов, в светских салонах или на приемах еврейских банкиров и коммерсантов, в домах которых они состояли гувернерами. В обсуждениях и спорах начала постепенно выкристаллизовываться мысль о том, что остаться со своим народом в создавшихся условиях можно лишь одним способом – перекроив народ под себя. А для этого в первую очередь требовалось перестроить сознание евреев, раскрыть им глаза на тот пласт европейской культуры, которого они лишаются, погружившись в глубины раввинистической учености и не стремясь ближе познакомиться с окружающей их действительностью. Нельзя, однако, сказать, что просвещенными молодыми евреями двигали исключительно эгоистические мотивы. Вовсе нет, и даже наоборот. Не стоит забывать, что речь идет о времени, когда о высоких целях еще думали и рассуждали всерьез.

Так, под влиянием непростых исторических обстоятельств начинают формулироваться идеи Хаскалы^[1] и появляются личности, сделавшие воплощение этих идей своей жизненной задачей.



Моисей Мендельсон у Берлинских ворот Потсдама. Гравюра на меди Йохана Лёве по рисунку Даниэля Ходовецкого. 1792 год

2.

Первой и самой яркой звездой на небосклоне еврейского Просвещения стал берлинский писатель и философ Моисей Мендельсон (1729–1786), личным примером указавший путь сотням последователей. Выходец из семьи бедного переписчика Торы из германского городка Дессау, Мендельсон однажды пришел в Берлин, влекомый тягой к знаниям. Благодаря исключительно силе своего ума и неистовости стремления к истине к 60-м годам XVIII столетия он стал одним из самых уважаемых и почитаемых германских философов Нового времени.

Оказавшись в кружке просвещенных берлинских интеллектуалов, Мендельсон быстро завоевал их уважение. Готхольд Эфраим Лессинг, написавший первое громкое сочинение, в котором еврей был выведен в качестве положительного персонажа («Еврей»), посвятил ему одну из своих самых известных пьес – «Натан Мудрый». Мендельсона не только не стеснялись, но и почитали за честь приглашать к себе содержатели модных берлинских салонов. Прусский король Фридрих Великий повелел поставить в своем личном кабинете его бюст. В 1763 году работа Мендельсона «О достоверности в метафизических знаниях» обошла по конкурсу в Королевской академии наук сочинение самого Канта, который с этого момента стал его постоянным адресатом.

В 1777 году Мендельсон по торговым делам (а в основной своей профессии он был коммерсантом) посетил Кенигсберг. Здесь свидетелями встречи двух великих умов стали многие студенты университета Альбертина. Современник так описывает это событие:

Не обращая особого внимания на присутствующих, но тем не менее продвигаясь вперед осторожными и медленными шажками, маленький, физически уродливый еврей с козлиной бородкой вошел в лекционный зал и остановился недалеко от входа. Как можно было ожидать, замелькали насмешливые и презрительные улыбки, которые вскоре сменились какими-то щелкающими звуками, свистками и топотом; однако, ко всеобщему изумлению, незнакомец стоял с ледяным спокойствием, будто привязанный к своему месту. Потом, словно желая ясно показать, что собирается дожидаться профессора, он пододвинул к себе свободный стул и сел. Кто-то приблизился к нему и задал вопрос, что он здесь делает, и он кратко, но вежливо ответил, что хотел бы остаться здесь, чтобы познакомиться с Кантом. Только появление самого Канта утихомирило наконец этот гвалт. Его лекция переключила всеобщее внимание на совершенно иные вещи, и все так увлеклись, настолько погрузились в море новых идей, что совершенно забыли о присутствии еврея.

Когда лекция закончилась, еврей с настойчивостью, резко контрастировавшей с его прежним поведением, стал протискиваться вперед сквозь толпу, чтобы подойти к профессору. Студенты едва ли обращали на него внимание, но вдруг опять раздался презрительный смех, который тут же уступил место изумлению, потому что Кант, бросив на незнакомца быстрый задумчивый взгляд и обменявшись с ним несколькими словами, вдруг сердечно пожал его руку и потом его обнял. Сквозь толпу, как пламя в зарослях сухого кустарника, мгновенно пронесся шепоток: «Это Мозес Мендельсон. Еврейский философ из Берлина». Студенты почтительно расступились, и два мудреца, рука в руке, покинули лекционный зал [\[2\]](#).

К сожалению, встреча двух философов была краткой. Мендельсон лишь два дня пробыл в Кенигсберге. Торговые дела требовали его присутствия в Мемеле (нынешней Клайпеды). На обратной дороге в Берлин он вновь заехал в Кенигсберг и посетил несколько лекций в Альбертине. Сопровождал его в этой поездке один из любимых учеников Канта Маркус Герц. Не решаясь, очевидно, напрямую обратиться к Мендельсону из опасения отвлечь его от срочных дел, Кант выражает Герцу свои сожаления по поводу отъезда Мендельсона. Сколько печальной мудрости и человеческого такта таится в словах великого философа:

Дражайший друг!

*Сегодня Вы и (смею надеяться) мой достопочтенный друг господин Мендельсон уезжаете отсюда. Иметь в Кенигсберге для постоянного и тесного общения человека столь деликатного, доброжелательного и умного дало бы моей душе ту пищу, которой я здесь абсолютно лишен и отсутствие которой с возрастом ощущаешь все острее; ибо о том, что касается тела, и в этом отношении Вы меня знаете, я думаю лишь в последнюю очередь, без забот и печали, полностью удовлетворившись теми земными благами, кои выпали на мою долю. Между тем я не сумел устроить так, чтобы в полной мере воспользоваться единственной в своем роде оказией и насладиться обществом этого необычайно приятного собеседника, отчасти из опасения оказать ему в тягость в здешних его делах. Третьего дня он оказал мне честь, посетив две мои лекции – я угостил его, так сказать, *a` la fortune du pot* [\[3\]](#), ибо стол не был накрыт в расчете на столь видного гостя. Моя манера читать, должно быть, показалась ему*

несколько сумбурной, так как я вынужден был суммарно повторить прерванную каникулами предыдущую лекцию, что заняло большую часть времени; при этом ясность и упорядоченность первого доклада в значительной мере пострадали. Прошу Вас и в дальнейшем поддерживать в этом достойном человеке дружеское расположение ко мне [4](#).

3.

Благодаря авторитету Мендельсона и популяризации идеи о равенстве евреев с христианами в сочинениях Лессинга и либерального публициста, историка и экономиста Христиана Вильгельма фон Дома общественное мнение в Пруссии начинает менять свое отношение к евреям. В среде интеллектуальной элиты появляется интерес к этому доселе непонятному и пугающему своей чуждостью народу, который оказывается способен давать таких представителей, как Мендельсон. Новому взгляду на еврейство способствовало и развитие идей Просвещения, утверждающих, что никакие религиозные, этнические или иные различия не должны служить поводом для дискриминации человека человеком.



Маркус Герц. Гравюра XVIII века

Однако весьма непросто было победить вековые предубеждения. Прошло немного времени, и в среде германских интеллектуалов раздались удивленные возгласы. Почему Мендельсон, по образу жизни и по своим достижениям на уровне рационалистической философии проявляя себя законченным европейцем, продолжает сохранять верность отжившим традиционным идеалам соплеменников? Почему он не отрекается от иудаизма и не переходит в христианство?

Мендельсон, далекий от публичных баталий и предпочитавший углубленные философские занятия в кабинетной тиши, вынужден был вступить в дискуссию с теми, кто задавался подобными вопросами. Доказательства сочетаемости традиционного иудаизма с принципами Просвещения он публикует в своем объемном труде «Иерусалим», изданном в 1783 году. Здесь, подытоживая приведенные аргументы в пользу своей приверженности иудаизму, он обратился к современникам с призывом:

Братья! Если вам есть дело до истинного Б-жественного блаженства, то не допустим обмануть себя никаким единомыслием там, где очевидным планом и конечной целью провидения является многообразие. Никто из нас не думает и не чувствует в точности так же, как его ближний; почему же мы тогда хотим вводить друг друга в

заблуждение лживыми словами? К сожалению, мы это делаем в нашей повседневной жизни, в нашем будничном общении, которое особого значения не имеет; но зачем же допускать такое в тех вещах, которые касаются нашего временного или вечного блага, всего нашего предназначения? <...> Сильные мира сего, <...> ради вашего и нашего блага, не используйте ваш могущественный авторитет для того, чтобы превратить какую-нибудь вечную истину, без которой гражданское благополучие никак не пострадает, в закон, а не имеющую никакого отношения к государству религиозную доктрину – в государственную религию! Обращайте внимание на поступки и поведение людей; именно это привлекайте к суду мудрых законов, а нам оставьте мысли и речения, как это и было даровано нам нашим общим Отцом в неотъемлемое наследство и в виде непреложного права [\[5\]](#)

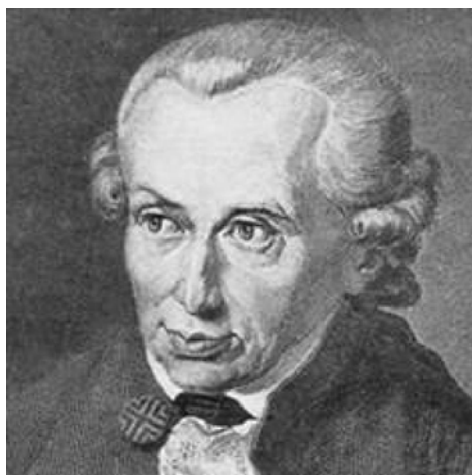
Однако «сильные мира сего» не спешили сразу взять эти слова на веру. Борьба за эмансипацию евреев Пруссии и других германских земель шла с переменным успехом всю первую половину XIX столетия, и лишь в 60-х годах, одновременно с объединением Германии в единое государство, было достигнуто полное равноправие. Однако призыв Мендельсона не остался неслышанным. И первыми, кто откликнулся на него, были сами евреи.

4.

С 80-х годов XVIII века в крупнейших прусских городах стали появляться кружки маскилим – сторонников еврейского Просвещения – Хаскалы. Своей целью маскилим видели подготовку почвы для приобщения евреев к европейской культуре. Тем самым, они полагали, будут наконец стерты любые, кроме религиозных, отличия между евреями и христианами и созданы условия для распространения на евреев общих законов гражданственности.

Первым после Берлина европейским городом, где выросло такое объединение просвещенных евреев, стал Кенигсберг. Причинами столь заметной роли восточнопрусской столицы в истории Хаскалы можно предполагать выгодное месторасположение города как торгового и культурного центра на пересечении Востока и Запада, а также особый культурный статус Кенигсберга в этот период.

Конец XVIII – начало XIX столетия – период расцвета столицы Восточной Пруссии как северогерманского центра науки и культуры. Тогда Кенигсберг был средоточием множества выдающихся людей: здесь начинал свою деятельность идеолог свободного литературного направления «Буря и натиск» Иоганн Георг Гаман (1730–1788), творил поэт, мыслитель и один из первых историков культуры Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803), порождал свои остроумные умозаключения писатель-сатирик Теодор Готлиб Гиппель (1741–1796). Лекции в Альбертине посещал в те годы и Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776–1822), о роли которого в истории европейской литературы можно даже промолчать. В начале XIX века в Кенигсберге осел и открыл обсерваторию при Альбертине знаменитый берлинский астроном Фридрих Вильгельм Бессель (1784–1846), первым измеривший расстояние до звезд и рассчитавший кривизну поверхности земного шара. До сих пор в окрестностях бывшего Кенигсберга можно найти холмы, на которых располагались триангуляционные точки Бесселя, где он производил свои расчеты. В эти же годы в Кенигсберге создается сильнейшая физико-математическая школа Неймана-Якоби, в рамках которой впервые была использована принятая ныне во всех мировых технических вузах методика преподавания: лекция–семинар–лаборатория.



Иммануил Кант. Фотогравюра с прижизненного портрета Доблера. Из берлинской коллекции Photographische Gesellschaft

Но несмотря на обилие ярких личностей, живших и творивших в Кенигсберге в те годы, в первую очередь возросший авторитет города среди других европейских культурных центров был связан с деятельностью Иммануила Канта. Дискуссии, которые разворачивались между Кантом и его берлинскими оппонентами, привлекали интерес не только студентов-христиан, но и евреев, стремившихся узнать как можно больше о достижениях европейской цивилизации. Кстати, заслугой именно Канта как декана философского факультета принято считать разрешение некоторым любознательным евреям попасть в число университетских слушателей и академических граждан Кенигсберга в этот период.

Среди наиболее ярких последователей кантовской философии из числа евреев следует назвать трех еврейских просветителей, считавших себя его учениками: известного врача Маркуса Герца, свободного философа Соломона Маймона и директора берлинской фрейшуле [\[6\]](#) Лазаря Бендавида.

5.

Маркус Герц, родившийся в Берлине в 1747 году, то есть почти на двадцать лет позже Мендельсона, происходил, как и тот, из семьи бедного переписчика еврейских текстов. Способный юноша, Маркус не мог продолжать образование в Берлине, где еще не было университета, а вынужден был отправиться в Кенигсберг, чтобы для начала поступить учеником в торговую фирму своих родственников. Однако торговля не надолго отвлекла его от интереса к наукам, и вскоре он поступил на медицинский факультет в кенигсбергский университет Альбертину. Основным же его увлечением стала философия, благодаря которой он близко сошелся с Кантом и стал одним из его любимых учеников.

Успехи Герца на философском поприще оказались столь велики, что Кант, разрабатывавший в тот момент свою систему, обратил взор на пытливого молодого человека и, будучи уже профессором, даже избрал его помощником при защите своей темы. Однако, несмотря на все старания покровителя, Герц, как еврей, не мог получить в Альбертине степени доктора. Это обстоятельство заставило его вернуться в Берлин, где он присоединился к мендельсоновскому кружку. Но и здесь он продолжал оставаться верным учеником Канта и защищал его учение в вопросе о соотношении Знания и Веры даже против самого Мендельсона.

В Берлине Маркус Герц стал зарабатывать врачебной практикой. Именно ему приписывают высказывание о пациенте, предпочитавшем лечиться по медицинским справочникам: «Этот человек погибнет от типографской ошибки». Он же стал одним из первых сторонников Мендельсона на поприще еврейского Просвещения. Как активный борец за возвращение древнееврейского языка в повседневный обиход Герц, даже находясь в Берлине, был одним из постоянных авторов еврейского кенигсбергского журнала «А-Меасеф», о котором еще будет сказано ниже.

В 1782 году с целью отразить многочисленные нападки противников еврейского равенства Мендельсон поручил ему перевести на немецкий язык сочинение английского еврейского мыслителя Менаше бен Исраэля *Vindiciae Judaeorum*^[7] (в переводе Герца: «*Rettung der Juden*»), написанное в XVII веке для воздействия на британское общественное мнение. Сам Мендельсон пишет к нему предисловие, где впервые, еще до создания «Иерусалима», выступает как пламенный публицист, защищающий еврейскую веру от несправедливых обвинений.

Полученные в Альбертине знания в области медицины обеспечили Герцу в Берлине богатую практику и сделали его популярным врачом, а его познания в кантовской философии позволяли ему читать публичные лекции, на которые собирался цвет берлинского общества. Даже наследник прусского престола будущий король Фридрих Вильгельм III посещал его дом, чтобы послушать выступления о философии, физике и медицине. Впоследствии Герц решением самого прусского короля был возведен в звание профессора, несмотря на нескрываемое им еврейство.

Приблизительно с 1786 года дом Герца в Берлине превратился в пышный салон, хозяйкой которого стала жена Маркуса красавица Генриетта. Очень скоро салон Генриетты Герц стал центром берлинской интеллектуальной жизни, где происходили встречи между глубокомысленными поклонниками Канта, Мендельсона и Лессинга и представителями только входившего в моду германского романтизма.

Получившая хорошее домашнее образование, молодая и яркая Генриетта, в отличие от своего уже немолодого и степенного мужа, была женщиной возвышенной, легкой в общении, предпочитавшей не связанную строгими ограничениями жизнь. О ее бессчетных амурных связях в Берлине ходило множество слухов, и чаще всего не беспочвенных. Из многочисленной публики, посещавшей ее салон, она выделила особый кружок посвященных, названный «Лига добродетели». Членами этого круга были и юные братья Гумбольдт – Вильгельм и Александр, первый из которых стал впоследствии великим реформатором системы образования в Пруссии и учредителем Берлинского университета (ныне носящего его имя), а второй – знаменитым путешественником и естествоиспытателем. Члены этого «тайного общества» общались посредством секретного шифра. Одно время им был еврейский алфавит, которому Генриетта обучила влюбленного в нее Вильгельма Гумбольдта. Таким причудливым образом было найдено одно из решений сложной задачи, поставленной перед собой ее мужем, – превратить древнееврейский язык в язык каждодневного использования.

«Лига добродетели», имея по сути очень мало общего со своим названием, стала, по выражению историка Семена Дубнова, «школой практического романтизма», явившегося отражением романтизма литературного. В отличие от интеллектуальных споров о природе окружающего мира и судьбах человечества, ведущихся за дверьми кабинета супруга, здесь шел романтический спор страстей за обладание сердцем красавицы Генриетты. Победителем в этой схватке вышел апостол крайнего романтизма и сторонник доктрины «свободной любви» Фридрих Шлейермахер. Отношения модной

еврейской красавицы и молодого берлинского проповедника получили широкую огласку. В ход даже пошли карикатуры, изображавшие худого и низкорослого Шлейермахера, торчащего из кармана высокой и дородной Генриетты.

Оба влюбленных, между тем, уверяли общество в своих чисто дружеских отношениях. Лишь после смерти Маркуса Герца в 1804 году союз просвещенной светской еврейки и романтического христианского националиста и будущего известного философа распался.

Оставшись одна, со скудным достатком от наследства умершего супруга, Генриетта блюла верность иудаизму лишь до тех пор, пока не умерла ее мать. В отличие от принципиального Маркуса, сохранявшего приверженность своей вере до конца, Генриетта не принимала христианство исключительно из-за нежелания огорчать религиозные чувства матери. Это обстоятельство однажды помешало ей стать воспитательницей юной прусской принцессы Фредерики Шарлотты Вильгельмины (больше известной нам как Александра Федоровна – жена русского императора Николая I), поскольку такая должность была сопряжена с обязательным принятием лютеранства. Но в 1817 году, сразу после смерти матери, Генриетта стала христианкой, полагая вслед за Шлейермахером, что иудей не может быть полноценным гражданином Германии.



Музыкальный вечер у Генриетты Герц. За роялем – Авраам Мендельсон, справа – философ Фридрих Шлегель. Рисунок Иоганна Шадова

Подобные жизненные коллизии не обошли стороной и членов семей других ранних маскилим, потерявших моральную устойчивость при встрече со свободным до легкомыслия духом европейской светской жизни. Так, старшая дочь Моисея Мендельсона Доротея, которая в молодости была членом «Лиги добродетели», развелась с мужем-иудеем и стала любовницей, а впоследствии и женой немецкого романтика и друга Шлейермахера Фридриха Шлегеля, известного своим исключительно откровенным эротическим романом «Люцинда». В середине своего жизненного пути Доротея приняла католичество и, проживая в Вене, посещала изредка в Германии и Италии своих сыновей от первого мужа, также крещеных. Подобная судьба постигла ее сестер и братьев. Из всех детей великого борца за идеалы иудаизма Моисея Мендельсона только старший, Иосиф, остался в еврействе до самой своей смерти в 1848 году.

Как уже было сказано, несмотря на успехи Просвещения, невозможность для еврея стать полноценным членом общества сохранялась еще долго. Это обстоятельство заставляло многих, как и раньше, искать выход в перемене веры. И здесь интересным образом проявилось влияние на еврейские просвещенные умы философии Канта и его взгляда на природу иудаизма. В 1798 году в сочинении «Спор факультетов» Кант превознес очищенное от церковности христианство и предложил евреям использовать его вместо «гетерономной» системы «лишенных нравственного и духовного смысла» ритуальных законов иудаизма. Этот призыв многими был использован как соломинка, бросаема утопающему.

Например, один из лидеров Хаскалы Давид Фридендер обратился к пробсту [8] Теллеру со ставшим знаменитым письмом, в котором он просил принять его и его сподвижников в лоно христианства, но с позволением не признавать догмата о Сыне Божьем в его церковном смысле. Естественно, в подобной просьбе ему было решительно отказано, и этот эпизод навсегда остался в еврейской истории не более как поучительным анекдотом.

Окончание следует

[1] Слово «Хаскала» происходит от еврейского глагола «лехаскил» – «просвещать».

[2] Евреи в современном мире. История евреев в Новое и Новейшее время: Антология документов. Сост. П. Мендес-Флор, Й. Рейнхарц. Т. 1. М.–Иерусалим, 2003. С. 124–125.

[3] Чем Б-г послал (фр.).

[4] Евреи в современном мире... С. 136.

[5] Там же. С. 138–139.

[6] Фрейшуле – еврейские школы нового типа, создаваемые сторонниками Хаскалы в Пруссии. Здесь преподавались как традиционные еврейские предметы, так и светские науки и языки.

[7] В защиту евреев (лат.).

[8] Пробст – глава Германской протестантской церкви (с резиденцией при верховной консистории в Берлине).

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА –

РЕАЛЬНОСТЬ ФАНТОМА

Анна Исакова

Национальное самоощущение француза, ирландца или русского не зависит от того или иного сакрального текста – его вполне заменяет литературный канон, сложившийся в ходе исторического становления и самоопределения нации и отражающий ее этические и эстетические приоритеты. Канон этот в расширенном или сжатом виде считается обязательным для передачи от поколения к поколению и обеспечивает общность индивидов одного национального корня, где бы они ни проживали.



Сцена из спектакля театра «Габима» по пьесе С. Ан-ского «Дибук». 1926 год

У евреев такого канона как бы нет. Считалось, что еврейская самобытность в том и состоит, что мы – народ одной Книги, способный жить в реальном мире и в виртуальном пространстве сакрального текста одновременно. Иначе говоря и пользуясь знаменитым определением Мендельсона, быть как все вне собственной среды и евреями внутри нее.

В этом утверждении есть доля лукавства: на протяжении еврейской истории сакральный текст оброс огромным количеством дополнений, комментариев, философских трактатов, а также текстов вовсе не сакральных, фольклорных и авторских, составивших дополнительный культурный канон, определявший национальное самоощущение в не меньшей степени, чем сама Книга.

По этому поводу можно привести еврейский анекдот, датируемый XIX веком: деревенский апикойрес (безбожник) приехал с визитом к знаменитому берлинскому апикойресу и был поражен, когда перед ним предстал старый еврей в ермолке, при пейсах и в капоте. «То, что я не верю в Б-га, – объяснил столичный безбожник деревенскому, – отнюдь не означает, что я должен перестать быть евреем».

Разница между безбожником первого поколения и нынешним секулярным евреем в пятом и шестом поколении состоит в том, что тот, первый, еще хорошо знал

содержание сакральной книги и еврейский культурный канон. У рассказанного анекдота есть продолжение: столичный апикойрес принялся экзаменовать деревенского относительно тех или иных положений Талмуда и его интерпретаций, но вскоре прекратил экзамен, заключив с раздражением: «Никакой ты не апикойрес, парень, а всего лишь простой невежда».

К сожалению, приходится признать, что современный секулярный еврей, где бы он ни проживал – в диаспоре или в Израиле, – является с точки зрения еврейского культурного наследия невеждой. Еврейский литературный канон не сопровождает его с младенчества, подвергая влиянию определенного набора текстов, определяющих духовные, этические и эстетические пристрастия и предпочтения. Неудивительно поэтому, что индивид, добровольно причисляющий себя к общности, называемой еврейством, к чему его сегодня не принуждают ни внешняя среда, ни ближайшее окружение, не слишком твердо знает, в чем эта общность состоит. Она вроде бы есть, но ее как бы и нет, поскольку нет общего культурного субстрата, такую общность создающего.

Между тем, еще чуть более полувека назад существование еврейского мира не вызывало ни у кого сомнений. Особый ареал культуры идиша позволял еврейскому театру твердо полагаться на приличные гастрольные сборы от Шанхая до Чикаго, а еврейским издательствам печатать книги и журналы, расходившиеся по всему обозначенному пространству. Однако ареал идиша не был обособлен от остального еврейского мира, говорившего на разных языках, но при этом интересовавшегося деталями существования всех своих частей. Книги и статьи, имеющие отношение к еврейской жизни, переводились с одного языка на другой, и описываемые в них события широко обсуждались, независимо от того, где именно они происходили: в Османской империи, на берегах Гудзона, в лондонском Ист-Энде, в Варшаве, Праге, Берлине, Львове или Киеве.

1920–1940-е годы видели необычайный расцвет критического осмысления еврейской культуры. По всему пространству еврейского мира разом – в России и Польше, в Литве и Германии, в Чехии и Греции, в Провансе и Италии, в Англии и США, в Каире и Александрии – собирались этнографические артефакты, фиксировались архитектурные особенности старинных кладбищ и синагог, изучались архивы еврейского самоуправления, составлялись сборники еврейских сказок и притч, выпускались антологии еврейской прозы и поэзии, а также альманахи философской мысли, исследовались особенности еврейской музыки и танца, выходили многотомники социологических исследований. Все это без конца обсуждалось на страницах журналов, выпускавшихся как на идише и иврите, так и на нееврейских языках, широко комментировалось и вызывало оживленные споры на многочисленных конференциях и съездах, в любительских кружках и академических кругах.

Создается впечатление, что еврейский мир, словно предчувствовавший свое возможное исчезновение, мобилизовал все силы для того, чтобы зафиксировать собственное многовековое существование. Впрочем, есть и иное объяснение этому феномену: вступив с большим опозданием в бурный поток национализирующегося сознания мира, евреи только в XX веке смогли собрать значительные научные и творческие силы в области, не связанной напрямую с пространством сакрального текста, чтобы попытаться создать культурный канон, оправдывающий не конфессиональную, а национальную принадлежность.

Эта деятельность была прервана войной. Повторный пик такой активности пришелся на 50-е годы XX века и имел место, в основном, в США, но к середине 60-х

годов эта деятельность фактически сошла на нет. Возможно, причиной тому стало не только исчезновение поколения, для которого еврейский мир, объединенный единой культурной доминантой, был еще реальностью, а не фантомом, но и резкое сопротивление израильской культурной элиты самой идее существования еврейского культурного канона, включающего все культурное наследие галута и обязывающего ивритскую культуру почитать себя его составной частью.

Как бы то ни было, деятельность по созданию национальной культурной сокровищницы не обошлась без попыток составить еврейский литературный канон. Одна из таких работ, выпущенная первым изданием в 1930 году в Чикаго и переизданная в 1938 году, случайно попала мне в руки.

Библиотеки досточтимых маскилим старого поколения, переселившихся в свое время из Германии и России в США, а затем в Израиль, потихоньку перетекают в два-три иерусалимских антикварных магазина. Потомкам бывших владельцев эти книги ни к чему, спроса на них среди нынешних израильтян нет, они пылятся на полках, сложенные в стопки, так что и названий не видно. Узнать их можно по коленкорovým корешкам с золотым тиснением. Солидный вид книг еврейского культурного канона не случаен: фамильная еврейская библиотека создавалась на века и в лучших традициях европейского книгопечатания. Выглядеть она должна была не хуже немецкой, английской или французской. Кому могло прийти в голову, что это усилие окажется не востребовано потомством?

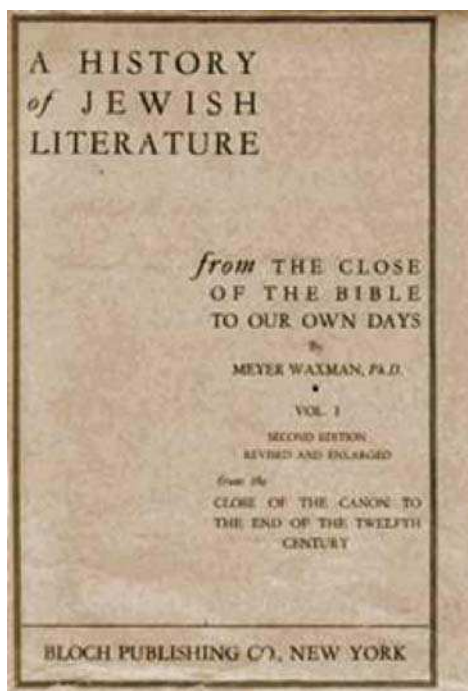
Было время, когда я вознамерилась собрать всю продукцию того периода на английском языке, но вскоре от этой идеи отказалась – неподъемное дело. Количество трудов, посвященных самым разным направлениям еврейских исследований, так велико, что невольно задаешься вопросом: каково же было количество широко образованных евреев, которым и предназначались эти академические издания, снабженные в обязательном порядке солидным справочным аппаратом? И что произошло с их потомством, решившим отказаться от родительского наследия?

Время от времени я все же заглядываю в тесные антикварные лавки. Так оказался у меня в руках четырехтомник (в шести книгах) «Истории еврейской литературы от канонизации Танаха до наших дней» Меира Ваксмана (Meyer Waxman. A History of Jewish Literature from the close of the Bible to our own days. New York: Bloch Publishing Co., 1938). Из выходных данных я смогла выяснить только, что речь идет о втором, дополненном, издании – первое вышло в 1930 году.

О Ваксмани и его труде я ничего не слышала, упоминания о нем нет и в недавно вышедшей в русском переводе книге Рут Вайс «Современный еврейский литературный канон». Может ли быть, что столь объемный труд по истории еврейской литературы и ей неизвестен?

Неизвестен данный автор и русскоязычной Краткой еврейской энциклопедии, упоминающей лишь Ваксмана-микробиолога. Ничего не говорило имя автора и название его труда и моим друзьям – израильским литераторам, уроженцам страны. Зато Интернет оказался весьма щедр на информацию. Выяснилось, что книга Ваксмана считается классическим исследованием еврейской литературы (так утверждают Википедия и Британская энциклопедия), равным по количеству предлагаемого материала и качеству его осмысления и подачи только труду Исраэля Цинберга (погиб в советском лагере; его «История еврейской литературы европейского периода» была переведена автором на идиш, а впоследствии – с идиша на английский).

«История еврейской литературы» Ваксмана выдержала несколько изданий, была переработана и дополнена автором и доведена до 1950 года. В последний раз этот труд переиздавался в 1980-х годах, на сей раз – шеститомником. Сам же рабби и профессор Меир Ваксман много лет преподавал еврейскую литературу в нескольких американских колледжах, был видным общественным деятелем в движении Мизрахи и одним из основателей нью-йоркского Yeshiva University. Родился он в Слуцке, эмигрировал в США в 1905 году и скончался в 1957 году в Майами.



Меир Ваксман. История еврейской литературы от канонизации Танаха до наших дней. Том I. Изд. 2-е. 1938 год

У меня нет ни возможности, ни намерения обзреть столь серьезный и объемный труд. Могу только сообщить, что написан он прекрасно и читается легко и с интересом. Приведу содержание основных частей, поскольку этот список отвечает на вопрос: может ли быть создан канон еврейской литературы и из чего он должен состоять?

Итак, первый том (400 год до н. э. – 500 год н. э.) посвящен Талмуду, развитию и организации алахи, апокрифам, апокалиптической и эллинистической литературе.

Второй том охватывает период с 500 по 1200 год и повествует о еврейских грамматиках и лексикографах, а также о библейской экзегезе от Саады Гаона до Раши, от Раши до Ибн-Эзры. Далее обсуждается ранняя еврейская поэзия и ее палестинская, вавилонская, испанская, итальянская и франко-германская школы. Анализируется раввинистическая литература: комментарии, кодексы и респонсы. Затем следуют главы, посвященные теологии и философии, мистике, истории, географии и литературе путешествий, научным работам и прозаическим жанрам: басням, притчам, поговоркам, сатирическим и юмористическим произведениям.

Третья книга рассматривает еврейские тексты, датируемые 1200–1750 годами. Поражает богатство поэтического раздела: испанская, провансальская и итальянская школы обсуждаются подробно и основательно. Появляются и новые разделы, соответствующие веяниям времени: полемическая литература, апологетика иудаизма и ранняя литература на идише.

Большую часть четвертого тома (1750–1880 годы) занимает литература Хаскалы: поэзия и проза, эссеистика, критика и периодика того времени. Широко обсуждается литература хасидизма, а также научные труды по археологии и истории, включая историю еврейской литературы.

И наконец, две последние книги посвящены Новейшему времени (1880–1950 годы) и разбирают прозу и поэзию, критику и эссеистику, философские труды и историографию, биографии и автобиографии на иврите и идише, а также на европейских языках. Заметна диспропорция, объяснимая политическими причинами: тексты, созданные в Германии, США, Палестине и Израиле, а также литература на идише получают широкое и развернутое описание, а русско-еврейская литература представлена, в основном, дореволюционным периодом. Заглянуть за железный занавес автор, очевидно, возможности не имел. Впрочем, вопрос о включении в еврейский литературный канон так называемой дефисной литературы: русско-еврейской, англо-еврейской и т. п. – достаточно спорен.

Статья «Русско-еврейская литература» в Краткой еврейской энциклопедии требует следующих признаков для признания автора русско-еврейским писателем: свободный выбор своей национально-культурной принадлежности, ведущей к национальному самосознанию, укорененность в еврейской цивилизации, способность писателя быть голосом общины или ее части и двойная принадлежность к русской и еврейской культурам.

Легко заметить, что на основании этой классификации уходят из русско-еврейской культурной сокровищницы: В. Гроссман – по всем параметрам, С. Маршак – во всем, что не касается евреев, И. Бродский – по самоотводу, О. Мандельштам – по определению. Между тем, статью написал весьма уважаемый автор, ныне покойный Шимон Маркиш, что и заставило меня в 2003 году взять у него интервью и спросить: не слишком ли суровы его критерии отбора и принципы исключения из еврейского литературного наследия? Не следует ли, принимая во внимание меняющиеся условия жизни, последовать примеру Ханны Арендт и поставить во главу угла не столько национальное самосознание и укорененность в еврейской цивилизации, сколько отражение автором еврейского состояния в данном месте и в данное время?

Привожу ответ Маркиша в сжатом виде: «...Нет перспектив для русско-еврейского творчества ни в России, ни в Европе. Эта литература завершает свое существование в 1940 году со смертью Бабеля и Жаботинского». Относительно дефисных моделей, столь любимых мультикультуралистами, Шимон Маркиш остался непримирим. С его точки зрения, эти модели имеют отношение не к еврейской, а к имперской российской литературе, включающей и Искандера, и Айтматова, и Василя Быкова.

Широкая – по всему пространству еврейского мира – дискуссия о принципах включения произведений современных еврейских авторов в еврейскую культурную сокровищницу была бы признаком актуализации еврейской цивилизации, становящейся виртуальной, но вероятность подобного события весьма мала. Нет общего культурного пространства, на котором такое обсуждение могло бы произойти. С другой стороны, общее культурное пространство, исчезнувшее из виду после Катастрофы и вследствие все ускоряющихся темпов ассимиляции, не может вновь материализоваться без появления общего культурного субстрата.

И тут многое зависит от израильской культурной элиты и ее желания либо стать центром мировой еврейской культуры, либо продолжать сепаратистскую культурную

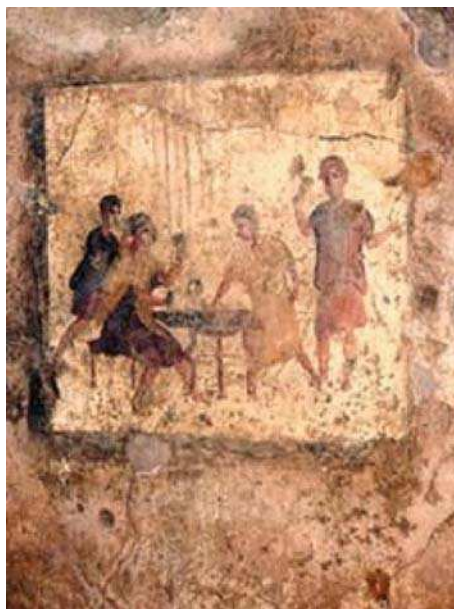
политику. Есть признаки того, что молодое поколение израильтян болезненно воспринимает утрату культурной базы, поддерживающей ивритскую культуру, и расположено к ее расширению. В каком направлении пойдет процесс, сказать пока трудно. Можно только констатировать, что без многовековой культуры еврейского галута ивритская культура окажется не укорененной в еврейской цивилизации, то есть будет только условно еврейской. Но утешает внимательное изучение реальности еврейского мира, не раз менявшего вид и форму и все же остававшегося самим собой, как утешает и сознание того, что культурный субстрат, востребованный временем или нет, все же существует, а значит, будет востребован в свое время.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ЗА СТОЛИКОМ НОЧНОГО КАФЕ

Аркадий Ковельман

Я хотел бы написать книгу и назвать ее на старый еврейский манер: «Сияние Славы». В этой книге искренность подружится с ученостью, а главы родятся пестрыми, как овцы отца нашего Якова. Ведь одноцветность, точность и ясность мы находим лишь в мире чисел и абстрактных идей. Душа созерцает их в надзвездном пространстве до своего вселения в тело. В мире первичных идей и чисел умозрение не знает преград, постигая вечное и истинно сущее. Иначе – в том, что касается нашего мира, рождающегося и преходящего мира явлений. Этот мир живет во времени, которое есть слабый отблеск вечности. Здесь знание не находит опоры, здесь – область веры и мифа. «Ведь как бытие относится к рождению, так истина относится к вере», – писал Платон. В этих делах (преходящий мир, его рождение и его кумиры) мы должны довольствоваться правдоподобным мифом, не требуя большего. Так сказано в диалоге Платона «Тимей».



Игроки в кости. Фреска из харчевни на Виа ди Меркурио, Помпеи. I век до н. э. – I век н. э.

Мир явлений является, кажется, мнится. По-гречески «видимость», «кажимость», «мнимость» – докса. Докса – также «слава», ведь слава – это то, что всем видно, что господствует во всеобщем мнении. Греческим словом докса в Александрии Египетской семьдесят толковников перевели еврейское слово кавод – «тяжесть», «весомость», «честь». Как в словах Моше, обращенных к Г-споду: «Покажи мне Славу Свою» (Шмот, 33:18). В Септуагинте (переводе семидесяти толковников) это звучит как музыка: дейксон доксан («прославь славу», «яви явь»). И в рассказе о сиянии лица Моше, когда он сходил с горы Синай со скрижалями Завета в руках (Шмот, 34:29-35), мы находим отблеск Славы Г-сподней. В Торе сказано: «Сияла кожа лица Моше». А в Септуагинте читаем: «Лицо Моше было прославлено».

Но здесь возникла апория, трудность. «Слава» есть нечто почетное, но и суетное, как суетно и «мнение», «видимость». Все, что подвластно суетному мнению и

неразумному ощущению, не существует на самом деле. Что же, неужели и Слава, явленная Моше на Синае, не существовала на самом деле? Была мифом? Филон Александрийский развязывает эту апорию. По словам Филона, когда Моше говорит Г-споду «покажи мне Славу Свою», он просит явить ему неложную видимость, истинную Славу, обменяв тем самым сомнение на веру. Так вера ставится выше знания. Ведь знание о Б-ге невозможно для человека, но Слава дана через веру.

В старой тяжелой апории ломается сила разума и крошится крепость веры. Разум нуждается в вере, чтобы увидеть Сияние. Это – его конечная цель, на меньшее он не согласен, как не согласен и на чистое, холодное знание. Он вообще не согласен на малое, мелкое, корыстное. И поскольку Слава не явлена, разум несчастен и мучается в темноте от бессонницы. Мало света! Пожалуйста, прибавьте света! Нет сил прожить эту ночь.

Сказано в Псалме (104:20-23): «Простираешь тьму, и вот ночь, и в ней рыщут все звери леса. Молодые львы рыкают о добыче, просят пищу у Б-га. Солнце встает, они собираются, ложатся в логово свое. Человек выходит к своему труду и на работу свою до вечера». Рабби Зейра истолковал это так. «И вот ночь» – этот мир, который подобен ночи. «И в ней рыщут все звери леса» – злодеи этого мира, что как звери в лесу. «Солнце встает, они собираются» – собираются в Геенну. «Ложатся в логово свое» – каждому праведнику назначена палата по чести его. «Человек выходит к своему труду» – праведники идут получить награду. «И на работу свою до вечера» – сказано о том, кто завершил работу до вечера.

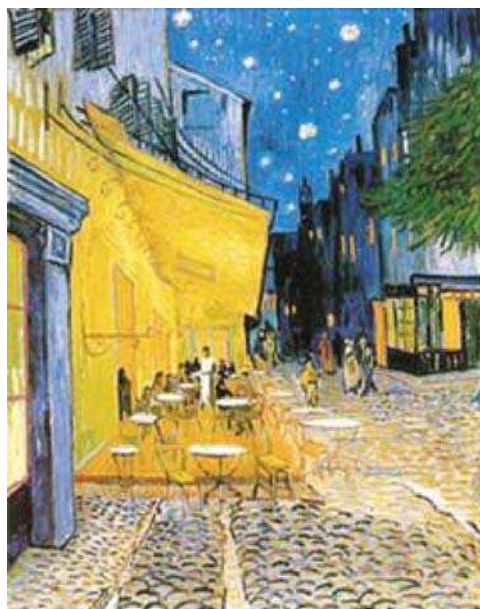
Это еврейский КЗОТ, законы о труде и заработной плате. В разделе «Ущерб», в седьмой главе талмудического трактата Бава мециа, обсуждаются часы работы и оплата труда. Часы работы – с восхода до заката, поскольку сказано в Псалме: «Солнце встает <...> Человек выходит к своему труду и на работу свою до вечера». Оплата – по обычаю местности. Как-то раз рабби Эльзар бен Шимон повстречал начальника римской полиции и процитировал ему стих из Псалма: «“Простираешь тьму, и вот ночь, и в ней рыщут все звери леса”». Трудно тебе искать грабителей, ведь они скрываются как звери в лесу, прячутся в своих логовах. Можно схватить праведника, а злодею дать уйти». «Что же делать, – спросил полицейский, – как исполнить приказ кесаря?» «Я научу тебя, – ответил рабби. – В четвертом часу утра загляни в таверну. Как увидишь человека, дремлющего с чашей вина в руке, разузнай, кто такой. Если это не студент, рано собравшийся на учебу, и не работник, рано поднявшийся к своему труду, то он – грабитель, хватай его!»

Отсюда мы учим, что таверны в римской Палестине работали в четвертом часу, то есть около десяти утра по нашему времени, – ведь часы считали от восхода и до заката солнца. Ночь же делили по стражам от заката и до восхода. В трактате Мишны Брахот (1:1) мудрецы спрашивают: когда в вечерние часы читаем Шма («Слушай Израиль, Господь, Б-г наш, Господь един»)? С того часа, когда священники идут есть храмовые приношения и до конца первой стражи. Таково мнение рабби Элизера. Мудрецы же говорят: «До полуночи». А раббан Гамлиэль говорит: «Пока не встанет столп зари». Как-то раз его сыновья пришли из таверны и сказали ему: «Мы не прочли Шма». Он сказал им: «Если не встал еще столп зари, то вы должны прочесть». И не только в этом случае, но повсюду, где мудрецы говорят: «до полуночи», следует понимать: «пока не встанет столп зари».

Отсюда мы учим, что таверны в римской Палестине работали ночь напролет, пока не встанет столп зари, а утром не закрывались. И называли их на священном еврейском языке «дом питья». По ночам веселились там юноши из хороших семей, по

утрам дремали над чашей вина студенты, ремесленники и грабители. Не так, как в Испании или где-нибудь в Латинской Америке. В поздний час никого не осталось в кафе, кроме одного старика – он сидел в тени дерева, которую отбрасывала листва, освещенная электрическим светом. Еще не было половины третьего ночи, старик попросил бренди, но официант вытер край столика и покачал головой. Конец, сказал он, закрываемся. Конечно, бары были еще открыты, но у стойки бара с достоинством не постоишь. Да и стойка не начищена. Чистое, ярко освещенное кафе – совсем другое дело.

Старик встал, заплатил за коньяк и ушел. Он шел неуверенно, но с достоинством. Официант (не тот, что прогнал старика, а другой, постарше), выключая свет в кафе, говорил сам с собой. Он был из тех, кто не спешит в постель, кому ночью нужен свет (может, это просто бессонница, со многими бывает). Он говорил сам с собой о «ничто»: «Ничто – и оно ему так знакомо. Все – ничто, да и сам человек ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света не надо, да еще чистоты и порядка. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет твое ничто, яко в ничто и ничто. Ничто и снова ничто».



Терраса кафе на площади Форум в Арле, ночью. Винсент Ван Гог. 1888 год

Так у Хемингуэя в новелле «Там, где светло и чисто». На что намекал классик? На молитву «Отче наш». Только вместо «Отче» – «Ничто». И вместо «Имя» – «ничто». И вместо «Царствие» – тоже «ничто». Nihil. «Ничто» (и в этом – скрытая суть новеллы) наступит в конце дней. Тогда явится чистое, хорошо освещенное место, Небесный Иерусалим, где совсем не будет ночи и бессонницы. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо Слава Божия осветила его...» – как сказано у Иоанна Богослова в Апокалипсисе. А на что намекал Иоанн Богослов? На книгу пророка Йешаяу (60:20): «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Г-сподь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». А мы знаем, что речь идет о свете, сотворенном и отделенном от тьмы в первый из семи дней творения, когда солнца, луны и звезд еще не было. Этот горный свет, будь он явлен, затмил бы солнце и луну. А потому он сокрыт и припасен для жизни праведников в Будущем мире, о чем и сказал пророк: «И будет свет луны как свет солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет семи дней» (Йешаяу, 30:26).

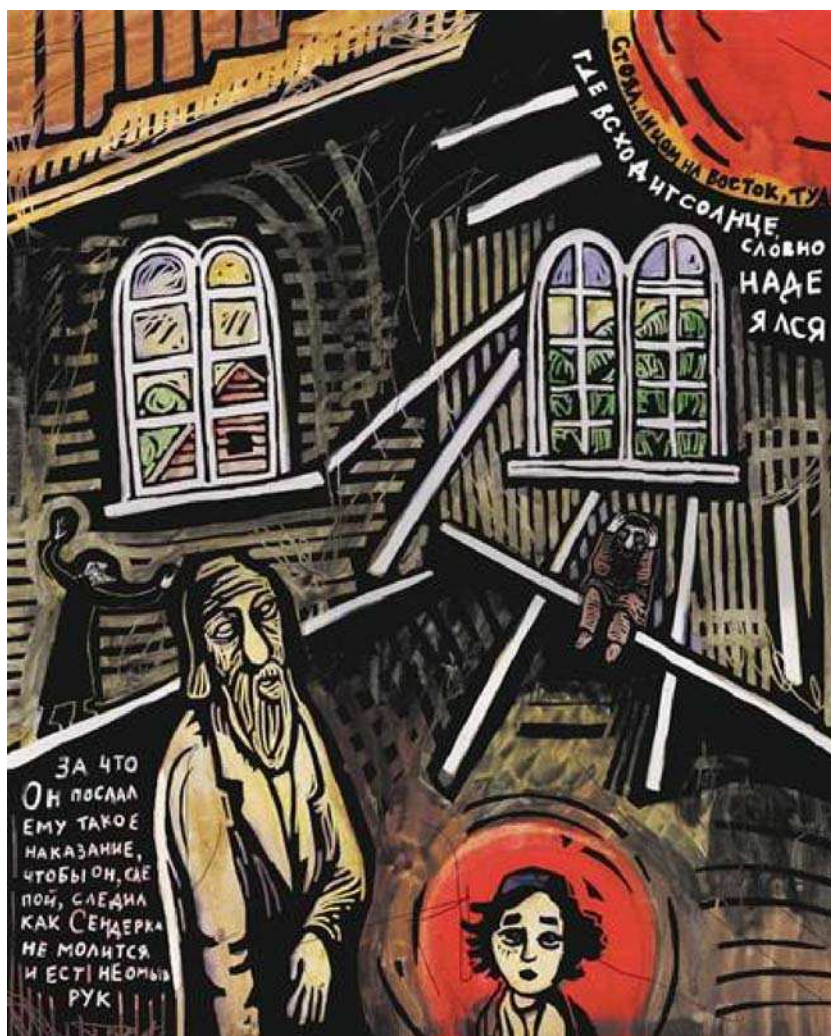
Но если все это – ничто (nihil), то молиться надо ничто о пришествии ничто, а славу присвоить себе. И потому написал поэт в юности: «Славьте меня! / Я великим не чета. / Я над всем, что сделано, / ставлю “nihil”». Так в юности. А незадолго до смерти, имея в виду Будущий мир («построенный в боях социализм»), он нашел совсем другие слова: «Сочтемся славою – / ведь мы свои же люди...» Как мотылек в ночном кафе, наш разум бьется о сетку светильника, об ограду Сияния Славы. «Помоги, Г-сподь, эту ночь прожить...»

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

МОЛЯЩИЕСЯ ДО РАССВЕТА

Хаим Граде

Прошлым летом слепой проповедник реб Мануш Мац принадлежал к миньяну стариков, который до рассвета проводил в синагоге Могильщиков молитвенную службу «Ватикин»^[1]. Реб Мануш стоял лицом на восток, туда, где всходит солнце, словно надеялся, что, если первые лучи зари упадут на его помраченные бельмами глаза, еще может случиться чудо и к нему вернется зрение. За зиму миньян распался, дети не хотели выпускать своих отцов из дома в метель. Но и когда морозы отступили, миньян не восстановился. Несколько стариков ушли за зиму в истинный мир, оставшиеся были уже не в силах переставлять отяжелевшие ноги. Но реб Манушу Мацу больше прежнего хотелось стоять до рассвета в талите и тфилин и изливать свое сердце перед Пребывающим в высотах, потому что ему было еще горше, чем раньше. Когда его племянник учился в Рамайловской ешиве, ему не приходилось напоминать, что он должен молиться. Первое время после того, как он пошел в светскую школу Генеха Бегниса, от него еще с грехом пополам можно было добиться, чтобы он утром открыл сидур. Но последнее время, сколько ни старайся, от него этого не добьешься. «Я могу уходить до рассвета, я больше не должен следить за Сендеркой», – плакался слепой старик перед своим посохом, который был его единственным поводырем с тех пор, как его перестал водить племянник.



Столяр в последнее время тоже ходил как пришибленный. Еще до того, как вернулся Герц Городец, ширвинтский меламед реб Тевеле Агрес умер, помешанный раввин из Венгрии как в воду канул, даже бедняки, собиравшиеся вокруг печки, расползлись с уходом холодов. Теперь они собираются на ступеньках синагоги Могильщиков или в чайной, где люди пьют чай и вообще веселее. Единственный, кто связан с Немым миньяном на веки вечные, – вержбеловский аскет. Он, этот недоумок, все больше сходит с ума и целыми днями разговаривает с самим собой, размахивая при этом руками.

От злости и печали Эльюкум Пап отпустил длинную мрачную бороду. Матле очень не понравилось, что ее муж добавляет себе лет. Ему едва за сорок, а в его черной бороде уже немало седины. Эльюкум посмотрел в зеркальце жены и удивился: «Надо же! А я даже не знал, что я уже такой старый еврей». Он стал еще набожнее и в пятницу вечером всегда внимательно следил, чтобы Матля не запоздала с зажиганием свечей. Он все меньше занимался резьбой и все больше раскачивался в молитве. Но веселее от этого ему не становилось.

– Не годится, ребе, не годится, – жаловался он слепому проповеднику. – Я боюсь сказать, что Немой миньян понемногу снова становится немым и пустым.

– Если мы сделаем миньян для предрасветной службы «Ватикин», снова будет годиться, – ответил реб Мануш столяру и рассказал ему, что истинное наслаждение от молитвы ощущают, когда молятся с первыми лучами солнца. После такой утренней

службы действительно чувствуешь, что печальные мысли унеслись, как облака, тело радуется, в мозгу становится светлее, а на сердце легче. Молитва – это язык души, и когда душа принимается говорить, возвышается человек как на земле, так и в горних мирах. И еще одно сказал реб Мануш Мац:

– Судя по тому, что говорят, может снова начаться война. С этим, да сотрется его имя. И тогда нельзя будет выходить из дома, а то нарвешься на шальную пулю, как не раз случалось два десятка лет назад, когда в Вильне все время менялась власть: вчера немец, сегодня литовец, назавтра большевики, а послезавтра поляки. Поэтому пока еще можно, надо собрать миньян и проводить службу «Ватикин».

Частые разговоры о том, что может начаться война, примирили соседей со двора Песелеса и Немой миньян. Ладно, сдались завсегдатаи молельни, пусть уж перестроят их пристанище на квартирки для молодых пар, лишь бы кровь не лилась. Жильцы, в свою очередь, начали приходить в Немой миньян на утреннюю молитву, и между предвечерней и вечерней молитвами они тоже толклись у стола, за которым слепой проповедник вел урок по книге «Эйн Яаков»^[2] вместо умершего ширвинтского меламеда. Хиромант и стекольщик Борух-Лейб слово за словом читал сложный арамейский текст, а слепой ребе толковал слова и разъяснял смысл сказанного. Хотя жильцы знали, как часто плачет проповедник с тех пор, как его племянник ушел в светскую школу, они слышали во время занятий вокруг стола много утешительных слов о том, что мы живем в мессианские времена, а каждую злую весть реб Мануш истолковывал к лучшему. Евреи сидели над святыми книгами, словно околдованные утешениями проповедника, и не хотели, чтобы урок кончался. Повсюду в Немом миньяне царил темнота, и только над слепым проповедником и его слушателями светила электрическая лампочка, спускавшаяся с потолка, как огненный серафим с неба.

А когда жильцы слышали от аскетов о новой компании «шомрим ле-бокер»^[3], они пообещали тоже приходить на предрассветную службу. Жильцы со двора Песелеса говорили, что им это даже выгодно. Потом у них будет целый свободный день до предвечерней и вечерней службы. Но Эльокум Пап знал по себе, что соседи стыдятся сказать всю правду. Прав слепой ребе. Он говорит, что у евреев тяжело сейчас на душе и они хотят излить сердце перед Всевышним с самого утра.

Изо дня в день в переулках слышали о новых преследованиях евреев. Над участниками предрассветной службы висел страх дурных вестей вчерашнего дня, страх перед сегодняшним днем и перед завтрашним. Евреи возносили молитву с разбитыми сердцами, склонялись до земли при слове «Благословляйте», вздыхали, произнося «Слушай, Израиль», и стояли окаменев во время тихой молитвы восемнадцати благословений. Лишь солнечные лучи знать ничего не знали и явно не желали ни о чем знать. Они шаловливо прыгали по лицам молящихся и зажигались солнечными зайчиками на седых мрачных бородах. Укутавшись с головой в поношенные талиты, молящиеся выглядели как настоящие ламедвовники^[4], выбравшиеся из своих укрытий, чтобы спасти погрязший в грехах мир от гибели. Слепой кантор, стоявший у бимы, своим сладким протяжным напевом связывал молящихся друг с другом на целый день. Эти ремесленники и лавочники сразу же после утренней молитвы поспешно расходились каждый к своим делам. Но их спины становились еще согбеннее, они говорили тише, а их глаза сияли тайной предрассветного молитвенного братства.

С каждым днем небо поднималось все выше и становилось все голубей. С крыш сходил снег, в окнах искрились отражения намокших сосулек, пока они не таяли окончательно. Детские голоса весело звенели в переулках и на задних дворах. Малышня

плясала вокруг ручейков, струившихся между камнями мостовой. Уличные торговки сняли валенки и зимние шерстяные шали. Лавочники шире распахнули узкие двери своих лавчонок, жители двора Песелеса сняли двойные оконные рамы. Влажный ветерок трепал волосы девушек, путал шевелюры парней, молодые женщины в ботах брели по грязному снегу, но их улыбающиеся лица уже грелись в солнечном свете. Первый день месяца нисан в том году накануне войны совпал с первым днем весны и по нееврейскому календарю.

Но в тот вторник вечером, когда инвалид Герц Городец пошел спать к столяру, двор Песелеса охватил ужас, словно после большого заката из червонного золота наутро взошло черное, полуночное солнце. По радио и в вечерних газетах сообщили, что немец собирается отнять у литовцев Клайпеду, что у моря, – город, который когда-то назывался Мемелем и принадлежал Германии.

Каждый день писали о новых преследованиях евреев в странах, захваченных немцем. Но в переулках утешали себя: Австрию и Судеты в Чехословакии он действительно забрал, потому что там живут немцы. И конечно, ему хочется забрать этот город у моря, который раньше был немецким, а теперь принадлежит Польше. Но из-за этого же до войны дело не дойдет. Хотя он не перестает гавкать: «Данциг! Данциг!», он очень хорошо знает, этот пес, что, если он начнет войну с Польшей, против него выступят Франция и Англия. Однако весть о том, что он забирает у литовцев Мемель, отрезвила всех от самовнушения, что он оставит полякам Данциг. Разница только в том, что литовцы отдадут Клайпеду как миленькие, без шума, а поляки Гданьска не уступят. Жители двора Песелеса целый вечер ходили с одного крыльца на другое и шептались друг другу: «Так что же будет?» И им отвечали не уста, а смертельный страх в глазах: «Война будет».

Из дома чулочницы донесся плач. Элька рыдала там так, словно ее муж отправлялся на фронт уже завтра утром. «Умолкни!» – прорычал Ойзерл Бас и вышел из квартиры, хлопнув дверью. Он бросил на кучку соседей, собравшихся во дворе, косой взгляд, словно на банду трусов и виновников того, что жена его заранее хоронит, и отправился в шинок встретиться с дружками и залить горечь. Ентеле, дочь портного Звулуна, тоже этим вечером целовалась на ступеньках со своим Ореле, сыном щеточника Ноемки Тепера, дольше, чем обычно, словно и ее жених должен был завтра с утра отправляться на войну. Жильцы закрыли окна ставнями, вошли в свои квартирки и заперли двери изнутри, чтобы отделиться от этого мира, полного опасностей. Тесное, замкнутое пространство дома стало им еще дороже. Они погасили огонь и легли спать, укрывшись густой темнотой. Но страх и в темноте стучал им в виски, как молот по наковальне. Наконец они впали в тяжелый сон, и страх превратился в осязаемое тело с длинными босыми ногами, свисающими с потолка, как с виселицы.

К полуночи вержебеловский аскет вышел из своей комнатки, что на этаже напротив женской молельни, и хотел, как всегда, зайти к предсказателю Боруху-Лейбу. На этот раз аскет совсем не собирался давить на предсказателя до тех пор, пока тот не начнет предсказывать по линиям на руке, возьмет ли его проклятая жена у него разводное письмо и выйдет ли за него замуж Хана-Этл. На этот раз он хотел переговорить с предсказателем по другому делу. Реб Довид-Арон всегда считал, что самым большим убийцей всех времен был Адонибезек, царь ханаанеев. Разве мелочь то, что о нем рассказывается? В Книге Судей о нем рассказывается, что он семидесяти царям отрубил большие пальцы на руках и ногах и держал этих царей под своим столом. Неужели нынешний убийца из Германии еще хуже библейского убийцы Адонибезека? Об этом он хотел сегодня переговорить с Борухом-Лейбом. Но единственное окошко квартиры предсказателя было

темным, а его дверь заперта, как врата Иерихона. Аскет реб Довид-Арон Гохгештальт некоторое время стоял во дворе, разговаривая сам с собой и размахивая руками.

– Поскольку этот Адонибезек из Берлина идет на Мемель, он пойдет и на Вильну. А как только отменят границу между Вильной и Ковной, с полчищами Адонибезека, наверное, появится и моя жена. Она наверняка придет и вырвет мне бороду и пейсы, потому что я оставил ее на долгие годы соломенной вдовой. Ну и пусть приезжает. Пришло время помириться.



Темное ночное небо над узкими переулками начало постепенно бледнеть, пока не стало по-настоящему светло и по булыжнику мостовой не застучала палка – слепой проповедник реб Мануш Мац шел молиться в Немой миньян. Каменные здания по обе стороны улицы Стекольщиков, казалось, прислушивались к тому, как проповедник стучит своей палкой, но вот он прошел весь путь и вошел во двор Песелеса, а оттуда поднялся по ступенькам Немого миньяна. На улице Стекольщиков снова стало тихо, здания, погруженные в свое каменное упорство, казалось, думали: сейчас слепой кантор молящихся до рассвета завернется в свой талит. Да будет воля Б-жья, чтобы его молитвы были услышаны – ради живущих и ради нас, дерева и камня этих старых зданий. Пусть мы не утратим своего лица и не превратимся в руины.

Из своей квартиры во дворе Песелеса вышел портной Звулун и постучал в окно своего свата, щеточника Ноемки Тепера, который просил разбудить его к молитве. Но щеточник уже ждал его одетым, и как только он вышел, портной встретил его печальным вздохом.

– Моя Ентеле лежит и плачет из-за того, что она еще не вышла замуж за вашего Ореле. Если Ореле призывают в армию, она хочет, чтобы он ушел, будучи ее мужем. Но я не понимаю смысла свадьбы как раз накануне войны, – просопел портной Звулун и закашлялся.

Но его сват согласился с детьми.

– Они действительно должны были пожениться, – сердито проворчал щеточник. – Когда знаешь, что есть о ком заботиться, обретаешь больше сил, чтобы все выдержать.

Двое евреев продолжали стоять во дворе, разговаривая о детях и ожидая, пока соберутся другие молящиеся. На пороге своей квартиры появился предсказатель Борух-Лейб, похожий на водное животное, выползающее на берег погреться на солнышке. Борух-Лейб Виткинд прошлым вечером нарочно потушил лампу и лег спать пораньше, чтобы никто к нему не заходил.

Даже те соседи, которые обычно не особенно интересовались премудростью гадания по руке, стали последнее время заходить поздно вечером к хироманту и просить его, чтобы он им погадал, будет ли война и переживут ли они эту войну. Но он не хочет сейчас заниматься предсказаниями ни за какую плату в мире! Больше всех остальных соседей докучает ему будущая теща. Днем, когда он заходит к своей невесте Нисл, ее мать молчит из страха перед дочерьми. Но поздно вечером папиросница Злата-Баша Фейгельсон приходит к нему и начинает вздыхать, что, мол, если начнется война, ее младшие дочери могут засидеться в девках. Потом она упрекает его, что он отказывается гадать по руке именно сейчас, когда все к нему рвутся, и учит зарабатывать деньги нечестным путем.

– Почему бы тебе, – говорит она, – не предсказывать каждому добро? Ведь за добрые предсказания платят больше. Ты бы сейчас мог заработать миллионы!

Так она говорит ему и берет у него деньги. Якобы займы. Когда он приходит к ней домой, она этого не делает, чтобы дочери на нее не накричали. Она заходит за деньгами, когда он у себя дома, потому что знает, что он не расскажет ее дочерям. Поэтому вчера вечером он запер дверь и лег спать, чтобы никто к нему не заходил. Но он все равно не спал. Его мучила совесть из-за того, что Злата-Баша Фейгельсон будет стоять во дворе смущенная. Думал он и о своей невесте Нисл. Как он может жениться в такое время?

В то время как Борух-Лейб стоял на пороге своей квартиры, медленно пробуждаясь от полусонных мыслей, к портному Звулуну и щеточнику Ноекке Теперу присоединился столяр Эльокум Пап. Он только что вошел во двор и услышал от соседей новость, что немец забирает у литовцев Мемель. А значит, ясно как день, что и полякам придется уступить Данциг, иначе будет война. Первой мыслью Эльокума Папа было, что Герц Городец, который спит у него, еще ни о чем не знает. Вчера вечером он только и говорил, что о лингмянском кладбище и о еврейчике со скрипочкой, но о немце и о Мемеле – ни слова. Длинный столяр покачнулся, как шест, поддерживающий натянутые веревки с бельем. У него как-то все смешалось в голове, и он сделал шаг вперед, к хироманту.

– Послушай, Борух-Лейб, я никогда тебя прежде не мучил просьбами, чтобы ты погадал мне по руке. Но теперь я прошу тебя сказать мне, доживу ли я до тех пор, когда мои девчонки вырастут, и не будет ли Немой миньян вместе с моими резными украшениями для священного ковчега разрушен?

Конечно, Борух-Лейб помнил, что столяр постоянно ему говорил: он так же верит в гадание по руке, как в христианскую церковь. Но Борух-Лейб не стремился к мести и не стал отвечать: «Ага! Вот теперь вы пришли?» Он рассказал столяру правду, что сейчас он не занимается гаданием по руке, потому что есть такое время, когда нельзя гадать, точно так же, как нельзя обрезать новорожденных мальчиков, если они больны.

– Ты лжешь, – пробурчал Эльокум Пап.

– Как истинна Тора, – поклялся предсказатель и пояснил столяру притчей: линии и бугры на ладони подобны изгибам реки, которая течет и течет, и человек плывет по течению вдоль берега реки. Но иногда случается, что поток неожиданно исчезает в зарослях кустов между двух узких берегов или уходит в подземные пещеры, где ни один из сынов Адама не может следовать за ним. То же самое происходит с линиями на ладонях и на лицах людей из-за великих потрясений, происходящих в мире. Именно поэтому, подвел итог Борух-Лейб, он больше не хочет заниматься хиромантией, пока не наступят лучшие времена.

– Если ты не будешь заниматься гаданием, на что же ты будешь жить? – недоверчиво спросил столяр. – Правда, ты стекольщик. Но во время войны не вставляют оконных стекол, потому что падают бомбы и окна снова лопаются. К тому же ты собираешься жениться на дочери папиросницы, и тебе придется зарабатывать вдвое больше. Поэтому я тебе не верю, что ты больше не будешь гадать по руке.

Борух-Лейб снова поклялся Торой, что он говорит правду. Жениться на Нисл он должен только в начале лета, после годовщины смерти ее отца. Так он предложил, и так было оговорено. При этом он имел в виду, что если Нисл раскается по поводу этого сватовства, то пусть у нее будет возможность расторгнуть помолвку. Так что до свадьбы Всевышний еще может помочь, чтобы дело вообще не дошло до войны и чтобы эта суматоха предчувствия войны тоже улеглась. Но если дело все-таки дойдет до того, чего все боятся, то его доходов от работы стекольщиком хватит и ему, и Нисл в любое время. Только бы ему не пришлось содержать в придачу еще и тещу с двумя ее младшими дочерьми. Так бормочет обеспокоенно старый холостяк, подходит к столяру ближе и доверяет ему свою тайну:

– Я еще не женился, а меня уже называют по имени тещи: Борух-Лейб Злата-Башин – так меня называют уже.

– А если бы ее называли Злата-Баша Борух-Лейбова, тебе было бы легче? Тогда бы все думали, что эта папиросница твоя жена или что ты ее отец, – мрачно ответил столяр без малейшего намека в лице на издевку.

Во дворе появился рыночный торговец Ойзерл Бас. Выпив с друзьями в шинке, он не вернулся домой, а завалился полупьяный на остаток ночи к любовнице. Но точно так же, как вечером жена, тощая как доска, сводила его с ума разговорами о войне, теперь его любовница, упитанная красотка с огромными глазами, устроила ему истерику по поводу того, что он не разводится с Элькой, с этой крикливой чулочницей, и не женится на ней. Ойзерл знал, что теперь ему еще придется выслушать от жены крики, почему это он пропал на целую ночь. Но он притворился, что ему хорошо на душе, и вошел во двор бодрый, развязный, со здоровым покрасневшимся лицом и насмешливыми глазами. Увидев там группу евреев, Ойзерл подошел к этому дылде-столяру и по-свойски похлопал его по плечу:

– И ты, недотепа, тоже боишься немцев? В те годы, когда Фонька[5] ушел, а Йеке[6] вошел, дела шли хорошо. У кого котелок хорошо варил, тот на немца не жаловался.

Евреи были удивлены и даже напуганы залихватскими речами рыночного торговца.

– Кто как, – вздохнул портной Звулун, – с одной стороны, контрабандисты действительно хорошо зарабатывали, но, с другой стороны, честные люди на улицах падали от голода сотнями и тысячами.

Сват портного, щеточник Ноекка Тепер хотел было прикрикнуть на Ойзерла Баса, чтобы он валил отсюда, но поди свяжись с таким уголовником и карманником! Он ответил сдержанно:

– Чтоб у этих немцев кайзеровских времен был такой добрый год, какими добрыми были они сами. Но ведь нынешний Аман из Берлина сам говорит, что он всех евреев... Я вообще этого не хочу произносить! Так что ты болтаешь о том, чтобы вести с немцами дела?

Пока другие разговаривали, столяр слушал и молчал, повернувшись к ним спиной. Его не волновало, что Ойзерл Бас хлопает его по-свойски по плечу. Он, со своей стороны, еще не помирился с этим уголовником, с тех пор как летним вечером между ними дело чуть не дошло до драки во дворе и со времен их ссоры в Немом миньяне на Судный день. Только когда все уже сказали свое, Эльокум Пап медленно повернулся к Ойзерлу Басу и еще медленнее проговорил без малейшего намека на страх:

– До сих пор я знал, что ты бельмо в глазу, вор, а теперь я вижу, что ты еще и осел. – И столяр отвернулся от него, как от мерзкого паука: – Пойдемте молиться, евреи.

– А что я такого сказал? Я ничего не сказал.

Растерянный Ойзерл Бас сделал вид, что рассмеялся, но ему было уже не с кем разговаривать: евреи поднялись по ступеням в Немой миньян, а он остался стоять во дворе, низенький, плотный, похожий на зажавшегося кота. Ему так же хотелось идти к себе домой, чтобы Элька снова развела свое нытье, как ему хотелось ходить на голове.

Большой пустой молитвенный зал этим утром наводил на миньян молящихся ужас. Они жались поближе к слепому кантору, стоящему у бимы, и реб Мануш Мац пел молитвенные песнопения со сладкой печалью и так растянул их, что у лесоторговца Рахмиэла Севека хватило времени и помолиться, и подумать: конец компаньонству с сыном в делах и конец совместному проживанию! Когда у сына была жена-христианка, он, отец и свекор, жил в одном доме с этой парочкой. Но с тех пор как Хаця развелся с Хеленкой и женился на своей первой невесте, еврейке, между ним и молодой парой отношения ухудшались с каждым днем, пока он не пришел к выводу, что ему надо убираться, невестка считает его за врага. «Эта пани Хеленка вам всегда нравилась больше, чем я, вы ее до сих пор любите», – говорит ему невестка, а сын еще и добавляет: «У тебя здоровье ухудшается, когда ты видишь меня веселым и смеющимся». И действительно, как можно в такое судьбоносное время все начинать заново, смеяться и веселиться? Так что лучше для обеих сторон, чтобы он отделился от сына и невестки и нашел уголок для себя самого. Вот ведь и аскеты тоже привыкли жить в одиночку.



Как раз в этом Рахмиэл Севек ошибался. Аскеты не привыкли к своему одиночеству, даже старожил Немого миньяна, вержбеловский аскет. В пожелтевшем ветхом талите, в потертых тфилин, реб Довид-Арон Гохгешталт выглядел в это утро еще более убогим. Его борода висела, как клубок серой паутины, и он сам не замечал, что его губы шепчут во время молитвы: «Ну и пусть она приезжает, мы помиримся, чтобы уж кончилось все это дело с войной!» При этом его заспанные глаза смотрели с завистью на бывшего раголевского раввина, и в мозгу вержбеловского аскета что-то стучало и щелкало, как дятел, достающий червей из-под коры дерева. Ему хорошо, этому реб Гилелю Березинкеру, ему очень хорошо. Он не боялся раголевских обывателей и войны не боится. Он человек, сделанный из железа. Он и сейчас стоит и молится с тем же разбойничьим спокойствием, с каким он стоит у своего пюпитра и учит Тору. Но у зависти глаза велики, поэтому вержбеловский аскет не понял, что спокойствие реб Гилеля Березинкера показное. На самом же деле он стоял окаменевший и страдающий. Местечко Раголе задолжало ему все полученное им приданое, которое он внес в общественную кассу на нужды местечка, когда стал там раввином. Потом, когда возник этот конфликт, он не хотел уезжать из Раголе, пока ему не вернут приданого. Но его раввинша плакала, что она не может больше выносить этих скандалов. Пусть он уезжает. Она уж сама будет требовать. А теперь местечковые обитатели не пойдут даже на суд Торы. Сейчас канун войны, кого волнует раввин и его приданое? В такое время, когда члены семей держатся друг друга, он где-то в одном месте, а его жена с детьми в другом, потому что у него нет средств, чтобы привезти их из местечка в Вильну.

Слепой проповедник у бимы все еще молился сладко, печально и тихо, словно старался не разбудить тех обитателей двора, которые еще спали. Он жаловался Пребывающему в высотах: за что Он послал ему такое наказание, чтобы он, слепой, каждый день следил за тем, как Сендерка не молится и ест, не омыв рук? Но сейчас время беды для Якова, и из нее будет он спасен^[7], сейчас плохо всем евреям, но вместе со всеми евреями он тоже получит помощь и его племянник изменится к лучшему. Когда Сендерка увидит, что он делает что хочет, но дядя все равно не выгоняет его из дому, у него отпадет охота упрямо делать все назло, а к возрасту бар мицвы он еще, может быть, будет надевать тфилин. Проповедник устремил свои незрячие глаза к восходящему солнцу, уже залившему золотом своего сияния жестяные, покрытые ржавчиной водосточные трубы и карнизы крыш над домами улицы Стекольщиков. С приближением молитвы «Шма Израэль»^[8] евреи все теснее сбивались в кучку вокруг кантора, словно каждый боялся остаться наедине со своими мыслями, и слепец реб Мануш Мац со все

большим пылом и жалобой читал слова молитвы: «Любовью великой возлюбил Ты нас...» Его голос, его устремленные к солнцу невидящие глаза, его распростертые руки упрекали Бога Жалостливого и Милосердного: вот так Ты нас любишь? Если с нами, не дай Бог, что-то случится, некому будет возносить Тебе хвалы с первыми лучами солнца, и это светило, солнце спасения и исцеление в крыльях его^[9], взойдет в пустом небе над землей без евреев.

Перевод с идиша Велла Чернина

В серии «Проза еврейской жизни» издательство «Книжники» в ближайшее время готовит к выпуску первое русское издание «Немого миньяна» Хаима Граде.

^[1] Ранняя утренняя молитва, совершаемая наиболее набожными евреями. Согласно Вавилонскому Талмуду, служба «Ватикин» должна заканчиваться с первыми лучами солнца.

^[2] Буквально – «Источник Яакова». Сочинение, основанное на агадической (повествовательной) части Талмуда. Написано в первой половине XV века выдающимся сефардским раввином Яаковом бен-Хавивом и его сыном Леви бен-Хавивом. Пользовалось огромной популярностью в качестве нравоучительного чтения среди простых евреев.

^[3] Стражи, ждущие утра. Теилим (Псалмы), 130:6.

^[4] 36 скрытых праведников, на которых держится мир.

^[5] Презрительное наименование русских.

^[6] Презрительное наименование немцев.

^[7] Ирмеяу, 30:7.

^[8] «Слушай, Израиль» – основной символ веры иудаизма, произносимый трижды в день – во время утренней и вечерней служб, а также перед отходом ко сну.

^[9] Малахи, 3:20.

РОЗА

Синтия Озик

Роза Люблин, сумасшедшая и старьевщица, бросила свой магазин – разгромила собственными руками – и переехала в Майами. Совершенное безумие. Во Флориде она стала иждивенкой. Племянница из Нью-Йорка присылала ей деньги, и она жила среди стариков в мрачной дыре, в одноместном номере «отеля». С настольным холодильником и плитой с одной горелкой. В углу громоздился на массивном подножии круглый дубовый стол, но за ним она только пила чай. Ела же она то в кровати, то стоя у раковины: бутерброд со сметаной и половинкой сардинки или консервированный горошек, разогретый в жаростойкой кружке. Никаких горничных – только скрипучий кухонный лифт. По вторникам и пятницам он заглывал ее жалкий мусор. Трос лифта черным месивом облепляли уже вялые мухи. Ее постельное белье было таким же черным – прачечная самообслуживания была в пяти кварталах. Улицы – как печи, солнце – палач. Оно лупило и лупило изо дня в день, поэтому она сидела у себя в номере, подкреплялась в кровати кусочком-другим крутого яйца, пристраивала на коленях доску для письма – с недавних пор она стала сочинять письма.



Она писала иногда по-польски, иногда по-английски – племянница забыла польский: в основном Роза писала Стелле по-английски. Английский у нее был топорный. Своей дочери Магде она писала на изысканном литературном польском. Писала она на хрустких пожелтевших листах, которые непонятно каким образом оказывались в квадратных отсеках старого обшарпанного бюро в холле. Или просила у кубинки за стойкой чистые бланки счетов. Порой находила в мусорной корзине в холле конверты: она аккуратно расклеивала их, разглаживала – получался отличный белый квадрат, чистое поле для очередного письма.

Письмами была завалена вся комната. Посылать их было непросто: почта находилась на квартал дальше прачечной, а на автомате для марок в холле отеля уже много лет висела табличка «Не работает». Со вчерашнего дня у раковины стояла початая овальная банка сардин. От нее уже шел тошнотворный запах. Не иначе как она в аду – такое у нее было чувство. «Золотая, прекрасная Стелла, – писала она племяннице, – где я оказалась, так это в аду. Когда-то я думала, хуже того худшего быть не может. Но теперь

знаю: и за худшим есть еще хуже». Или писала: «Стелла, ангел мой, дорогая моя, дьявол забирается в тебя и опутывает твою душу, а ты и не знаешь».

Магде она писала: «Ты превратилась в львицу. Рыжая, ты расправляешь свои могучие лохматые лапы. Кто похитит тебя, похитит собственную смерть».

Глаза у Стеллы были девчоночьи, кукольные. Круглые, небольшие, но красивые, под ними кожа прозрачная, над ними светлая, чистая, нежные брови радугой, ресницы словно гладью вышитые. У нее было личико юной невесты. Не поверишь, глядя на всю эту красоту: на эти кукольные глазки, девичьи губки, детские щечки – не поверишь, что кровопийца может иметь столь безобидный вид.

Иногда Розе снились про Стеллу каннибальские сны: она варила ее язык, уши, правую руку – такую жирную, пальцы пухлые, каждый ноготок ухоженный, розовый, и колец столько – не современных, а старомодных, из лавки старьевщика. Стелле в Розиной лавке нравилось все – все ношенное, старое, с патиной истории других людей. Чтобы умиротворить Стеллу, Роза называла ее дорогой, чудесной, прекрасной, называла ангелом; называла так, чтобы все было мирно, но на самом деле Роза была холодна. У нее не было сердца. Стелла, уже почти пятидесятилетняя, Ангел Смерти.

Кровать была черна, черна, как Стеллино нутро. Когда грязь стала такая, что дальше некуда, она погрузила тюк с бельем на тележку и отправилась в прачечную. Было всего десять утра, но солнце жарило убийственно. Флорида, ну почему Флорида? Потому что здесь ото всех, как и от нее, остались одни оболочки, высушенные солнцем. И все равно она ничего с ними общего не имела. Старые призраки, старые социалисты – идеалисты. Их заботило одно – род человеческий. Рабочие на пенсии, они ходили на лекции, просиживали в сырой и темной библиотеке. Она видела, как они разгуливают с Толстым под мышкой, с Достоевским. Знали толк в тканях. Что ни надень, они пощупают и скажут: фэй, плис, твид, чесуча, джерси, драп, велюр, креп. Она слышала их разговоры про крой по косой, корсажную ленту, усадку и отрезы. Желтый они называли горчичным. Что для всех было красным, они именовали «пунцовым», оранжевый – палевым, голубой – перваншем. Они были из Бронкса, из Бруклина – отживших, выдохшихся мест. Кое-кто был и с Вест-Энд-авеню. Однажды она встретила бывшего владельца зеленой лавки с Колумбус-авеню; лавка его была на Колумбус-авеню, а жил он неподалеку – на Западной Семидесятой, за Сентрал-парком. Даже в вечнозеленой Флориде он предавался воспоминаниям о пышных зеленых кустиках салата романо, алеющей клубнике и глянцевого авокадо.

Розе Люблин казалось, что весь полуостров Флорида живет под гнетом сожаления. Каждый оставил свою настоящую жизнь. Здесь ни у кого ничего не было. Все были пугалами, раскачивающимися под убийственным диском солнца, с опустевшими грудными клетками.

В прачечной она сидела на шаткой деревянной скамье и смотрела в круглое оконце стиральной машины. Внутри в бурю пены билось о стекло ее исподнее.

Рядом сидел нога на ногу какой-то старик с газетой в руках. Она разглядела заголовки на идише. Мужчины во Флориде были повыше качеством, чем женщины. Они чуть лучше знали жизнь, они читали газеты, их волновало, что творится в мире. Что бы ни случилось в израильском кнессете, они все отслеживали. А женщины только перечисляли блюда, которые готовили в прошлой жизни: пироги, кугель[1], латкес[2], блины, салат с селедкой. Женщины в основном заботились о своих волосах. Они отправлялись к

парикмахеру и выходили в сиянье дня с развесистыми кронами цвета циннии. С морской волны тенями на веках. Их можно было пожалеть: они с упоением пережевывали истории о своих внуках: Кэти в Брин-Море, Джефф в Принстоне[3]. Для их внуков Флорида была трущобой, для Розы – зоопарком.

У нее никого не было, кроме черствой племянницы в Нью-Йорке, в Квинсе.

– Нет, вы представьте! – сказал старик с ней рядом. – Только поглядите: сначала он имеет Гитлера, потом он имеет Сибирь – лагерь в Сибири. Оттуда попадает в Швецию, оттуда в Нью-Йорк, становится уличным торговцем. Торгует себе, но теперь у него жена, у него дети, и он открывает лавочку – всего-навсего лавочку, жена у него женщина больная, у них там так называемый магазин распродаж.

– Что? – сказала Роза.

– Магазин распродаж на Мэйн-стрит, в Вестчестере, даже не в Бронксе. Пришли рано утром, он даже пакеты для покупок вывесить не успел, а они, грабители-разбойники, его придушили, прикончили. Сибирь прошел – и вот.

Роза ничего не сказала.

– Ни в чем не повинный человек, один в своей лавочке. Радуйтесь, что вы уже не там. Впрочем, здесь тоже не рай. Можете мне поверить, когда доходит до грабителей и душителеей, чудес не бывает.

– У меня машина достирала, – сказала Роза. – Мне надо в сушку переложить. – Про газеты и их злобные писания она знала – сама в них попадала. «Женщина разгромила собственный магазин». «Роза Люблин, 59 лет, владелица магазина подержанной мебели на Утика-авеню в Бруклине, вчера днем преднамеренно уничтожила...» Заметки в «Ньюз» и «Пост». Большая фотография: Стелла стоит рядом, рот разинут, руки воздеты. В «Таймсе», шесть строчек.

– Извините, я заметил, вы говорите с акцентом.

Роза покраснела.

– Я родилась в другом месте, не здесь.

– Я тоже родился в другом месте. Вы беженка? Берлин?

– Варшава.

– Я тоже из Варшавы! Уехал в девятьсот двадцатом. Родился в девятьсот шестом.

– С днем рождения, – сказала Роза. И стала вытаскивать вещи из стиральной машины. Они переплелись как клубок змей.

– Позвольте мне, – сказал старик. Отложил газету и помог ей все вытащить. – Нет, вы представьте, – сказал он, – два человека из Варшавы встречаются в Майами, штат Флорида. В девятьсот десятом я о Майами, штат Флорида, и не мечтал.

– Моя Варшава – это не ваша Варшава, – сказала Роза.

– Главное, чтобы ваш Майами, штат Флорида, был моим Майами, штат Флорида. – Он улыбнулся двумя рядами сияющих зубов: гордился, что есть чем пококетничать. Они вместе засунули змеиное гнездо в сушку. Роза опустила два четвертака, и машина загрохотала. Они слышали, как пояс ее платья в синюю полоску, того, что порвано под мышкой, бьется о железное нутро.

– На идише читаете? – спросил мужчина.

– Нет.

– Может, хоть чуть-чуть разговариваете?

– Нет. Моя Варшава – это не ваша Варшава. – Но бабушкины колыбельные она помнила: бабушка была из Минска. Унтер рейзлс вигеле штейт а клорвайс цигеле. Как же гнушалась этими звуками Розина мать! Сушка остановилась, и мужчина сноровисто вынул вещи. Ей было стыдно, что он касается ее исподнего. «Под колыбелью Розиной козленок беленький...» Но рукав он находил, куда бы тот ни спрятался.

– Что такое? – спросил он. – Вы смущаетесь?

– Нет.

– В Майами, штат Флорида, люди более дружелюбные. Что, – сказал он, – вы все еще боитесь? Нацистов здесь нет, даже ку-клукс-клановцев нет. Что вы за человек такой, что все еще боитесь?

– Я такая, – сказала Роза, – какую видите. Тридцать девять лет назад была другой.

– Тридцать девять лет назад я и сам был хоть куда. Зубы выпали – так ни единой дырки не было, – похвастался он. – Периодонтоз.



– Я была почти что химиком. Физиком, – сказала Роза. – Думаете, я бы не стала ученым? – Эти воры украли ее жизнь! Вмиг пейзаж в ее воображении вышел из-под контроля: вспыхнуло ярким светом поле; и тот темный коридор к кладовке при

лаборатории. Во снах кладовка тоже появлялась. Она всегда мчалась по сумрачному проходу к кладовке. На полках ряды колб и микроскопов. Однажды, когда шла туда, вдруг почувствовала, как ее переполняет восторг: новые коричневые туфли, скромные, на шнурках, белый халат, короткая стрижка, челка – серьезная девушка семнадцати лет, трудолюбивая, ответственная, будущая Мария Кюри. В старших классах один из учителей хвалил ее за, как он выразился, «литературный стиль» – о, утраченный, похищенный польский! – а теперь она писала и говорила по-английски так же беспомощно, как этот старик-иммигрант. Из Варшавы! Родился в девятьсот шестом! Она представила, как этот древний убогий переулочек, заставленный лотками и вешалками с дешевой одеждой, поет на жаргонном идише. Ее все равно называли беженкой. Американцы были не в силах отличить ее от этого типа с фальшивыми зубами, с отвислыми подбородками, с залихватским рыжим париком, купленным Б-г знает где – на Деланси-стрит, в Нижнем Ист-Сайде. Пижон... Варшава! Да что он понимает? В школе она читала Тувима – такая тонкость, такая возвышенность, так по-польски. Варшава ее девичества – светоч, она включала ее, хотела держать перед внутренним взором. Изгиб ножек у маминого бюро. Строгий кожаный запах папиного письменного стола. Белый кафель кухонного пола, пыхтят огромные кастрюли, узкая винтовая лестница на чердак... в доме ее девичества тысяча книг. На польском, немецком, французском; отцовские книги на латыни, полка со скромными литературными журналами, где иногда печатались стихи матери – короткими, как тревожные телеграммы, строками. Культура, цивилизация, красота, история! Чудесные извивы улиц, почтенные формы особняков, благородно состарившиеся крыши, неожиданные силуэты воздушных башенок, шпили, сияние, старина! А сады? Кто говорит о Париже, тот не видел Варшавы. Ее отец, как и мать, идишь только передразнивал, в нем не осталось ни частички гетто, ни грана гнили. Кто жаждет аристократической изысканности, пусть включит великий светоч Варшавы.

– Как вас зовут? – спросил ее собеседник.

– Люблин Роза.

– Приятно познакомиться, – сказал он. – Только почему в обратном порядке? Я что, анкета? Что ж, хорошо. Вы подаете, я принимаю. – Он перехватил у нее тележку. – Где бы вы ни жили, я все равно как раз туда иду.

– Вы забыли забрать свое белье, – сказала Роза.

– Я постирал его позавчера.

– Тогда зачем вы сюда пришли?

– Обожаю природу. Люблю шум водопада. Люблю посидеть и почитать газету в прохладе.

– Рассказывайте! – фыркнула Роза.

– Ну хорошо, я хожу сюда общаться с дамами. Скажите, вы любите концерты?

– Я люблю свою комнату, больше ничего.

– Дама желает быть отшельницей!

- У меня свои невзгоды, – сказала Роза.
- Так поделитесь ими со мной.

По улице она брела за ним молча – послушно, как телок. Туфли старые – надо было надеть те, другие. Солнцепек обволакивал – словно тек расплавленным медом на макушку, одна капля – хорошо, а в потоке тонешь. Она была рада, что хоть тележку кто-то катит.

– У вас предубеждение против незнакомцев – не хотите с ними разговаривать. Если я называю свое имя, я уже больше не незнакомец. Я Саймон Перски. Тройродный брат Шимона Переса[4], израильского политика. У меня много разных знаменитых родственников, семье есть чем гордиться. Вы слыхали про Бетти Бэколл[5], кинозвезду, на которой женился Хамфри Богарт, – она ведь еврейская девушка? Она тоже моя дальняя родственница. Я мог бы рассказать вам историю всей моей жизни, начиная с Варшавы. Вообще-то, я родился не в Варшаве, а в городишке в нескольких километрах от нее. В Варшаве у меня были дядя.

- Ваша Варшава – не моя Варшава, – повторила Роза.

Он остановил тележку.

– Это что такое? Песня из одного припева? Думаете, я не понимаю про разницу между поколениями? Мне семьдесят один, а вы, вы просто девчонка.

– Пятьдесят восемь. – Хотя в газетах, где рассказывали, как она разгромила свою лавку, написали пятьдесят девять. А все Стелла, ее вина, ее злая воля, арифметика Ангела Смерти.

- Вот видите! Я же говорил – девчонка!

– Я из образованной семьи.

– Ваш английский ничуть не лучше, чем у других беженцев.

– С чего мне учить английский? Я его не выбирала и никакого отношения к нему не имею.

– Нельзя жить прошлым, – наставительно сообщил он. Снова заскрипели колеса тележки. Роза шла как телок. Подошли к кафе самообслуживания. Оттуда разносились, точно их насосом выкачивали, запахи баклажанов, жареной картошки, грибов. Роза прочитала вывеску:

Кошерная комея Коллинза

На тарелке – как на картинке

Вспомнишь о Нью-Йорке и о чудной маминной стряпне;

Восхитительные яства: амброзия и ностальгия

Работает кондиционер



– Я знаком с хозяином, – сказал Перски. – Заядлый книгочей. Чаю хотите?

– Чаю?

– Только не со льдом. Чем горячей, тем лучше. Закон физиологии. Зайдите, остудитесь. У вас лицо пылает, честное слово.

Роза посмотрелась в витрину. Пряди волос, выбившиеся из пучка, свисали до плеч. В витрине отражалась старая потрепанная птица с обвисшими перьями. Тощая – аист. На платье не хватало пуговицы, но, может, этот срам прикрывала пряжка ремня. Да плевать. Вспомнила про свою комнату, кровать, радио. Разговоров она терпеть не могла.

– Мне пора, – сказала она.

– У вас встреча?

– Нет.

– Тогда пусть у вас будет встреча с Перски. Идемте, сначала чаю выпьем. Если возьмете со льдом, совершите ошибку.

Они вошли, выбрали крохотный столик в углу – липкий круг на шаткой пластиковой ножке.

– Садитесь, я принесу, – сказал Перски.

Она, задыхаясь, села. Кругом позвякивали ножи с вилками. Одно старичье собралось. Словно в столовой санатория. У каждого палка, спина колесом, акриловые зубы, туфли специально для подагрических ног. В вырезах и распахнутых воротах крапчатая кожа, устрашающие ключицы, морщины над сникшими грудями. Кондиционер работал слишком рьяно; она чувствовала, как прохладный пот струится вниз, от шеи, по позвоночнику, к копчику. Она боялась пошевелиться; у стула была плетеная спинка и черное пластиковое сиденье. Хоть одно движение, и поползет старушечий запах – мочи, соленого пота, усталости. Одышка прошла, теперь била дрожь. Да плевать мне. Я ко всему привыкла. Флорида, Нью-Йорк – какая разница? Но все-таки вытащила две шпильки, подхватила выбившиеся пряди, засунула их в седой пучок и пригвоздила. У нее не было ни зеркала, ни расчески, ни сумочки, даже носового платка не было. Только бумажный – за рукавом, – и несколько монет в кармане платья.

– Я просто в прачечную вышла, – сказала она, когда Перски, охнув, поставил на стол груженный поднос: две чашки чаю, блюдечко с порезанным лимоном, салат с баклажанами, хлеб на вроде бы деревянном, а на самом деле пластиковом блюде, еще одно пластиковое блюдечко со слоеными пирожками. – Наверное, не хватит денег расплатиться.

– Не беспокойтесь, вы пришли с богатым, отошедшим от дел налогоплательщиком. Я человек состоятельный. Когда я получаю социальное пособие, это для меня тьфу.

– А чем вы занимались?

– Да тем, что, гляжу, вы потеряли. Я про ту, на поясе. Пуговицами занимался. Обидно. Такую трудно подобрать: что до меня, так мы их уже лет десять не выпускаем. Плетеные пуговицы вышли из моды.

– Пуговицами? – сказала Роза.

– Пуговицами, пряжками, булавками, прочей галантереей. Фабрика была. Я думал, дело продолжит сын, но он не того хотел. Он философ, вот и стал лодырем. Избыток образования делает из людей дураков. Больно об этом говорить, но из-за него я вынужден был все продать. А девочки – что старшей хотелось, то и младшей. Старшая нашла юриста, ну и младшая туда же. У одного из моих зятьев свой бизнес – налогами занимается, а второй, молодой, все еще на Уолл-стрит.

– Милая семейка, – буркнула Роза.

– В лодыре милого мало. Вы пейте, пока горячий. Иначе обмен веществ не пойдет. Любите баклажаны с хлебом с маслом? Не беспокойтесь, фигура вам позволяет. Скажите, вы одна живете?

– Сама по себе, – сказала Роза и опустила язык в чай. Стало горячо до слез.

– Моему сыну за тридцать, я все еще ему помогаю.

– Моей племяннице сорок девять, не замужем, помогает мне.

– Старовата. А то я бы сказал: давайте-ка мой сын на ней женится, пусть она и ему помогает. Ничего нет лучше независимости. Если силы позволяют, работа – это счастье. – Перски погладил себя по груди. – У меня сердце больное.

Роза тихо сказала:

– У меня было свое дело, я его разрушила.

– Обанкротились?

– Часть – большим молотком, – сказала она раздумчиво, – часть железной шутовкиной, которую подобрала в сточной канаве.

– Вы сильной не выглядите. Кожа да кости.

– Вы мне не верите? В газетах писали – топором, но где мне взять топор?

– Разумно. Где вам взять топор? – Перски пальцем выковырял что-то из-под нижней челюсти. Рассмотрел – оказалось зернышко баклажана. На полу около тележки валялась какая-то белая тряпка. Платок. Он подобрал его, сунул в карман брюк. И спросил: – А что было за дело?

– Всякое старье. Мебель. Барахло. Я собрала много старых зеркал. Расколотила все, что там было. Ну вот, – сказала она, – теперь вы жалеете, что со мной связались.



– Ни о чем я не жалею, – ответил Перски. – Если я в чем и понимаю, так это в психических срывах. Всю жизнь мне их жена устраивала.

– Вы не вдовец?

– В некотором смысле.

– Где она?

– В Грейт-Нек, на Лонг-Айленде. Частная клиника, и стоит далеко не гроши.

– Он сказал: – У нее психическое заболевание.

– Серьезное?

– Раньше болела время от времени, теперь постоянно. Она принимает себя за других. Телезвезд, киноактрис. По-разному. В последнее время – моя родственница, Бетти Бэколл. Втемяшила себе в голову.

– Печально, – сказала Роза.

– Видите? Я на вас все вывалил, теперь вы на меня вываливайте.

– Что бы я ни сказала, вы меня не услышите.

– С чего это вы разрушили свое дело?

– Это была лавка. Мне не нравились те, кто туда ходил.

– Латины? Цветные?

– Какое мне дело, откуда они? Кто бы ни заходил, все были как глухие. Что им ни объясняй, они не понимали. – Роза встала, взялась за тележку. – Спасибо, что угостили меня пирожком, мистер Перски. Очень вкусно. А теперь мне пора.

– Я вас провожу.

– Нет-нет, иногда человеку надо побыть одному.

– Если долго бываешь один, – сказал Перски, – начинаешь слишком много думать.

– Когда жизни нет, – ответила Роза, – человек живет там, где придется. Если ничего кроме мыслей не осталось, значит, в них.

– У вас нет жизни?

– Воры ее забрали.

Она ушла, с трудом волоча ноги. Ручка тележки была как раскаленный прут. Шляпку, шляпку надо было надеть! Шпильки в пучке обжигали кожу. Дышала она тяжело – как собака на солнцепеке. Даже деревья выглядели изможденными: каждый листок клонился книзу под слоем пыли. Лето без конца – что за наказание!

В вестибюле она ждала лифта. «Постояльцы» – некоторые обитали тут лет десять с гаком – уже слонялись одетые к обеду, старухи в летних платьях, обнажавших заплывшие ключицы и синеватые впадины шей над ними. Сзади шеи обросли шматами жира. Все были без чулок. С оплывшими икрами в мраморном узоре синюшных вен; в своих мечтах они снова были молодыми, со стройными белыми ногами бессмертных, ядреных богинь; только вот позабыли, что ничто не вечно. На их лицах тоже было видно все, чего они сами в себе не замечали: их нарисованные рты сияли алым блеском не в попытке вернуть юность. А в желании продлить ее. Семидесятилетние кокетки. Для них все осталось прежним: намерения, действия, даже надежды – они никуда не продвинулись. Они верили в счастливое продолжение жизни тела. Мужчины были больше погружены в себя: прокручивали перед внутренним взором свою жизнь – кино для них одних.

В воздухе висел липкий запах одеколona. Роза слышала, как рвутся конверты, трепещут крыльями листы бумаги. Письма от детей – постояльцы смеялись и плакали, но не всерьез, ничего не принимая близко к сердцу. Отметки в табели, расставания, разводы, новый журнальный столик к золоченому зеркалу над пианино, Стьюи в шестнадцать учится водить, у свекрови Милли второй удар, истории про катаракты полузабытых знакомых, почка у племянницы, язва у ребе, у дочери несварение, кража, озадачивающие рассказы про вечеринки в Ист-Хэмптоне, психоанализ... Дети были богатые, как такое получается, при бедных-то родителях? Все было и настоящим, и ненастоящим. Тени на стене – тени шевелятся, но сквозь стену не пройти. Постояльцы были от всего отъединены – они сами себя отъединили. Мало-помалу забывали своих внуков, своих стареющих детей. Все больше и больше становились важны сами себе. В вестибюле каждая стена – зеркало. Каждое зеркало висит тридцать лет. Каждая столешница – зеркало. В этих

зеркалах постояльцы казались себе прежними, сильными тридцатилетними женщинами, целеустремленными тридцатипятилетними мужчинами, матерями и отцами трудноразличимых детей, которые давно мигрировали на другие континенты, к недоступным пейзажам, в непонятную речь. Роза набралась храбрости; решетка лифта открылась, но она отпустила пустую кабинку вверх без себя, покатила тележку по вестибюлю, где сидела чернокожая кубинка – портье, перекатывала двумя пальцами глинистые шарики пота по ложбинке между грудями.

- Почта для Люблин Розы, – сказала Роза.
- Люблин, вам сегодня повезло. Два письма.
- Проверьте еще отделение для посылок.
- Вы – везунчик, Люблин, – сказала кубинка и кинула посылку на кипу белья.

Роза знала, что там. Она попросила Стеллу это послать; то, о чем просила Роза, Стелла делала без особой радости. Она сразу заметила, что отправление не заказное. Это ее разозлило: Стелла, Ангел Смерти! Она выхватила посылку из тележки, сорвала обертку, запихнула ее в напольную пепельницу. Шаль Магды! А если, оборони Г-сподь, она бы потерялась при пересылке, тогда что? Она прижала коробку к груди. Посылка была жесткая, тяжелая; Стелла – где ее жалость? – во что-то ее втиснула; Стелла обратила ее в камень. Ей хотелось расцеловать содержимое, но кругом сновали люди, теснили к столовой. Еда была однообразная, скудная и часто несвежая; к тому же за нее брали дополнительную плату. Стелла все время писала, что она не миллионерша; Роза в столовой никогда не ела. Она крепко прижимала к себе посылку и пробиралась сквозь толпу – унылая птица на корявых лапах, – таща за собой тележку.

У себя в комнате она испустила вздох – то ли хрип, то ли вопль, – бросила белье поперек жалкого подобия прихожей и отнесла посылку и два письма на кровать. Незаправленная кровать пахла рыбой, простыни завились пуповиной. Обломки кораблекрушения. Она опустилась на кровать, сбросила туфли – все в трещинах, Перски наверняка это заметил: сначала, что пуговица оторвалась, а потом, что туфли сношены, – стыд и позор. Она крутила и крутила в руках прямоугольную коробку. Шаль Магды! Магдин свивальник... Магдин саван... В памяти – Магдин запах, священное благовоние утраченного дитя. Ее швырнули на забор, пронзили проволокой, пробили током, поджарили; печь и в печи дитя! Роза прижала шаль к носу, к губам. Стелла не хотела, чтобы Магдина шаль была у нее все время; она придумала столько смешных названий для этого: травма, фетиш, Б-г знает что, – Стелла вечерами ходила на курсы психологии в Новую школу^[6] – подыскивала мужа среди страдающих газами холостяков из своей группы.

Одно письмо было от Стеллы, а второе – очередное послание из университета, еще одно – опять изучают болезнь. А в коробке – шаль Магды! Коробку напоследок, сначала пухлое письмо Стеллы (пухлое – это не к добру), а письмо из университета по боку. Болезнь! Лучше белье разложить, чем открыть письмо из университета.

Дорогая Роза [писала Стелла]!

Ну вот, я это сделала. Пошла на почту и послала. Твой идол в пути, отдельным отправлением. Если хочешь – ползи к нему на коленях. Ты сделала из себя сумасшедшую, все считают, что ты сошла с ума. Мимо твоей лавки пройдешь – стекло все хрустит под

ногами. Ты старшая, я племянница, не мне тебя учить, но Г-споди Б-же мой! Прошло сколько лет – тридцать, сорок? – хватит уже. Думаешь, я не знаю, как это будет, как ты все сделаешь? Смотреть противно! Откроешь коробку, вынешь ее, расплачешься, будешь целовать ее как безумная. До дыр поцелуешь. Ты как те средневековые люди, которые поклонялись кусочку Святого Креста – щепке от сортира, кто этого не знает, или же падали ниц перед волоском якобы с головы какого-то святого. Обцелуешь ее, закапаешь слезами, и что? Роза, поверь мне, тебе давно пора начать жить жизнью.



Роза сказала вслух:

– Ее украли воры.

И еще сказала:

– А ты, Стелла, ты-то живешь жизнью?

Будь я миллионершей, я бы тебе сказала то же самое: найди работу. Или же возвращайся, переезжай сюда. Меня не бывает целыми днями, ты будешь жить все равно что одна – раз ты так хочешь. Там слишком жарко, люди все равно что овощи. Ты для меня столько сделала, и я так продержусь еще с годик, ты, конечно, сочтешь меня скрягой, но зарплата у меня не самая высокая в мире.

Роза сказала:

– Стелла! А осталась бы ты в живых, не забери я тебя оттуда? Умерла бы. Ты бы умерла. Так что не рассказывай мне, сколько стоит содержать старуху. Разве я не давала тебе мебель из своей лавки? То огромное позолоченное зеркало, ты смотришь в него на свое злобное лицо – да мне плевать, что красивое, все равно злобное, – забыла, кто тебе дарил подарки?

Что касается Флориды, это же ничего не решает. Теперь могу тебе сказать: тебя бы под замок посадили, если бы я не согласилась тут же увезти тебя из города. Еще одна выходка прилюдно – и ты в сумасшедшем доме. Больше никаких скандалов! Ради Б-га, не сходи с ума! Живи своей жизнью!

Роза снова сказала:

– Ее украли воры, – и методично, тщательно, как одержимая, принялась пересчитывать белье в тележке.

Не хватало пары трусов. Роза пересчитала все еще раз: четыре блузки, две хлопчатобумажные юбки, три бюстгалтера, юбка нижняя, комбинация, два полотенца, восемь пар трусов... в машинку она положила девять, это точно. Унизительно-то как. Потеряла панталоны – выронила Б-г знает где. В лифте, в вестибюле, а то и на улице. Роза дернула платье в синюю полоску, и оно поползло здоровенным цветным червяком из-под перекрученных простыней. Дыра под мышкой стала больше. Полоски – нет, больше ничего в полоску не наденет! Она клялась себе, но это, модное, с большим вырезом Стелла подарила на день рождения. Стелла его купила. Будто ни при чем, будто не знала, будто не оттуда. Стелла, обычная американка, не отличишь! Никто и не догадывался, из какого ада она выползла, пока она не открывала рот и вверх не взвивался дым акцента.

Роза снова пересчитала. Точно, одна пара трусов потерялась. Старуха, которая даже за исподним уследить не в состоянии.

Она решила зашить дыру на платье в полоску. Но вместо этого поставила воду для чая, застелила кровать чистым бельем из тележки. Коробку с шалью она оставила напоследок. Письмо Стеллы записнула под кровать, рядом с телефоном. Прибрала всю комнату. К открытию коробки все должно было быть в полном порядке. Она намазала конфитюр на три крекера, положила пакетик чая «Липтон» на крышку «Уэлча»[\[7\]](#). Конфитюр был виноградный, с картинкой Багса Банни[\[8\]](#), нахально грозившего пальцем. Несмотря на пирожок Перски, в желудке пустота. Стелла вечно повторяла: Роза ест по чуть-чуть, точно глист в животе мира.

И тут она сообразила, что ее трусы у Перски в кармане.

Надо же до такого докатиться! Позор. Боль в чреслах. Горят. Наклонился в кафе подобрать ее трусы, а сам все возился с зубами. Почему он их не вернул? Смutilся. Думал, это носовой платок. Как мужчина может отдать женщине, да еще незнакомой, ее же исподнее? Он мог сунуть их обратно в тележку, но как бы это выглядело? Он тонкий человек, решил ее пощадить. Вернулся домой с ее трусами, и что? Что мог мужчина, наполовину вдовец, делать с женскими панталонами? Нейлон с хлопком, по колено. Может, он их нарочно стянул, может, он сексуальный маньяк, жена с психами, изголодался. По мнению Стеллы, Розе тоже место среди психов, и у нее есть возможность туда ее отправить. Очень хорошо, они – она и жена Перски – станут соседками, приятельницами, лучшими подругами. Жена расскажет обо всех сексуальных предпочтениях Перски. Объяснит, как это получилось, что человек в таком возрасте ворует нижнее белье дамы. А пятна на промежности никого не касаются. И не только это: жена Перски, женщина с детьми, будет говорить о своем сыне и о замужних удачливых дочерях. И Роза тоже, плевать, что Стелла этого не выносит, она расскажет о Магде, о красивой молодой женщине тридцати лет, тридцати одного года: врач, замужем за врачом, большой дом в Марморанеке, штат Нью-Йорк, два врачебных кабинета, один на первом этаже, второй в недавно отделанном полуподвале. Стелла жива, почему Магде не быть живой? Кто такая Стелла, эта грубиянка Стелла, чтобы утверждать, что Магды нет в живых? Стелла, Ангел Смерти. Магда жива, ее ясные глаза, ее светлые волосы. Стелла, не ставшая матерью, да кто она такая, Стелла, чтобы издеваться над поцелуями, которыми Роза осыпает шаль Магды? Она хотела записать шаль ей в рот. Роза, такая же мать, как и любая другая, ничем не отличается от жены Перски в сумасшедшем доме.

Эта болезнь! Это письмо из университета – как все такие – пять- шесть марок на конверте. Роза представила себе это путешествие: сначала в «Ньюз», в «Пост», быть может, даже в «Таймс», потом в бывший Розин магазин, потом к поверенным хозяев магазина, оттуда в квартиру Стеллы и потом в Майами, во Флориду. Не письмо, а Шерлок Холмс. Оно потрудилось, чтобы отыскать свою жертву, и ради чего? Чтобы ее снова съели заживо.

Отделение клинической социальной патологии

Университет Канзаса–Айовы

17 апреля 1977 года

Уважаемая госпожа Люблин!

Хотя сам я по профессии не врач, но в последнее время начал собирать данные по выжившим, поскольку это оказалась довольно многочисленная категория. Непосредственно о деле: в настоящее время я провожу работу, которую финансирует фонд Минью Института гуманитарных исследований среды Канзаса–Айовы, задача которого – изучение теории, разработанной доктором Артуром Р. Хиджесоном и известной как теория подавленного оживления. Не вдаваясь на данном этапе в подробности, полагаю, предварительно Вам будет полезно узнать, что на данный момент изыскания показали поразительную распространенность минимализации во время сколь-либо протяженного периода стресса в результате лишения свободы, подверженности рискам и недоедания. Мы обнаружили широкий спектр неврологических осложнений (включая, в некоторых случаях, острые мозговые травмы, психические расстройства, преждевременное одряхление и так далее), а также гормональные изменения, заражение паразитами, анемию, нитевидный пульс, гипервентиляцию легких и так далее; в особенности у детей повышение температуры до 42 градусов, брюшиную водянку, задержку развития, кровоточащие язвы на коже и во рту и так далее. Примечательно, что все эти состояния и сейчас распространены среди выживших и их родственников.

Болезнь, болезнь! Гуманитарные исследования среды – что это такое? Ажиотаж вокруг страданий других людей. У них аж слюнки текут. Истории про детишек, у которых в Америке кровоточат язвы, мерзость какая! Еще и слово специальное подобрали: выживший. Что-то новенькое. Лишь бы не сказать человек. Раньше говорили беженец, но какие теперь беженцы, беженцев больше нет, одни выжившие. Название как номер – чтобы пересчитать отдельно от обычных людей. Чем это отличается от синих цифр на руке? Все равно женщиной тебя уже никто не называет. Выживший. Даже когда твои кости рассыплются и смешаются с землей, все равно слова человек никто не вспомнит. Выживший, выживший, выживший – на веки вечные. Кто придумал такие слова, разъедающие исстрадавшуюся глотку!



В течение нескольких месяцев команды медиков, собиравших информацию, проводили опросы выживших, чтобы сопоставить текущую информацию с ситуацией более чем тридцатилетней давности, когда лагерников только выпустили. Это, должен признать, также не входит в сферу моих интересов. Моя основная цель, и как специалиста по социальной патологии, и как человека...

Ха! Себя он может так называть, как о нем речь, так это человек!

...касается не медицинских и даже не психологических аспектов данных по выжившим.

Данные! Пропадите пропадом!

Что побудило меня принять непосредственное участие в исследовании (которое, кстати, задумывается как исчерпывающее – закрывающее, так сказать, эту прискорбную тему), так это то, что я могу определить лишь как «метафизический» аспект «подавленного оживления» (ПО). Напрашивается вывод, что заключенные постепенно перешли на позиции буддизма. Они отошли от страстей и начали действовать в парадигме недеяния, то есть невовлеченности. С Вашего позволения напомню, что Четыре Благородные Истины буддизма являют собой исчерпывающий итог того, что приносят страсти, – страдания. «Страдание» с этих позиций определяется как уродство, старость, горе, болезнь, отчаяние и, наконец, рождение. Невовлеченность достигается через Восьмеричный Путь, высшая стадия которого – отказ от всех людских страстей, можно сказать, высочайший восторг полной невозмутимости.

Искренне надеюсь, что эти мои рассуждения не вызвали у Вас недовольства. Более того, я надеюсь, что они могут показаться Вам достойными внимания и что Вы не откажетесь присоединиться к нашему исследованию и согласитесь на подробную беседу, которую, если Вы не против, я проведу с Вами у Вас дома. Мне бы хотелось иметь возможность наблюдать поведение выживших в естественной для них обстановке.

Дома? Где это, где?

Вероятно, Вы не в курсе, что конгресс Американской ассоциации клинической социальной патологии в этом году, учитывая интересы членов ассоциации, проживающих на Восточном побережье, состоится не в Лас-Вегасе, а в Майами-Бич. Конгресс будет проведен в расположенном неподалеку от Вас отеле в середине мая, и я буду искренне благодарен, если Вы сможете меня принять. Я узнал из нью-йоркской газеты (мы здесь не такие уж провинциалы, которыми нас кое-кто считает!), что Вы недавно переехали во Флориду, и, следовательно, Вы идеально подходите в качестве участника нашего исследования по ПО. Надеюсь, что Вы при ближайшей возможности сообщите нам о своем согласии.

Искренне Ваш,

Джеймс У. Граб, доктор философии

Пропадите пропадом! Болезнь! Это все от Стеллы идет! Стелла видела, что это за письмо, по конверту видела – доктор Стелла! Клиническая социальная патология, Канзас–Айова, модный отель, вот как они вылечат тех, у кого жизнь забрали! Ангел Смерти!

С письмами от университетов Роза всегда поступала одинаково: шла с ножницами к унитазу, резала бумагу на мелкие кусочки и спускала воду. В водовороте бумажные квадратики кружились, как зернышки риса, которыми осыпают молодых.

Пропадите пропадом вместе со своими Четырьмя Истинами и Восьмеричным Путем! Невовлеченность! Она швырнула письмо в раковину и заштемпелеванный конверт туда же: «Переслать по адресу» – Стеллиным почерком, подделывавшимся под американский – без черточки на ножке цифры 7; зажгла спичку, налюбовалась языками огня. Гори, доктор Граб, гори со своим подавленным оживлением. В мире есть и Вяз, и Бук, и Дуб. Мир горит огнем! Все, все горит! Флорида пылает!

Пухлые лепестки пепла валялись в раковине: черная листва, черная воля Стеллы. Роза включила воду, и пепел, кружась, улетел в слив. И тогда она подошла к круглому дубовому столу и написала первое за день письмо дочери, своей здоровой дочери, у которой не было ни нитевидного пульса, ни анемии, дочери, которая преподавала греческий в Колумбийском университете в Нью-Йорке: от него камешком докинуть можно – философским камнем, который продлевает жизнь и превращает железо в золото, – до Стеллы в Квинсе.

Перевод с английского Веры Пророковой

Окончание следует

[1] Кугель (идиш) – запеканка, в основном с картофелем или лапшой. – Здесь и далее примеч. перев.

[2] Латкес (идиш) – картофельные оладьи.

[3] Престижные учебные заведения Брин-Мор – женский университет в Пенсильвании, Принстон – университет в Нью-Джерси.

[4] Шимон Перес (1923 г. р.) – израильский политик, был премьер-министром, в настоящее время – президент Израиля.

[5] Лорен Бэколл (1924 г. р.) – американская актриса, вдова Хамфри Богарта, урожденная Бетт Джоан Перски, двоюродная сестра Шимона Переса.

[6] Новая школа – университет в Нью-Йорке, в Гринич-Виллидж.

[7] «Уэлч» – марка конфитюра.

[8] Багс Банни – кролик, герой мультфильмов и комиксов.

VOBLIN

Александр Иличевский

Сто лет назад, в разгар популярности всевозможных тематических сетевых групп, я познакомился заочно с Владимиром Воблиным. Это было еще задолго до появления социальных сетей, но уже после заката FIDO-конференций. Воблин постепенно для меня и для многих стал отчетливым виртуальным предводителем. Все началось с почтовой русскоязычной рассылки по океанографии и лимнологии, несколько раз менявшей движковый сервер и остановившейся наконец на yahoo-groups. Владимир Воблин, как он утверждал, работал в лимнологической лаборатории хайфского Института океанографии, базировавшейся на Мертвом море. Он лучше многих разбирался в геологическом устройстве места будущего Армагеддона и работал, в частности, над библейскими геологическими загадками, например над загадкой исчезновения Сдома. Как водится, в группе постепенно выделилось несколько лидеров. Воблин объявил раскол, и просветленная часть аудитории устремилась за ним, в незамутненное и непростое будущее.

Воблин обладал широким кругозором и никогда не повторялся в своих остроумных и безупречных, небольших, но глубоких исследованиях, к которым присоединялись порой конгениальные комментарии участников рассылки. Например, разве не интересно всерьез разобраться, какой именно рыбой накормил народ Йеошуа? Что такое тилапия, мушт, амус? Почему на удочку с каменистого берега озера Кинерет ничего, кроме карпа, не ловится? Ибо тилапия – мушт, рыба апостола Петра – питается исключительно планктоном, который вместе с водорослями прилипает к ее языку, полному тягучей слизи, из которой все-таки умеют выбраться мальки, нашедшие убежище во рту родителей. Разве не интересно узнать гипотезу, объясняющую, почему Йеошуа мог пройти по воде? Оказывается, в районе деревни Бейт-Шева на дне Генисаретского озера бьют соленые ключи: соль способствует снижению температуры и, следовательно, замерзанию воды даже при плюсовой температуре. Разве не интересно узнать о результатах глубоководного погружения в самой низкой точке Земли, на дно Мертвого моря? Каков его, дна, рельеф, какой состав ила, почему северная, заросшая плавнями часть моря кардинально отличается от пустоши купоросной южной? Какие доисторические эпохи мы минуем, спускаясь на автомобиле по шоссе к Кумрану? А с южного направления от Беэр-Шевы? Неужели не интересно знать, какую роль сыграет в Армагеддоне раскол, образованный лопнувшей Иордано-Аравской синклиналию, вновь дрогнувшим Сирийско-Африканским рифтом?

С годами я сильно привязался к воблинским обзорам научных и общественных тем, к этому одновременно глубокому и легкому автору, лишь изредка допускавшему субъективную ноту в обсуждении темы. Нельзя сказать, что кто-то из сотни участников рассылки был к нему приближен. Лишь три или четыре раза я лично списывался с ним по более или менее формальным поводам, в основном научным. Я привык к этой рассылке, как привыкают к утренней чашке кофе. Новостные его обзоры – Voblin News – были предельно сжаты, все самое лучшее – отборное, никакой бессмыслицы или перегрузки, альянс такта и ума, в меру искрометного, никакой поверхностности или глубокомыслия.

И вот этот человек после девяти лет практически ежедневного выхода на связь внезапно исчезает после одной из ряда странных публикаций в своем сетевом журнале (тогда уже появились блоги, и они стали наилучшей исторической заменой всех пробных

способов социализации, включая случай экспертных сообществ). Я давно заметил, что на протяжении ряда лет в новостных обзорах Воблина (пользователь VVoblin) мелькали сообщения о фактах семейного насилия в арабских деревнях близ Иерусалима. Именно так: задним числом стало ясно (мне, во всяком случае), что все эти факты не случайны и играют решающую роль в исчезновении Воблина. Все они были объединены географически: окрестности Иерусалима. Предпоследняя запись в дневнике VVoblin рассказывала об убитых женщинах-палестинках: две сестры в арабской деревне Мукабр были найдены задушенными, третья спасена после того, как попыталась выпить кислоту и повеситься.

Воблин пропал внезапно. Случалось такое и раньше: долгосрочная командировка, полевые работы, простуда. Но всегда это сопровождалось предупреждениями о перерыве трансляции. Или внезапными прорывами в паузе, телеграфного типа: «На самолете пограничников на высоте 50–70 метров пролетаю над всем Иорданом: от долины Ийон до исхода Южного Арава. Машу бедуинам рукой». Последняя запись в судовом журнале была незначущая: рядовая из многих ссылок на песни Офры Хазы, на саундтрек к кинофильму «Королева Марго» (Софи Марсо в моем сознании объединена с Офрой именно благодаря Воблину, большому поклоннику обеих).

Через две недели все бросились его искать. Однако выяснилось, что два ip-адреса, по которым он выходил на связь, провайдер деавуировать может только по решению суда, а суд пропажу виртуального лица пока не рассматривает как повод к физическому розыску. Ничего о Воблине толком не было известно, кроме того, что жил он в приморском пригороде Тель-Авива, эмигрировал в середине семидесятых, обитал в юности изначально близ Яффо по соседству с кварталом йеменских репатриантов (собственно, из этого квартала и пошло его увлечение Офрой Хазой, соседкой). Воблин всерьез увлекался прикладной математикой, то есть программированием математических моделей геологических процессов (родственная мне грань), был полиглотом, знал все европейские языки, включая скандинавские, знал японский, что было особенно ценным и позволяло нам с его помощью обозревать «обратную сторону Луны» – неанглоязычную часть цивилизации... Лет ему было около пятидесяти пяти, может, больше. Надо ли говорить, что поиски среди сотрудников Института океанографии не привели ни к каким результатам. Ни один из них не состоял в нашем сообществе, а те, к которым была обращена неожиданная просьба просмотреть материалы по Воблину, своего рода составленное нами «досье», решительно утверждали, что не знают ни одного сотрудника своего института (из восьмидесяти четырех по списку научного состава), который мог бы хоть как-то соответствовать данным приметам, описаниям, идентификационному портрету. Мы были встревожены поисковыми работами еще месяц. Постепенно вспышки беспокойности и lamentаций о покинутости возобновлялись все реже... Надо ли говорить, что ни один сотрудник лимнологической лаборатории на берегу Бат Ям никогда не слышал о сотрудничестве с пограничниками над снятием реперных смещений и уж тем более о вольных полетах над Иорданом? И что в Институте океанографии нет ни одного ярко выраженного полиглота?

«Был ли Воблин женщиной?» «Безнаказанно ли самоубийство сетевого персонажа?» «Как он мог так поступить?» «Не случилось ли плохого?» «Инфаркт? Инсульт?» «Найти родственников!» «Пусть не будет свиньей, пусть просто даст знать, что все в порядке».

Подобные стенания еще долго метались в сетевом эфире. Их эхо я обнаружил уже в поле, в разгар поисков. Ибо в первую же неделю я втихую начал личное

расследование. Почти сразу у меня вспыхнула гипотеза, и я позвонил Керри, чтобы изложить свои абсолютно голословные соображения. Но интуиция просто вопила.

Керри был надежный друг, не раз проверенный в различных передрягах. Отставной военный моряк, сейчас он подвизался на журналистском поприще, писал в «Сан-Франциско кроникл» емкие очерки об истории Калифорнии и всегда был не прочь ввязаться в какую-нибудь передрагу.

Для начала я выяснил, что единственным откликом в мировой печати на трагедию в Мукабре была статья ирландской журналистки, спецкора Би-би-си в Рамалле. Я поднял все случаи, о которых сообщал Воблин за семь лет: убийства жен, сестер, дочерей, надругательства над женщинами – все более или менее мрачные случаи, связанные с узаконенностью шариадом ничтожности женской сущности.

Я написал Керри, объяснил проблему, и мы рванули с ним в Израиль (я из Остина, он из Дубая через Гамбург), где в МВД добыли список пропавших без вести сразу после даты исчезновения Воблина. Через ближневосточное бюро Би-би-си мы отыскали Кэтрин Патрик, которая писала обо всех упоминавшихся Воблиным случаях. Мужеподобная рыжая журналистка была жесткой, но открытой и четкой в общении. Она ничего не знала о Воблине, обо всех интересовавших нас случаях она получала информацию по факсу, защищенному антиопределителем номера. Поставленные в тупик, мы собирались уже восвояси, как вдруг близ Яффских ворот нам подвернулась в руки рекламная листовка, предлагавшая отправиться на экскурсию в недавно открытую археологами каменоломню, где добывался камень для строительства Второго храма. Через час мы рассматривали огромные известковые глыбы, перфорированные, но так и оставшиеся в своем ложе. Я рассматривал их и думал о том, что услышал утром от Кэтрин, рассказывавшей подробности некоторых убийств этих несчастных девушек, принесших позор своим семьям: как их закапывали живьем, как забивали камнями.

Под конец экскурсии наш гид, харизматичный сухой бородач, с посохом в говорящих руках, в вельветовой толстовке хипповской расцветки и в тубетейке, сделал объявление о завтрашнем пешем походе по некоторым библейским достопримечательностям в окрестностях Иерусалима. Мы тут же записались и на завтра произвели скрытную разведку местности, по пути расспрашивая нашего гида о местонахождении упоминавшихся Воблиным деревень. Как оказалось, все они располагались в одном гористом локусе вокруг двух поселений – Каны и Халсы.

В аэропорту, стоя в очереди на досмотр багажа, я рассказал Керри свою версию виртуального мессии. Идея в том, что мессия вовсе не один человек, а эпоха. Уже много смысла, да? Но это не все. В любой стране, в пределе, во всем мире при должном развитии цивилизации можно построить сетевое гражданское общество, чья мораль и экономика могут быть мощнее того, что есть в реальности. И вот в таком зародыше, в некоей социальной сети появляется пользователь-герой, который, основываясь исключительно на своем виртуальном образе, начинает вести людей в сторону света. Это трудный момент, так как должна быть некая степень достоверности и явленности, некая плотность человеческого вещества, но, тем не менее, каким-то чудом ему удастся решить эту задачу. Вся суть явления в том, что перед мессией не стоит цель убедить всех в своей реальности. Нет задачи убедить кого бы то ни было ни в реальности своей смерти, ни в реальности своего воскрешения. И потом, виртуальное социальное образование способно вести себя как отдельная личность...

И тут Керри спрашивает:

– А нет ли у тебя желания возродиться под именем Воблина? Ты же хорошо знаешь его манеру, его ум, стиль. Тебя не увлекает эта идея? Ведь тебе, поди, скучно сидеть на буровых – там и заняться-то толком нечем.

VVoblin – Владимир Voblin otlichalsya тем, что часто не то ради забавы, не то для сохранности хоть каких-то следов при нарушенной кодировке, заменял в сообщениях часть букв латиницей...

Да, в поисках Воблина я не отказывал себе в импровизации, но реальность выявила: интуицию я пробудил в верном направлении. Я исходил из того, что один из главных мотивов, который мог бы двигать Воблиным, – страстное желание справедливости, которое он доказывал не раз на протяжении десятка лет. Оно и было фундаментом всеобщей симпатии к нему. Мотив этот и был взят в качестве главного топлива. Было выдвинуто предположение, что Воблин в одиночку совершал подвижническое дело: каким-то специальным разведывательным способом выявлял факты насилия над женщинами в арабских деревнях близ Иерусалима и, чтобы избежать ненужных контактов с полицией, поставлял эту информацию общественности через сотрудницу отдела Ближнего востока Би-би-си. Оставалось выяснить детали сбоя, в конечном итоге приведшего к трагедии.



В арабской деревне Джабль Мукабр возле Иерусалима убиты (задушены) две сестры, Амани Шакират (20 лет) и Рудина Шакират (27 лет). Третья сестра в тяжелом состоянии (выпитая кислота плюс попытка повешения) была доставлена машиной «Красного Щита Давида» (так в Израиле называются неотложки) в больницу, и израильские врачи сумели вернуть ее к жизни. Хотя она пока все еще в тяжелом состоянии.

Но об этом не рассказало радио в новостях, когда я ехал с работы. Это вам рассказываю я.

Неужели никому-никому, кроме меня, нет дела до этого жуткого преступления? Но почему?! Где сотни организаций по борьбе за права человека, где сотни тысяч активистов, где телебригады, газетчики, журналистики?

Неужели такая мертвая тишина только потому, что убийца (который скрылся и находится в розыске) – это не «сионистские агрессоры», а их собственный брат. Родители девушек и жена их брата подозреваются в соучастии в убийстве и в настоящее время арестованы. Причина убийства – «семейная честь» (попытка сблизиться с немусульманскими парнями).

Как Воблин мог отслеживать акты насилия в совершенно закрытом обществе? В детстве я жил в поселке, где зачастую в семейном домострое царил шариат. Когда мне было лет десять, я долго стоял во дворе дома, где в верхнем этаже муж избивал жену. Никто не защитил женщину, истошно вопившую на всю округу. Прибывший участковый топтался в подъезде.

Воблин, пользуясь хорошей оптикой и удобством гористой местности для наблюдений, высматривал в арабских деревнях дома, в которых творилось беззаконие.

Как он мог исчезнуть? Его обнаружили?

Полиция выдала нам список, в котором к образу Воблина подходила только одна персона: Владимир Евгеньевич Зорин, шестидесяти двух лет. Все верно: прикладной математик, работал в совместной с японцами софтверной компании. Касательство к геологии исключительно прикладное. Объявлен в розыск по заявлению, последовавшему от соседей и работодателя. Вдовец, жил в Несс-Ционе, близ Тель-Авива. Из хобби – велосипедные прогулки по пересеченной местности. Его «хонда сивик» с велосипедным багажником найдена на паркинге супермаркета в пригороде Иерусалима.

Сведения эти были, в общем-то, бесполезными.

Неистовая Кэтрин – профессиональный расследователь бесчинств шариата. Она показывает нам мутные фотографии людей в белых мешках, стоящих на коленях перед толпой полукругом, вокруг них бурая ровная земля и лежат камни размером с кулак или мельче. Сама фотография – по цвету, качеству и каменистому рельефу – напоминала снимок поверхности Луны. После я шел и думал о камнях. Как они лежали густо разбросанные. Соображаю, как долго нужно было бросать, чтобы на такой площади с такой частотой да с рикошетом. Фотография была настолько плохого качества, что ее нельзя было использовать как документ достоверности. Я шел, смотрел под ноги, думал о фотографии, отвергнутой воображением. Я не думал ни о варварстве, ни о справедливости, ни о милосердии. Я пытался понять, почему на той фотографии было что-то не так – не в сути изображения, пусть и схематической, не вызывающей ни доверия, ни толчка к открытию, – но некое нарушение занозило мозг. Наконец я понял: камни, разбросанные вокруг белых кулей, камни эти – сор. «Кто-то насорил, думал я, надо все это прибрать, подмести, дать по рукам, чтобы неповадно...»

Тем временем мы давно уже шли по дну гладко вылизанного каменного желоба. В русле, непросохшем после дождей, о которых и думать в таком пекле было невозможно, встречались в углублениях кипяченые лужи, зеленые и синие, в зависимости от породы камня, солнца и тени, иные по щиколотку, по колено, а один раз я провалился по пояс и долго выбредал на склон; спустя километра два-три, когда уклон стал забирать совсем уж круто, приходилось подтягиваться в упор, наваливаться грудью. Когда колени

при подъеме стали тыкаться в подбородок, только тогда Кэтрин взяла круто вбок, и мы вскарабкались из русла, нашли тень в масляной рошице. За склоном журчал ручей, я опорожнил литровую бутылку, наполнил, выпил залпом, набрал еще и снова выхлебал. Вернулся и завалился навзничь. Кэтрин приняла от меня бутылку, напилась и продолжила разговор с Керри, я плохо их слышал. Наконец Керри передал мне фотографию. На ней девушка в белом одеянии, в коконе, стояла по пояс в земле, склонившись, пытается вырваться из земли, милостивая, юная особа с плачущим, умоляющим лицом. Двое худых мужчин с белыми повязками на лбах лопатами орудовали вокруг нее. А на переднем плане, справа, женщина в черных очках, в хиджабе, подпоясанная португеей, нагнувшись, что-то делала руками с землей... Я подумал: тяжело им будет навалить холм поверх нее: оставался еще метр.

В кроне маслины прямо надо мной загукала горлинка.

Керри разулся и теперь переминался по-птичьи на раскаленных камнях, балансируя пошатнувшейся грацией. Мужеподобная Кэтрин протянула ему руку, но он отстранился и поскакал в тень.

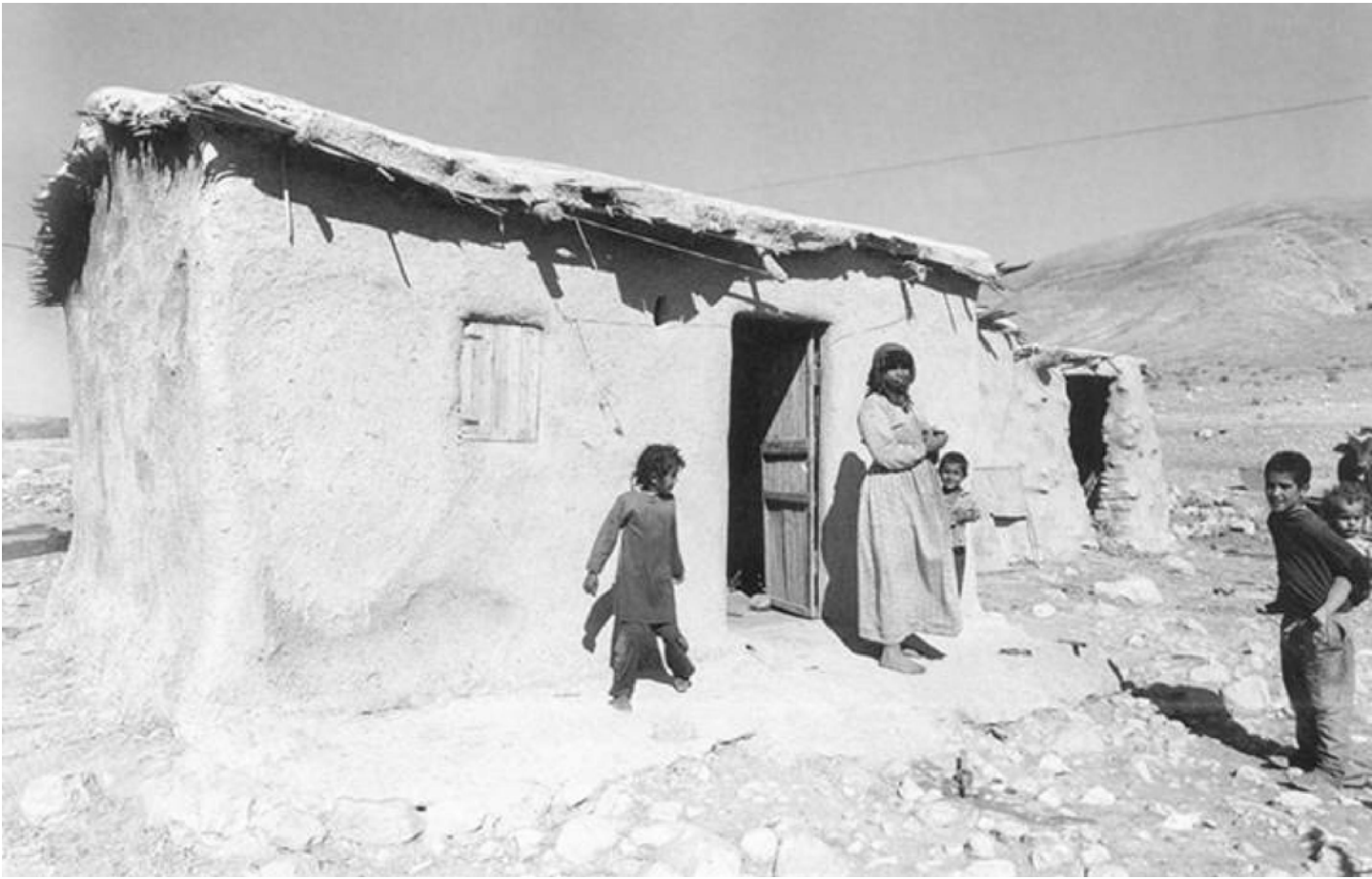
От автобусной станции, покружив по гористым улочкам Иерусалима, мы выбрались на окраину города, свалились в ущелье. Скоро иссякли задичавшие поселения, разбросанные по склонам нагорья, и спуск, ведущий к Мертвому морю, набрал угол наклона, стал очевиден ногам. Километров восемь мы прошли по обочине, раза три отмахнулись от притормаживавших арабов (зеленый номерной знак), которые жестикулировали и что-то призывно выкрикивали. Не останавливаясь, мы вступали по колено в синеватый выхлоп дизельных движков их допотопных «мерседесов». Керри считал, что арабы предлагают подвезти нас к месту ближайшего линчевания, я с ним не спорил. Овражистая, холмистая местность просматривалась плохо, извилистая дорога, с каждым поворотом открывала новые лекала ландшафта, новые сангиновые оттенки грунта. Закат скользил по щебнистой пустыне, оттягивал от холмов долгие тени, смягчал абрисы склонов, контуры валунов и раскрошенных утесов. Миновали перекресток, на котором у автобусной остановки в облаке дорожной пыли, засвеченном снижающимся солнцем, толпились солдаты, бедуины, стоял привязанный к дорожному столбу ослик, груженный горой соломы. Его длинная морда, жесткая ровная щетка загривка, чуть бешеный, косящий вниз глаз вытянули диагональ первого кадра. На втором сухая, в синеватых жилах, загорелая рука бедуина, с сучковатыми пальцами и зеленовато почерневшим почти слезшим ногтем на большом, собирает поводья, колючие глаза, стародавняя щетина на иссушенном лице, сизый загар, выражение немоги проглядывало в запавшем рту; волнистые края куфии придавали облику женскость. На третьей – разбитое, стертое копыто, камушки и пыль.

Наконец, следуя карте, мы свернули на грунтовую дорогу, перевалившую за два или три кряжа, проплутали по каменистым нагорьям, следуя наивно метам, указующим направление и степень сложности троп: синие стрелки или просто черточки масляной краской на крупных камнях; в иных местах появлялись черные, отмечавшие ответвления в непреодолимые на первый взгляд обрывы. Мы их старались тщательно избегать, но потом черные метки пошли встречаться вперемешку с синими, пунктир этот замельтешил в глазах, жгуче залитых потом, и вдруг пропал. Стремительно темнело, и палатку на первой подходящей площадке мы ставили почти на ощупь; затем при трепещущей в пластиковом стакане свечке отламывали сыр, запивали белым вином и вслушивались в потрескивающую саранчой и цикадами глубину Иудейской пустыни, от горизонта накатывавшей сочным валом Млечного пути. Закопченный стаканчик сжимался от нагрева по мере опускания пламени, кривлялся. Три капли сияющих светил занимали

Керри. Он рассказывал о выстроившемся параде планет и гадал, где же еще четвертая. Невежда в астрономии, я фотографировал всходящую Луну с ее тенистым краем, зазубренным горами и крапинами кратеров. Привинтив штатив, снимал на минутной выдержке весь долгий ход пустыни, провалы тьмы и чуть подсвеченные конусы вершин. Вдыхал заструившийся бриз, остужавший одну часть лица, в то время как горячая земля дышала в другую. Вздох остывающих камней, мелкие струйки осыпей, вскрики неожиданных в этой голой местности птиц лишь царапали глыбу тишины.

Палатка стояла под уклоном, и всю ночь мне снилось, что я соскальзываю в пропасть. На рассвете две или три птицы очнулись поблизости с пронзительным свистом переключки. Обнажив объектив, я пошел их искать, и нашел – иссиня-черных, с голубым пером в крыле, над лужицей, натекающей из-под камня.

До полудня мы выкарабкивались на замеченную в бинокль тропу и потом шли по ней в сторону ложа шоссейного русла и далеких рощиц, многоярусно темневших поверх верблюжьего цвета невысоких гор. На тропе нам никто не встретился, хотя внизу я отмечал следы бедуинских стоянок – черные пятна кострищ, квадраты и круги, выложенные камнями, державшими края войлочных шатров. На тропе я наткнулся на два окурка, на пивную банку и бутылку водки. Только однажды вдалеке на склоне, на незаметной глазу тропинке, мы заметили силуэт человека – женщины, ведшей под уздцы шаткую костлявую гору верблюда. Траверсом мы взошли и спустились немного с перевала в заросли, чтобы внезапно обнаружить себя в заброшенной деревне, полной одичавших садов. Обрушенные и вполне целые дома, в два-три этажа, стояли на склоне то тесно, то на отдалении. Деревня казалась совершенно опустелой, ворота дворов были распахнуты, грунт намертво ухватил створки. Внутри была видна заросшая травой рухлядь, выбитые узкие окна сквозили сумраком, наклонными токами солнечного света, обнажившейся под штукатуркой ромбами обрешетки. Карта сообщала название нежилой деревни: Лифта. Мы осмотрелись и сверились с компасом, соображая, как выгодней миновать Лифту, чтобы попасть на дорогу, ведущую к искомой Халсе, до которой оставалось всего три-четыре километра. Как вдруг в конце улицы из ворот вышли двое косматых парней, одетых в одни шорты, и, даже не взглянув на нас, завернули за угол, звонко стуча по пяткам кожаными сандалиями. Мы ринулись за ними и скоро услышали хохот, бречание гитары, гулкий грохот ударившегося о воду грузного тела. Перед нами открылся каменный бассейн, оправленный вокруг заводи: через край ее стеклянно проливался из-под замшелых камней небольшой ручей. Нависшие над бассейном деревья хранили прохладу, шедшую от воды. У берега бассейна лежали обшарпанные мольберты, рамы с грубо натянутым холстом, обращенным вверх изнанкой. На краях бассейна сидели четыре голых бородача, с ними разговаривал пятый, плававший у болтавшихся их пяток, растопыренных обезьяньих пальцев, протяжно фыркая и отдуваясь. К нам обратился скелетообразный парень в круглых очках.



– Разрешите представиться, меня зовут Симха Сгор. Вы находитесь в Лифте, в поселении свободных художников.

– Привет. Я – Керри Нортрап, отставной военный. А это мой друг Илья Дубнов, геолог. Мы направляемся в Халсу, – зачем-то сделал обманный маневр Керри.

– До Халсы рукой подать, – махнул за спину Симха, и я увидел, как выдались его ребра. – Там живут наши друзья, арабские дети, очень славные. Они приходят к нам дружить, учиться рисовать. В этой стране почти никто не умеет общаться с арабами. Да и наши юные друзья не говорят дома, что ходят к голым евреям в Лифту учиться размазывать краски по холсту.

– У вас интересная фамилия, Керри ее не выговорит, а я попробую. Сгор, правильно?

– Да, именно. Сгор. Симха Сгор. Вы говорите по-русски?

– Говорю.

Только посмотрев в глаза этому вдрызг обкуренному русоволосому парню, я сразу догадался, что наконец-то можно перейти на русский.

Керри отошел к бородачам и спросил разрешения купаться. Они не говорили по-английски. Я перевел вопрос, а Керри показал – помахал, как пловец, руками, и художники обрадовались:

– Давай, давай, мужик. Окунись за милую душу. Очень жарко, охлади тушку. Эдик, сбавь обороты, прибежешь к берегу, дай Америке искупнуться!..

Эдик отозвался оглушительным фырканьем, подняв завесу брызг. Улыбаясь как-то внутрь рта и уголков глаз, Керри стал стройно раздеваться.

– А что такое – Сгор? Что означает это слово? – спросил я парня.

– «Сгор» на иврите глагол «закрой». Очень энергичное слово. А Симха – «радость». Мне нравится мое имя, – сказал Симха и замер взглядом, направленным мне в грудь.

Я тоже посмотрел себе на грудь, но ничего, кроме пуговиц на своей любимой клетчатой рубашке, не увидел.

Вдали из-за развалин показались две девушки, медленно, шатко; поправляя, вытягивая за ухо длинные пряди, они прошли мимо бассейна, обернулись на Сгора.

– Вы скоро? Мы купаться хотим, – заторможенно произнесла долгоногая черноволосая девушка, в черепаховых очечках, топе и с татуировкой в виде свирепой морды Минотавра на пояснице. Вторая, белокожая, болезненно тронутая пунцовым загаром, в бумазейной блузке и с полотенцем на плечах, вероятно, в обычном состоянии энергичная, быстрая, уверенная в себе, что-то хотела сказать, но передумала со вздохом, покраснела.

– Машечка, сейчас, сейчас уйдем, – тонким голосом выкрикнул до сих пор молчавший художник с холщовой перетяжкой волос на лбу. – Пускай только интернационал остудится.

Девушки постояли, отвернувшись, взяли мольберты, холсты, на которых, мне показалось, мелькнула абстракция, и пошли потихоньку в гору, сомнамбулически карабкаясь меж валунов.

Тем временем Керри рассматривал дырку в носке. Покачал головой, пожал плечами, блеснул грудными латами серебряной шерсти и скользнул ногами вперед за бортик, погнал волну на край плотины мощным брассом.

Я посмотрел вслед девушкам и почувствовал свою душу, подавшаюся за ними. Полдневный зной почти поглотил их фигурки; страшно было смотреть туда – в добела раскаленный, дымчатый гористый простор – отсюда, из-под густой сени деревьев, наполненной дыханием прохлады, шедшей от запруды.

Я дождался Керри и сам рухнул в воду, поплавал, косясь на запрокинувшегося на спину китообразного Эдика. Затем Симха Сгор провел нас через два дома, чтобы показать свои творения. На всех этажах, на уцелевших участках штукатурки мы увидели пронзительные фрески на тему ада и рая. Они исполнены были на современном материале: иерусалимские улицы, витрины, люди, отраженные в них, цветы и овощи; мýка и наслаждение были переданы техникой негатива, сочетавшейся с нормальной экспозицией. Симха пояснил:

– Я изображаю не вполне цветовой негатив. Если его обратить, проявить, реального изображения не получится. Я пробовал. А получится именно незримое, жители

нереальности, поселенцы потусторонности. Только так, мне кажется, возможно изображать невидимое... – Понимаете, – добавил он, додумав пояснение, – когда кругом есть только два четких полюса – видимое и невидимое, очень трудно передавать метафизическую составляющую нашего бытия. А я всегда, когда иду по Иерусалиму, представляю этот город раскаленным смыслом добела, до прозрачности. Вот это представление мне и подсказало, как надо изображать неизобразяемое.

Другие художники не рисовали фресок, а складировали холсты, записывали их многократно. Кое-что мы посмотрели: портреты, натюрморты, два-три пейзажа, изображавших саму Лифту, – белокаменные руины, там разбросанные, здесь скученные на заросшем склоне.

Мы собрались уходить, Симха вызвался вывести нас на тропу до Халсы. Слово за слово, и Сгор по пути поведал, какое странное место мы посетили. Жил-был в Иерусалиме поэт по имени Осс, Ося, настоящий Че Гевара психоделической революции. Сейчас он слепой и парализованный, иногда его можно видеть на балконе дома в одном из пригородных поселков у въезда в Иерусалим. Он сидит с прямой спиной, обратившись лицом к великому городу, погружающемуся на дно заката. Некогда Осс был молод, красив, агрессивен и сообщал всем, что он – великий русский поэт. Ровесники Сгора в те времена воспринимали Осса как пророка. Однако стихи у него были средние. Зато среди иерусалимских первооткрывателей психоделических новых земель он слыл самым бесстрашным и безрассудным. Для Осса не существовало понятия точки невозвращения, он составлял химические букеты, химеры самых немислимых сочетаний. Лев с головой быка, стая нетопырей, облепившая кабана, безголовый тарзан с шестом и на лианах – все это летело ему в вену в любых количествах: если в этот раз он вернулся обратно, значит, в следующий раз надо взять еще сильнее, выше, страшнее. Осс сам пробовал синтезировать новые средства, культивировал научный подход, и все не для низкого кайфа, а ради дальних орфических пространств, ради попытки проникнуть туда, где никто до него никогда еще не был; вот в чем состояло его подлинное поэтическое призвание.

У Осса был друг – Эдичка Саулов, тат-дагестанец, бандит из Нетании, где шастал по улицам с корешами, в пиджачке и с заточкой в рукаве, стриг сутенеров, брал долю с подпольных казино. Однажды наступило тяжелое время, пришлось торговать наркотой. Эдик по случаю лизнул «Бриллиантовую Люсю», после чего бросил бандитские замашки, переехал в Иерусалим, чтобы влиться в ряды психоделических воинов, и основал колонию здесь, в Лифте. Жители Лифты оставили свои дома в 1948 году, деревня задичала, поглотилась зарослями. Лишь хасиды регулярно приходили совершать очистительные ритуалы к источнику, где мы купались. Иерусалимская мэрия послала в деревню рабочих, и они порушили дома как умели, кое-где подорвали, обмотали колючей проволокой, чтобы деревню никто не мог снова заселить. Основанная Эдиком колония носит чисто психоделический, творческий характер: в Лифте все пишут картины, или стихи, или песни. Сюда этой зимой приезжал из Омска с концертом знаменитый рок-анархист Егор Зимин. Здесь часто находит прибежище известная поэтесса Марина Доценко. Симха появился в Лифте два лета назад и, судя по его работам, по его связным, объективирующим ситуацию рассказам, вполне мог бы относиться к интеллектуальному зерну общины.

– А не встречался ли вам здесь когда-нибудь человек по имени Владимир Воблин? – спросил я напоследок, когда Керри пожал Симхе руку. Я уже мысленно представлял, как скоро нас с Керри поглотит зной, как размажет белесостью наши силуэты по засвеченной сетчатке Сгора, как поднимется над головой звенящий раскаленный полдень, как вскрикнет, зацокает цикада, как я сойду с тропы и выслежу ее,

крупную серебристую муху, отупело скворчащую в припадке бесчувственной страсти на каком-нибудь колючем кусте, оступиться в который – значит стать в один миг оборванцем.

«Надо будет, как Керри, обзавестись очками от солнца», – подумал я.

– Воблин? Слышал. Тут много разного народу показывается. По субботам у нас что-то вроде фестиваля. Воблин запомнился. Одно время он появлялся здесь часто. И в округе его видели не раз. Он ходил по арабским деревням. Что-то ему там было надо. Я думал, он этнограф. Такой высокий спортивный дядечка, довольно пожилой. Волосы отбрасывает назад, говорит очень бойко и связно. Предметами арабского быта интересовался. Приносил, показывал скалки, ступки, кофейники. Но, кажется, это была отмазка, чтобы не приставали. Может быть, он на рынке барахло это покупал и брал с собой как индульгенцию. Держался в стороне, слушал стихи, песни у костра, но ни с кем подолгу не говорил, хотя был приветлив. Открытый, живой, подвижный ум, приезжал на велосипеде. Я его однажды спросил, как ему тут по нашим горам на велике, ведь тяжело, должно быть? Не везде и пешком достигнешь. На него никто особенно не обратил внимания. К нам часто доверенные люди приводят экскурсии – просто посмотреть. Мне все равно, кому показывать свои работы. Считайте, что мы живем в музее и в цирке одновременно. Есть постоянные зрители. Но их не так много. Больше проходящих, как Воблин. Но я же говорю, он одно время часто к нам заезжал. Искушается, отдохнет в тенишке, может, задержится до вечера, когда все из закутов повывлезают к костру. Его я больше из-за странной кликухи приметил. Вроде старец чинный, академический даже, а кликуха несерьезная, извините. Но кликуху еще трудней, чем фамилию, выбрать, а сменить вообще невозможно.

– Его Владимиром звали, – сказал я, боясь спугнуть вдруг взволновавшегося Симху.

– Он себя только Воблиным назвал. Я еще подумал: «Во блин, гоблин», что ли. Как-то так хамски подумал. А ведь над фамилией грех смеяться. Над фамилией смеяться, как над калекой. Фамилия всегда калека, правда?

– Когда его последний раз видели? – спросил строго Керри.

– Месяца два-три назад, в начале лета, кажется.

Симха Сгор поправил очки, съехавшие с переносицы, и снял аккуратно муравья, ползшего по его лодыжке; сдул с щекотной беготни по пальцам.

– Я подумал, что он приезжает сюда к отшельнику, – сказал, помолчав, Симха.

– Какому отшельнику?

– Однажды я его видел. Все знают, что в окрестностях Иерусалима много скитов еще библейских времен. Некоторые пещеры и сейчас заселены монахами. Но попадаются и бомжи. Мы, например. Я. Один отшельник живет над Халсой. Наши его встречали несколько раз. Нас с Машкой он вялым диким инжиром угощал. Ласковый, не старый еще, борода редкая, не растет, и, кажется, больной он был. Говорил с нами приветливо, но так, будто превозмогал в себе что-то. Боль, болезнь? Утомление? Я еще подумал, как только не жарко ему в такой одежде – сюртук, ватные штаны. Пыльные,

выцветшие, штопаные. Так вот, я думал, что ваш Воблин ездит к этому отшельнику. Поговорить, пообщаться. Вот только я не пойму, как он на велике по горам? Раму на плечо – и вперед?..



Мы распрощались с Симхой.

– Воблину что-то было нужно в окрестностях, за чем-то он следил здесь, в этих деревнях, – рассуждал я вслух. – Однажды он стал свидетелем издевательств над женщинами, подсмотрел, как пытались линчевать женщин. Вызвал как-то полицию. Сломя голову мчался вниз, по каменюкам. Женщин удалось в первый раз спасти. Но никто не гарантировал, что это удастся сделать в будущем. Полицейские отказались помогать, сказали – не наше дело. Пусть они тут хоть на кусочки друг дружку порежут. Тогда VVoblin решил действовать самостоятельно.

– Не знаю, – пожал плечами Керри.

Собака животное нечистое, и потому в арабских деревнях тихо, пусто, слышно только, как за забором ссорятся козы, стучат рогами, топчут, блеют. Шуршат соломой. Только у одного дома в Халсе мы заметили машину, старенький пикап «Исудзу»; я списал его номер.

В арабских селеньях днем на улицах не встретишь никого, кроме солнца. Глухие заборы, окна узкие, все обращены во двор. Я постучался в ворота кулаком. Подождал. Подобрал камень – постучал им. Наконец калитка приоткрылась. Старуха с бельмом на глазу смотрела мимо нас. По-английски она ничего не понимала.

Мы нашли тропу и стали восходить над деревней. Если Воблин за чем-то следил, ему нужно было оставаться незамеченным. Вооруженный биноклем, он должен был занимать господствующую высоту, чтобы наблюдать за происходящим во дворе. Керри огляделся окрест.

Мы пошли в гору, нашли площадку под смоковницей, которая роняла ягоды в зеркало небольшого источника. Керри встал с колен от источника и скоро отошел в сторону и пропадал где-то, пока я отлеживался в тени и отпивался.

– Как думаешь? – спросил Керри, когда вернулся.

Я встал и отправился за Керри.

Керри отыскивал приметы свежей могилы потому, что земля здесь была чуть притоптана. Керри работал десантным ножом, я руками. Неглубоко появляется запыленный лоб, нос человека, густо покрытого сухой землей.

И вот я снимаю с себя майку и обмахиваю появившуюся лицом вверх голову человека. Она вся в сухой земле, будто обсыпана пудрой. Строгий профиль. Упертый подбородок.

– Мак-бенах, – сказал Керри.

Я перестаю махать майкой, очнувшись, меня тошнит.

Керри остается у тела, я долго, бесконечно долго сбегая вниз на дорогу, кидаюсь под колеса какой-то легковушки, и скоро полицейские вместе со мной подъезжают к Керри, который сидит под деревом с откупоренной фляжкой и, прихлебывая, смотрит перед собой бессонными глазами. Полицейские – два парня, один поджарый, почти черный, рубашка форменная натянута трапецией на костяк, другой почти без шеи, сбитый – подходят к яме, зажимают носы ладонями, пялятся, хватаясь за рации. Прибывают криминалисты, и я смотрю, как саперной лопаткой и кисточкой наискосок женщина в маске обрамляет в земле и обметывает кисточкой еще одно, тоже мучное, почти детское лицо. Маска Есенина посмертная – вот на что похоже лицо откопанной молодой женщины. Тела лежат в яме валетом. Тело мужчины облачено в пиджак, толстые штаны.

Свидетельские показания Симхи Сгора, которые он дал в полиции на следующий день, ничем не помогли. Личность человека из могилы до сих пор не установлена. Владимир Зорин нашелся в больнице «Хадасса», где пребывал неделю без сознания после инсульта, случившегося с ним в супермаркете, когда он стоял в очереди в кассу. Ничего о Воблине полицейским он не сообщил.

Керри описал эту историю в «Сан-Франциско кроникл», но описал, на мой взгляд, чересчур лаконично, так что сейчас я, по мере сил, исправляю это обстоятельство.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ

Когда приходится выступать перед детишками и объяснять, чем я занимаюсь, я обычно говорю так: «У меня, как у дракончика, три головы. Одна сочиняет стихи, другая переводит, третья пишет детские книжки». Обычно они живут дружно: одна работает, две помалкивают. Но иногда головы ссорятся, толкаются и мешают друг дружке. И во взрослые стихи как-то пролезает детское веселье, а в детские – взрослая печаль. А переводы, как подростки, вообще отбиваются от рук... то есть от текста.

Потом они целуются, мирятся. И опять две молчат, одна болтает. Вот как сейчас.

Первый класс

В каморке за шкафом, исконно моей, –
Сестренка грудная и мама при ней.

Сестренка кряхтит и мяучит во сне.
С отцом на диване постелено мне.

...Опять среди ночи вопьется в мой сон
Тот сдавленный вой, тот мучительный стон,

«Огонь!» – он кричит, он кричит на меня –
Бойтся огня или просит огня?

«Огонь!» – он кричит, я его тормошу,
Зову и реву и проснуться прошу...

А утром он чайник снимает с огня,
В колготки и платье вдевает меня,

Доводит во мраке до школьных ворот
И дальше, сутулясь, со скрипкой идет.

Вместо кадиша

Уложит ли в гроб музыканта недуг –
Друзья провожают его
И в полную силу, в развернутый звук
Стараются для своего.

И бархатный марш их до неба встает,
И просьба в нем ясно слышна:
«Устрой его, Г-споди, в ангельский взвод,
Ведь музыка всюду нужна.

Все знают, что значит в бою и в раю
Хороший скрипач иль трубач.
Яви ему, Г-споди, щедрость Свою –
Сержантскую пайку назначь.

И слухом, и духом, и вечной игрой
Служил он Тебе неспроста,
А ежели где и сфальшивил порой –
С листа ведь читаем, с листа!

Оставь ему, Б-же, случайный твой дар,
Местечко найди потеплей,
Когда же нам выйдет последний бекар,
Ты нас, как его, пожалей».

И Б-г отвечает: «Пристроен ваш друг.
Настанет назначенный час –
И в полную силу, в развернутый звук
Он слово замолвит за вас!»

* * *

Если будут громить христиане –
на дверях нарисую крест.
Если вдруг придут мусульмане –
подрисую еще полумесяц.
Нет, буддисты мирные люди,
но и их попортил прогресс,
И какой-никакой иероглиф
тоже надо повесить.

Я бы все это нарисовала
на лбу у своих детей!
Только что мне сказать им?
Что лучше смешные каляки,
Чем обычные цифры, выжженные без затей
На прозрачных предплечьях:
порядка бесовские знаки?

* * *

За ткацкий стан, за виноградный пресс,
За прялку, мялку и иные штуки,
По мелочи, какими камнерез
И плотник, позабывшись, ранят руки,

За молоток сапожника, за круг
Гончарный, за кадушку и опару,
За кисть, за ножницы для кройки брюк,
За скрипку, Г-споди! и за гитару,

За мех кузнечный, дышащий как грудь,
За почерневший тигель лаборантский, –
Простишь ли, Б-же, нам когда-нибудь
Щипцы, и дыбу, и сапог испанский?

* * *

Парикмахер в меня упирался коленом,
И на круглую щетку навитую прядь
Он тянул на себя и калил ее феном,

Поминая тихонько всеобщую мать.

И легли мои волосы гладко и прямо,
И Европа в моих проступила чертах,
И присвистнули дети, и ахнула мама,
И курчавый Восток зашипел и зачах.

Парикмахер Андрюша, сегодня с тобою
Мы решили извечный российский вопрос:
Я воздвиглась Уральской покатою горою,
Устремив на закат свой напудренный нос.

Нам бы день простоять, нам бы ночь
продержаться,
Только б дождь не застал, не застучал врасплох,
Только б Запад забыл, как хорош для матрацев
Этот темный, курчавый, пружинистый мох.

* * *

Оказывается, можно
послать молитву по факсу
в Иерусалим:
там ее свернут в трубочку,
отнесут к Стене Плача,
сунут в щель – и порядок.

Если так, почему нельзя
просто закрыть глаза,
мысленно встать у Стены,
уткнуться лбом
в шершавые гладкие камни
и молча сказать:

Отче наш, Ад-най,
Наму Амида Будда,
ради тьмы несмысленных
и нескольких просветленных, –
пощади,
разожми кулак!

* * *

Кто ж знал, что этот проданный Иосиф
Годится в дело,
По зерновым и по животноводству
Дает прогнозы?
Родня ли, родина продешевила,
Недоглядела?
Нет золотом бы взять за рифмоплетство,
За сны и грезы!

Теперь у фараона он в фаворе:
Стило, дощечки,
На пальце перстень, премия в кармане, –
Он зла не помнит.

А братья вдоль пастушьих территорий,
Вдоль темной речки
Дозоры ставят, сами спят с ножами
В глубинах комнат.

Он зла не помнит, помнит только город –
Просторный, гулкий,
И плеск воды, и северное лето
С авророй пленной...
И шляются непойманные воры
В ночных проулках,
И пересвистываются поэты
В садах вселенной.

* *

«Б-г – это совесть», – сказала бабушка Вера.
Под утюгом орошенная блузка дымилась.
Б-г в этот миг, обнаружив меня у торшера,
щелкнул разок по затылку, и вот – не забылось.
Бабушка так говорила о глаженной блузке:
«Вещь – совершенно другая! ведь правда?
ты видишь?»
С дедом они перекрикивались по-французски,
только потом я узнала, что это идиш.

Дед же Наум учил меня бегать и драться
и по-латыни ворчал, что хомини хомо –
волк. Я не верила деду, я верила в братство,
в дружество, равенство, счастье и бегство
из дома.

А еще так смешно говорила бабушка Вера:
«Честью клянусь», не просто «честное слово».
«Б-га гневишь, – вздыхала, – ну что за манера!
Ты вот поставь-ка себя на место другого».

* * *

Англичане мои! младенческая мечта –
быть как вы: я и спину старалась держать прямее.
Но не складывалась иронически линия рта,
и подрагивала губа, твердеть не умея.

Героический Вальтер Скотт! Убийственный Свифт!
Безупречный джентльмен с Бейкер-стрит! В самом деле,
коль родился садовником, волен ты делать вид,
что цветы тебе надоели. Все надоели.

Сэр, не правда ли? Правда, сэр... Это скрип дверей,
это входит дедушка Диккенс. Я в детстве даже
обижаться не стала, что гнусный Феджин – еврей,
как у Гоголя отрицательные персонажи.

Нет, любовь моя – словно крепость: в ее стенах
мирно дремлют ягненок с тигром и черт с младенцем,
и скелет в чулане – точней, обгорелый прах,

потому что сэр Уинстон Черчилль знал про Освенцим.

Исход

Я вот думаю: как они шли по морскому дну,
когда хлябь расчесали для них на прямой пробор?
Под ногами чавкало, и с двух сторон в высоту
уходили стены, сплошной водяной коридор.

Малыши на руках, а постарше-то ребятня
отставала небось, кричала: «Смотри, смотри!»
И нельзя же было мимо пройти, не подняв
хоть одну ракушку, розовую внутри?
А какие чудища встречались им на пути!
А какие щупальца тянулись из толщи стен!
И не все понимали, зачем им туда идти,
и не все вспоминали, что сзади погоня и плен.

А когда ударила в бубен пророчица Мириам
и морские стены, с грохотом вновь сойдясь,
раздавили коней, расплющили египтян, –
содрогнулись они или сразу пустились в пляс?

* * *

Мимо Николаевых,
Князевых и Сориных,
Звягиных, Наумиков
и Кольцовых-Цзен, –
в гости к папе я иду
тропкою протóренной:
тесно на Ваганькове,
я иду бочком.

На Донском просторнее,
вот пойду я к бабушке –
Майя Кристалинская
улыбнется мне,
стюардессы, летчики,
где-то тут и бабушка:
вон она, за Фрумою
Лазаревной Щорс.

И скажу я бабушке:
– Я была у дедушки,
все там аккуратненько,
только нет цветов.
На плиту гранитную
положила камушек:
так у них положено,
камни да трава.

Бабушка и дедушка,
век вы спали рядышком.
В разных полушариях
как вам спится врозь?
С неба скажет бабушка:
– Ты уроки сделала?

Не теряй-ка времени,
музыкой займись.

Публикацию подготовил Асар Эпель

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ТРУДЫ И ДНИ ШИМОНА ДУБНОВА

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИКА

Александр Локшин

Архитекторами еврейской историографии принято считать немецко-еврейского историка Генриха (Гирша) Греца (1817–1891), русско-еврейского Шимона (Семена) Дубнова (1860–1941) и трудившегося многие годы в Соединенных Штатах Сало Барона (1895–1989). Из этих троих фигура Дубнова в наибольшей степени привлекала и привлекает внимание ученых и публицистов. И это не случайно. Дубнов – автор 10-томной «Всемирной истории еврейского народа» (недавно переизданной издательством «Мосты культуры»), выдающийся представитель и выразитель еврейской диаспоры, теоретик диаспорального национализма, общественный деятель, политик и мемуарист. Его смерть в огне Катастрофы стала символом трагедии всего восточноевропейского еврейства.

№ 522

Паспортная книжка вся почти лить. Выдана от метислов
 со литванского староства Метиславской губернии твара Иветом
 второго года мая итеца, 1^{го} дня метиславскому литванскому Сми
 Мерову Дубову. Владыцез книжки: 1) Имя, отчество, фамилия
 Сми Меров Дубов. 2) Звание: литванин. 3) Время рождения и
 возраст: сорок два года. 4) Вероисповедание: иудейское. 5) Рода зак
 тий: литература. 6) Состоит ли или состоял ли в брак: ожен
 7) Отношение к отбыванию военной повинности: в 1881 году освоб
 оден навегда от военной службы. 8) Документы, на основании ко
 рых выдана паспортная книжка: по последний списку за № 2.
 9) Подпис владыцез книжки: (подпись). 10) Лица внесенных в п
 паспортную книжку на основании ст. 9 и 10 положен о видах на о
 тельство: жена Сми Мерова Дубова, Ида Хашова 42 л., сын
 Хашим Яков 15 л. и дочери София 17 л. и Ольга 16 л. Видя сего
 отчитана единственно в твое, равноосемилет в означенной
 от литовал, от владыцез вида разрешается временно пребы
 ние или постоянное жителство. Метиславский литванский с
 роета. (подпись). (и. н.)

я, нижеподписавшийся, удостоверяю, истинность ст
 Копия с подлинника, представленная в лить, Ивану
 Антоновичу Борвику, исправляющему должность Ви
 ленского нотариуса, Александра Федоровича Бордоноса,
 в конторю его по Мрицкевой улице, в доме
В. Кимина, № 402, Мрицкевой уличы, Копия
наим Яковейвич Кайдукевичем, милу
исемь Владимир Викентий по Новгородской
улицы, Василь Маркович

При сличении мною этой Копии с подлинником в
 последний подлинник, приписок загорнутых слов и
 чьихих особенностей небыло. Подлинник герб
 вашим ебураем неотпечать. 1904 года зевруаил
 28 вая. По ресепции 1398



И. Копия [Signature]

**Паспортная книга Семена Марковича
Дубнова. 1904 год**

Отныне мы имеем научную (или «почти» научную – о чем ниже) биографию Дубнова, написанную петербургским историком Виктором Кельнером^[1]. Перед автором стояла очень непростая задача: необходимо было освоить и ввести в научный оборот широкую и разнообразную источниковую базу. Творческое и эпистолярное наследие Дубнова огромно и разбросано по архивам разных стран: Российский государственный исторический архив и Отдел рукописей Российской национальной библиотеки в Петербурге, Государственный архив РФ и Архив Академии наук в Москве, Библиотека Академии наук Украины им. В.И. Вернадского в Киеве, Центральный архив истории еврейского народа и Отдел рукописей Библиотеки Еврейского университета в Иерусалиме, Институт еврейских исследований в Нью-Йорке. «Фактически нет, – отмечает Кельнер, – ни одного тематического законченного круга источников, который бы полностью находился в одном из этих архивов». К тому же эти материалы, как и труды Дубнова, написаны на разных языках: русском, немецком, иврите, английском.

В ходе работы Кельнер пришел к пониманию предела своих возможностей, о чем откровенно сообщает читателю: «Одному исследователю не под силу освоить весь комплекс источников, осмыслить во всей полноте и многообразии историю становления и эволюции его (Дубнова. – А. Л.) научных и политических взглядов». В результате автор сосредоточился главным образом на «русских» аспектах деятельности Дубнова, попытался осветить его путь как историка российского еврейства, публициста и общественного деятеля.

Еще одну проблему, которая с неизбежностью встала бы перед любым автором, взявшимся за создание биографии Дубнова, можно с известной долей приблизительности определить как методологическую. Дубнов оставил три тома воспоминаний, куда вошли и обширные фрагменты дневников ученого^[2]. Эти мемуары обладают необыкновенной силой интеллектуального, нравственного и эмоционального воздействия. Тем не менее Кельнер смог преодолеть обаяние дубновского видения и представить собственное прочтение биографии и трудов великого историка. Среди привлеченных автором монографии «альтернативных» эпистолярных и мемуарных документов – целый комплекс материалов, связанных с именем вольного и невольного соперника Дубнова, историка и журналиста Саула Гинзбурга, воспоминания дочери Дубнова – Софьи Дубновой-Эрлих, мемуары и дневники Матвея Кагана, письма Марка Вишницера, Семена Фруга, Хаима Житловского, Семена Ан-ского, Генриха Слиозберга, Шмуэля-Лейба Цитрона, Залмана Шазара (Рубашова) и многих других.

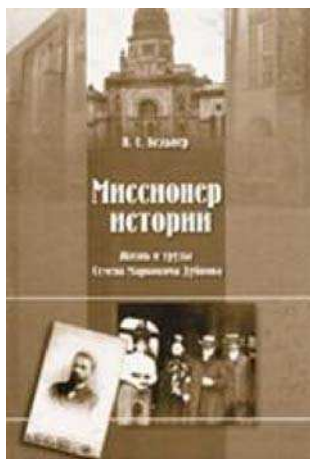
О выходе биографа за пределы парадигмы «Дубнов о Дубнове» недвусмысленно сигнализирует уже первая глава монографии, «Корни», где Кельнер касается (опираясь на работы известного историка Самуила Городецкого) генеалогии рода Дубновых, возводя его к знаменитому средневековому талмудисту, известному под акронимом Маараль из Праги. Сам Дубнов, начавший в мемуарах свою родословную с кануна присоединения земель Речи Посполитой к Российской империи, ни словом не обмолвился о знаменитом пращуре, вошедшем в еврейскую, а позднее и в европейскую литературу как легендарный создатель Голема. Размышляя, чем было вызвано подобное «пренебрежение», Кельнер пишет: «Сомнительно, чтобы семейное предание не сохранило имя этого великого предка» – и делает вполне логичное предположение, что, не имея доказательств, «Дубнов как ученый не желал уподобляться тем... которые смело

возводили свое происхождение к святым мученикам Средневековья, великим раввинам, талмудистам и штадланам».

Впрочем, один момент в этой главе вызывает недоумение. Представляя достаточно известную историю формирования юного Дубнова, его отношения к еврейской ортодоксальной традиции, говоря о литературе, которая повлияла на мирозерцание Дубнова и тысяч других еврейских юношей и девушек, Кельнер утверждает, что «невозможно дать объективный ответ на один из коренных вопросов еврейской истории в России конца XIX – начала XX века: почему значительная часть еврейской молодежи пренебрегла национальными интересами и ушла в русское революционное движение». Странная позиция для исследователя, ведь разнообразные ответы на этот вопрос можно найти в богатой мемуарной и исследовательской литературе. Здесь нет возможности рассматривать эту важную проблему, отметим лишь, что в период интеллектуального и идейного формирования Дубнова еврейское национальное движение в России еще практически отсутствовало, и именно народничество давало мыслящей еврейской молодежи возможность выразить свое неприятие существующих порядков. Возникшие же в начале 1880-х годов палестинофильские общества, к которым примкнул любимый брат Шимона Вольф, были достаточно маргинальны, и не они определяли погоду в среде народившейся русско-еврейской интеллигенции.

Обширная вторая глава посвящена 1880-м годам – десятилетию, проведенному Дубновым в Петербурге. Оказавшись в столице империи, провинциальный юноша за несколько лет становится одним из ведущих авторов русско-еврейских изданий. Он пишет на историко-философские темы, публикует статьи и по актуальным вопросам: эмиграция, обнародование «Временных правил», означавших переход правительства Александра III от политики интеграции прежнего царствования к мерам, направленным на сегрегацию российского еврейства. В те же годы Дубнов начинает исследование по истории хасидизма, занимается историей лжемессиянства, выступает как переводчик. Жизненный и творческий опыт, приобретенный в этот период, подготовил Дубнова к осознанию его предназначения. В начале 1892 года он записал в дневнике: «Моя цель жизни выяснилась: распространение исторических знаний о еврействе и специальная разработка истории русских евреев. Я стал как бы миссионером истории»^[3]. Странно, что эта цитата не вошла в основной текст – ведь именно она использована Кельнером в названии его книги. Однако эту фразу можно найти лишь в приложении, в хронике жизни и деятельности Дубнова.

Одесскому периоду (1890–1903 годы) жизни Дубнова посвящены третья и четвертая главы. Именно тогда историк обратился к еврейской общественности с призывом начать изучение истории русских евреев, сформулировал основные положения своей исторической концепции и начал работу над «Письмами о старом и новом еврействе», где обосновал идею еврейской автономии. Как отмечает Кельнер, историзм Дубнов «провозгласил национальной идеей. Автономизм, истоки которого ученый находил в исторической традиции еврейского общинного самоуправления, он сделал идеологией борьбы народа в диаспоре за гражданское и политическое полноправие».



Кельнер пишет об Одессе конца XIX века как о городе, «превратившемся в южную столицу империи». Но он явно преувеличивает роль Одессы того времени. Расцвет Одессы как города и порта пришелся на более ранний период: дореформенную и первые десятилетия пореформенной эпохи. После погромов начала 1880-х годов в связи с напряженными межнациональными отношениями, а также по экономическим причинам Одесса вступила в полосу затяжного кризиса[4].

Пятая глава книги, «На идейных баррикадах», представляет Дубнова как политика, состоявшего в канун и во время революции 1905–1907 годов, создателя и идеолога Еврейской народной партии (Volkspartei). В последующих главах детально прослеживается работа Дубнова над его историографической концепцией, рассказывается об общественной деятельности историка. Подробно описана семейная драма Дубновых – крещение их дочери Ольги. Этот факт повлиял на оценки историком событий современности и далекого прошлого. В его письме «Об уходящих (Декларация о выкрестах)» замешано и личное чувство.

Одни из самых интересных страниц книги посвящены работе Дубнова в 1919–1920 годах в Комиссии для издания документов о ритуальных процессах в России. В работе Комиссии приняли участие как русские историки, так и еврейские, однако в процессе деятельности выявились принципиальные разногласия между ее участниками. Как замечает Кельнер, одна часть Комиссии желала опубликовать документы по ритуальным процессам лишь как «материал для размышления», другая же стремилась еще раз доказать всю абсурдность векового заблуждения. И все же Комиссия прекратила свое существование не из-за внутренних расхождений, а из-за стремления новых властей взять под жесткий контроль все еврейские организации, в том числе научные. Работая в Комиссии и тесно соприкасаясь с монархически и консервативно настроенными историками, Дубнов осознал, что «русское профессиональное сообщество не готово включить в свои ряды еврейских собратьев, а многие его представители опутаны антисемитской мифологией». Этот вывод, увы, не потерял актуальности и в наши дни.

Седьмая глава заканчивается эмиграцией Дубнова и его жены из большевистской России в апреле 1922 года. Завершающая глава, «В европейских сумерках», посвящена последним годам жизни ученого, его трудам и дням в европейских странах: Литве, Германии и, наконец, в Латвии, где он обрел мученическую смерть и научное бессмертие.

Одно из достоинств работы Кельнера – реконструкция отношений Дубнова с людьми, окружавшими его в разные периоды жизни: Авраамом Гаркави, Ахад а-Амом, Юлием Гессеном, Шолом-Алейхемом, Ароном Перельманом, Хаймом-Нахманом

Бяликом, Моше-Лейбом Лилиенблюмом, Бен Ами и многими другими публицистами, писателями, учеными. Описаны в книге и контакты, которые сложились у Дубнова с издательством «Брокгауз и Ефрон», выпускавшим «Еврейскую энциклопедию», с издательством «Мир», надеявшимся на его участие в многотомной «Истории еврейского народа». Кельнер не только перечисляет основные вехи биографии Дубнова, но и передает саму атмосферу эпохи.

Дубнова как человека и историка подчас отличала редкая прозорливость. Уже в 1918 году он высказывает убеждение, что общество, построенное на отрицании демократических принципов, рано или поздно придет к возрождению крайних форм национализма, к государственному антисемитизму, что национальная еврейская жизнь в России будет уничтожена. Дубнов сразу и однозначно не принял власти большевиков и приложил немало усилий, чтобы покинуть Советскую Россию. Точно так же, как в 1922 году он оставил Петроград, после прихода к власти в Германии нацистов он был вынужден покинуть Берлин и переехать в Ригу. На момент вторжения гитлеровцев в Польшу Дубнов имеет на руках американскую визу, но принимает решение остаться в Латвии. Американским друзьям, с нетерпением ожидавшим его, он пишет: «Поездка за океан более опасна для моего душевного равновесия, чем пребывание здесь... Балтийские нейтральные страны могут пока быть более спокойными, чем другие». В другом письме он сообщал, что далек от окружающей его «панической атмосферы»: «Я борюсь с этими паникерами, которые лишают нас последних запасов энергии». Однако уже через несколько месяцев Советский Союз аннексирует страны Балтии, а через год вермахт войдет в Ригу.

Немало биографов Дубнова задавались вопросом: почему он не уехал ни в Америку, ни в Палестину? Традиционный ответ, повторяемый Кельнером, гласит: «Он остался со своим народом». Однако, скорее всего, на сей раз чувство прозорливости изменило восьмидесятилетнему ученому, который оказался заложником своей теории о «вечном народе». Историк не пророк, его взоры обращены в прошлое. Он, как и другие смертные, нередко ошибается в оценке происходящего и прогнозах на будущее. Младший современник Дубнова, крупнейший еврейский историк Сало Барон, считал, что включение в состав Третьего рейха новых земель с проживающими на них народами превратит Германию в многонациональную державу и укрепит в ней начала толерантности! Он также оставался в плену созданной им «антилакримозной» концепции еврейской истории. В то время он еще, разумеется, не знал, что через 20 лет ему предстоит быть свидетелем обвинения на процессе Эйхмана. Впрочем, Барон взирал на разворачивавшуюся трагедию из-за океана. Трагедия же Дубнова была и трагедией европейского еврейства, истории которого он посвятил всю жизнь, и в этом высоком смысле он действительно остался со своим народом.

Работа Кельнера, как любой фундаментальный труд, не лишена неточностей. Так, сообщая о гибели зятя Дубнова, одного из руководителей польского Бунда Генриха Эрлиха, автор пишет, что тот погиб в декабре 1941 года в куйбышевской тюрьме. Это мнение, бытовавшее в литературе, опирается на лживую ноту МИД СССР о казни Эрлиха и Алтера за «систематическую предательскую деятельность», выразившуюся в призыве «прекратить кровопролитие и немедленно заключить мир с фашистской Германией». Однако публикация рассекреченных архивных документов свидетельствует, что Эрлих покончил с собой 14 мая 1942 года в Куйбышевской тюрьме НКВД^[5].

Другой момент, которого хотелось бы коснуться, относится к частому употреблению Кельнером прилагательного «идишистский» для характеристики автора, писавшего на идише, или издания на этом языке. Однако в современной

исследовательской литературе используется более адекватный термин «идишский»: идишская газета «Дер Фрайнд», классик идишской литературы Менделе Мойхер-Сфорим и т. д. Идишист же – это исследователь идиша или тот, кто является сторонником использования именно этого языка (а не, скажем, иврита) в различных еврейских культурных и общественных начинаниях. Именно таких взглядов придерживался, скажем, знакомый Дубнова Хаим Житловский; на такой позиции стоял и Бунд.



Семен Маркович Дубнов. 1898 год

В современной российской иудаике Кельнер зарекомендовал себя как тонкий и вдумчивый источниковед, выявивший, опубликовавший и прокомментировавший множество материалов, посвященных русскому еврейству. Новая книга – еще одно подтверждение его источниковедческой квалификации. Несколько слабее историографическая часть. Свою книгу Кельнер характеризует как первую научную биографию Дубнова – однако она больше напоминает научно-популярные жизнеописания из серии «Жизнь замечательных людей».

Академический анализ творчества «миссионера истории», несомненно, требует определить место Дубнова и его наследия в современной историографии. Скажем, Дубнов был первым, кто описал с научных позиций возникновение и развитие хасидизма и жизнь его основателя Бааль-Шем-Това. После него к этому вопросу обращались и по сей день обращаются многие исследователи. Однако без всяких объяснений автор выводит за рамки своей книги крайне важный аспект: насколько разделяются современной историографией взгляды Дубнова на хасидизм – как, впрочем, и на иные темы, которых касался Дубнов-историк. Ведь целый ряд оценок и выводов Дубнова, касающихся хасидизма, еврейского самоуправления в Речи Посполитой, причин и инициаторов погромов в Российской империи, подвергнуты серьезной переоценке историками следующих поколений, опиравшимися на новые источники и пользовавшимся иными

методами. И это ничуть не принижает роль «миссионера истории». В современной российской историографии, например, переосмыслены многие трактовки Карамзина, Соловьева или Ключевского, что не мешает им оставаться общепризнанными классиками исторической науки.

Ничего не сказал Кельнер и о том, как сегодняшняя иудаика относится к дубновской «биосоциологической» концепции, к его интерпретации еврейской истории как процесса смены господствующих национально-культурных центров. А ведь это основа автономистской концепции Дубнова: на каждом историческом этапе своего рассеяния еврейский народ, по мнению историка, имел центр, который «по интенсивности своей внутренней жизни и широте национально-культурной автономии стоял выше других центров и влиял на них». По сути, отсутствует в книге и научная оценка Дубнова как политика и создателя теории автономизма для восточноевропейского еврейства.

Наконец, нерешенной остается проблема, обозначенная израильским историком Авраамом Гринбаумом, утверждавшим, что Дубнов не реализовал свое намерение создать *opus magnum*, посвященный истории польско-русского еврейства[6]. С этим мнением Кельнер не согласен. Однако некоторые приводимые им факты позволяют думать иначе. В 1900 году сорокалетний Дубнов составил план на оставшуюся часть жизни. В 1906-м он намеревался приступить к своему, как он писал, «последнему труду» – «Истории русских евреев», работе над которой хотел посвятить четверть века. Но этот замысел осуществлен не был.

Однако, высказывая все эти сомнения, нельзя забывать, что труд Кельнера – плод многолетнего научного творчества, неустанного поиска в архивах разных стран, каждодневного погружения в эпоху, когда жил и погиб великий историк. Еще несколько лет назад такая книга вряд ли могла быть написана. Монография Кельнера не только доказательство таланта и трудолюбия ее автора – это свидетельство успехов возрождающейся российской иудаики в целом. Автор книги мог бы сказать вслед за древними: «Feci quod potui, faciant meliora potentes». Придет новое поколение исследователей, и, может быть, ему удастся что-то сделать лучше и иначе.

[1] Кельнер В.Е. Миссионер истории: жизнь и труды Семена Марковича Дубнова. С.-Пб.: МПРЪ, 2008.

[2] Дубнов С.М. Книга жизни. Материалы для истории моего времени. Воспоминания и размышления. С.-Пб.: Петербургское востоковедение, 1998.

[3] Там же. С. 165.

[4] См. об этом в фундаментальном исследовании: Herlihy P. Odessa: A History. 1794–1914. Harvard University Press, 1991.

[5] Еврейский антифашистский комитет в СССР. 1941–1948. Документированная история. М.: Международные отношения, 1996. С. 25.

[6] Greenbaum A. Dubnov as Russian and General Jewish Historian // A Missionary for History. Essays in Honor of Simon Dubnov / Ed. by K. Groberg and A. Greenbaum. University of Minnesota, 1998. P. 1.

СОВЕТСКИЕ ДРЕВНОСТИ

Борис Гройс

Гриша (Григорий Давидович) Брускин известен прежде всего как художник (см. также статью Ж. Васильевой в рубрике «Табель о рамках»). В последнее время, однако, он не менее активно выступает в качестве писателя, строя сложноструктурированные коллажи из поэтических текстов, фрагментов мемуарной прозы, коротких историй и т. д. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышли четыре его книги: «Прошедшее время несовершенного вида», «Мысленно вами», «Подробности письмом», «Прямые и косвенные дополнения». Сейчас «НЛО» готовит к печати сборник «В сторону Брускина», куда войдут материалы о художнике и его собственные тексты. Статью культуролога Бориса Гройса «Советские древности» из этой книги «Лехаим» предлагает вниманию читателей.



Наше время часто называют временем высоких скоростей. Кажется, все и везде происходит быстрее: поездки, коммерческие сделки, обмен информацией. Но что бы ни говорилось о скорости современной цивилизации в целом, по крайней мере, один процесс за последние годы ускорился совершенно явно и бесспорно – процесс забывания. Тенденции, темы, события, стили исчезают из современной памяти со скоростью, невысказанной еще 20 лет назад. Ускорение забывания связано, среди многих прочих обстоятельств, и с тем, что 20 лет назад исчез Советский Союз, с отчаянным упрямством державшийся за память о марксизме XIX века. С концом Советского Союза процесс забывания освободился от последнего исторического препятствия, и советский коммунизм сам стал частью новой, современной древности. Сегодня нам кажется, что холодная война заняла свое историческое место рядом с Троянской войной. Следы советской цивилизации были максимально спешно и успешно стерты с лица земли, включая бывшую территорию Советского Союза. Поэтому вполне логично, что Гриша Брускин заглядывает под землю в попытке обнаружить скрытые обломки этой древней цивилизации. И конечно же, не случайно место его археологических находок – Италия: советская античность эстетически связана с греческой и римской античностью.

Эта связь – в спорте. Современный спорт – это Ренессанс для масс, попытка реализовать классицистский идеал гуманизма в массовом масштабе. Сегодня не искусство, а спорт возводит нашу культуру к ее античным корням. С другой стороны, современное эстетическое чувство отвергает классицистские идеалы прекрасного тела и героической позы, объявляя их китчем. Поэтому советское официальное искусство, остававшееся в классицистской традиции и прославлявшее энтузиазм масс, и кажется нам таким устрашающе-китчевым. Но почему же «подлинные» обломки греческой и римской античности не воспринимаются нами как китч, в отличие от их классицистских, советских и нацистских, воспроизведений? Ответ вполне очевиден: греческие и римские скульптуры дошли до нас уже поврежденными и обезображенными. Тем самым они удовлетворяют наше пост-иудео-христианское желание видеть идола сброшенными и разбитыми. Наш спорт прославляет победителей, наше искусство любит проигравших – и таким образом каждый из двух великих источников западной цивилизации мирно обретает свою площадку в современной культуре. Гриша Брускин, как всякий настоящий художник, стремится противостоять забыванию и вносит прошлое в современность. Но как современный художник он понимает, что такая операция возможна в единственном случае: когда прошлое не просто скопировано или воспроизведено, а явлено в поврежденной, искаженной форме, когда процесс забывания аллегорически представляется видимыми знаками фрагментации и разложения.

Поэтому Брускин имитирует археологическую практику обращения с предметами античного искусства, выкапывая скульптуры, сделанные в «советской» манере, – скульптуры, которые он сам же создал и закопал, прежде чем «обнаружил» и продемонстрировал их. Художник не только показывает искусственный, заданный характер советского искусства, которое претендовало на то, чтобы изображать советских людей такими, какими они являются в действительности. Он еще иронично комментирует широко известный дискурс о памяти, которую якобы можно восстановить по следам, сохранившимся на поверхности и в материальной глубине вещей. В своей работе «О происхождении произведения искусства» Мартин Хайдеггер приводит в качестве примера изображение ботинок на одной из картин Ван Гога как манифестацию памяти: эти потертые, потрепанные ботинки для Хайдеггера – подлинные свидетели чьей-то земной жизни, полной трудов и потерь. Но что, если эти ботинки будут потертые и потрепаны искусственным образом, так ни разу и не будучи использованными? Тогда эффект памяти будет воспроизведен также искусственно. Прошлое – наше изобретение, и мы можем имитировать следы повреждений и разложения столь же профессионально, как производим эффект абсолютной новизны. В этом смысле археология древностей становится удобной площадкой для модернистского и современного искусства. Да и в самом деле, зачем нам нужно ждать, пока деструктивные силы природы произведут аутентичную деформацию произведения искусства, пришедшего из прошлого? Мы сами можем добиться такого же успеха гораздо быстрее, на высоких скоростях. По сути дела, еще в 80-х годах, в советское время, живший тогда в Москве Брускин демонстрировал советскую реальность как вещь из прошлого – уже истертую, на грани исчезновения.

На знаменитой картине Брускина «Фундаментальный лексикон» (1986) – в известном смысле, ключевой для позднейших его работ – изображены призрачно-бледные, неподвижные человеческие фигуры, держащие в руках раскрашенные знаки и образы. Эти фигуры служат аллегориями коммунизма, труда, искусства, иудаизма, любви и т. д., напоминая барочные фигуры, служившие аллегориями Церкви или Справедливости. Но аллегорические фигуры Брускина еще более стандартизованы и в то же время анемичны, почти бесплотны. Их индивидуальные черты стерты, они являют собой фантомы «типичных представителей» классов и социальных групп советского населения – девушек, солдат, рабочих, интеллигенции, художников. Фигуры Брускина

пребывают в абстрактном пространстве идеологических знаков, «вернувшихся из небытия», в сумеречной зоне между образом и иероглифом. В этом плане «Фундаментальный лексикон» Брускина уже имеет квазиархеологическое измерение: он напоминает египетские иероглифы, ожидающие расшифровки. Но расшифровки так и не происходит: вместо этого одна система аллегорий перекодируется в другую. А когда аллегория объясняется через аллегория, ее прямой смысл ускользает от нас, становится необнаруживаемым, несуществующим, непроницаемым.

Величайшим теоретиком аллегории в XX веке был Вальтер Беньямин. Его интерес к аллегории продиктован теми же причинами, которые привели к аллегории Брускина. Если Брускин осознает себя прежде всего советским евреем, то Беньямин осознавал себя «евреем в марксизме». Теория аллегории сформулирована им в знаменитом труде «Происхождение немецкой барочной драмы»: аллегория – это инструмент, с помощью которого показывается эфемерность, обреченность, тленность всего сущего. Аллегория нелицеприятна: она изображает предметы полумертвыми, изувеченными, разрушенными, ущербными. И именно их немощность и мертвый схематизм позволяют им предстать буквами, стать частью мессианского текста. Беньямин писал: «В то время как в символе <...> преображенный облик природы на мгновение приоткрывается в свете избавления, в аллегории <...> все несвоевременное, мучительное, неудачное, присущее истории изначально, складывается в черты некоего лица». И далее: «Здесь сердцевина аллегорического взгляда, барочного, светского представления истории как истории всемирных страданий; значимой она оказывается лишь в точках упадка... Однако раз природа изначально тленна, то, значит, она также изначально аллегорична». Тленность всего сущего понимается здесь в позитивном смысле: аллегория позволяет нам использовать вещи природы для разговора об истории. Человеческое тело неумолимо деградирует и распадается – это конечная точка всякой биографии. Империи разваливаются и гибнут, вместе со своими памятниками, институтами, символами, ритуалами и иерархиями – это конечные точки истории. Язычники гордятся и надеются, строя новые храмы, дворцы и машины: Беньямин называл этот род надежды мифологическим. Только неверие в возможность радикального обновления мира открывает путь иной надежде – надежде на его мессианское преодоление. Миру по самой его природе присуща ветхость, он распадается. Но именно одряхление, обветшание дает миру возможность стать аллегорией избавления и освобождения. Дряхлость мира делает его слишком слабым, чтобы удержать тех, кто следует мессианскому обету и желает освободиться от мира. Поэтому Беньямин неизменно настаивает на слабости, увечности, болезненности и старости мира, – в чем он и видит единственный шанс на избавление.



Борис Гройс (здесь и на предыдущей полосе) на выставке Гриши Брускина «Гибель богов». Галерея Мальборо. Нью-Йорк. 2009 год

В этом смысле «советские» работы Брускина подчеркнута беньяминовские. В них полуразрушенные, бледные фигуры, «призраки коммунизма», неловко застрявшие на Земле, кажутся уже «неотмирными». Разумеется, Брускин передает атмосферу периода стагнации, упадка, характерного для «позднего» советского коммунизма 1970–1980 годов. Но художник наблюдает за упадком имперского величия без всякого злорадства, даже с сочувствием: он признает, что сам является частью этого процесса. Брускин рассматривает процесс заката советской империи в перспективе Ветхого Завета, обещающей закат и падение всех империй. Но в то же время его увлекает в первую очередь эстетическая сторона этого упадка – эстетика упадка как таковая. И именно эта увлеченность побуждает его сейчас воспроизвести упадок советской культуры в виде художественного перформанса – через 20 лет после самого исторического события. Известна фраза Маркса о том, что история повторяется (неосознанно) в виде фарса. Брускин воспроизводит ее как осознанный фарс, т. е. как искусство. То, что когда-то было историей, возвращается сегодня как художественное событие, как перформанс.

Авторизованный перевод с английского Юрия Табака

КАК ВСЕ ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Елена Римон

Израильский бестселлер последних лет – роман Йохи Брандес «Третья книга Царей» посвящен одному из самых запутанных периодов библейской истории: созданию единого еврейского государства и его распаду на Израильское и Иудейское царства. Эта история изложена в Первой и Второй книгах Царей (по-русски – книги Царств), в книгах Хроник (на иврите – Диврей а-ямим, по-русски – Паралипоменон) и в книгах пророка Шмуэля.



Библейские герои – личности сложные. Они тем более сложны, что библейский текст скуп на психологические мотивировки. Первый еврейский царь Шауль – герой и храбрец, но одновременно – мрачный параноик, мучимый депрессией. Он любит Давида и преследует его, пытаясь убить. Царевна Михаль добивается от отца разрешения на скандальный брак с бывшим пастухом – но, увидев, как он пляшет перед Ковчегом, начинает его презирать. Личность Давида в библейском тексте все время поворачивается разными гранями. Подросток, который убивает великана Голиафа, решая исход битвы между народом Израиля и филистимлянами. Гениальный музыкант и поэт, который сочиняет мелодии, исцеляющие душу царя Шауля, а также большинство текстов из книги Псалмов. Идеальный любовник, перед которым не может устоять ни одна женщина. Бесстрашный воин и удачливый полководец. Негодяй, пославший на смерть Урию, чтобы скрыть свой грех с его женой Бат-Шевой, но затем раскаявшийся. Несчастный отец многочисленных сыновей от разных жен: сыновья перегрызли в борьбе за трон, любимый сын Авшалом восстал против отца и погиб. Да и как могло быть иначе, при том что у красавца царя постепенно образовался целый гарем, а порядок престолонаследия был очень неопределенный.

В конце концов трон унаследовал сын Бат-Шевы – Шломо, прославившийся великой мудростью. Библия рассказывает о его мудрых судебных решениях, а традиция сообщает, что он понимал язык животных и владел тайнами магии. Шломо расширил пределы государства, снарядил несколько исследовательских экспедиций и построил Храм. Но его наследник – Рехавам – был неудачливым правителем, и еврейское государство распалось на два царства – Южное (Иудею) и Северное (Израиль). Десять колен Израиля объединил под своей властью израильский царь Иеровоам бен Нават, тоже очень сложный персонаж. Библейские пророки обвиняли Израильское царство в

пристрастии к идолопоклонству и колдовству. В конце концов оно было разрушено, а десять колен ассирийцы угнали в плен, и с тех пор судьба их неизвестна. Мы, современные евреи, – потомки жителей Иудеи, колен Йеуды и Леви, которые тоже попали в изгнание, но сумели вернуться и отстроить Храм. (Об Иудее пророки тоже мало говорили хорошего, но все же, по их мнению, с идолопоклонством там было несколько полегче.)

Объединение колен Израиля под властью Давида обычно считается положительным процессом – превращение разрозненных враждующих колен, у которых были свои праздники и обряды и особые диалектные особенности, в единый народ. И сам Давид, несмотря на некоторые его нехорошие поступки, остается любимым библейским героем. В конце времен царь-помазанник, потомок Давида, вновь отстроит Храм и возродит к новой жизни не только еврейский народ, но и все человечество – в этом солидарны еврейские и христианские толкования Писания.

Но в романе Брандес все не так.

Говорят, что машинистка, которая перепечатывала роман Томаса Манна «Иосиф и его братья», сказала писателю: «Ну вот, теперь я знаю, как это все было на самом деле...» Наверное, не может быть лучшего комплимента для прозаика, который берется за такую сложную задачу – переложить в рамках романа библейский текст. Именно эту цель – показать читателю, как оно было на самом деле, – поставила перед собой Брандес, поэтому в романе все время противопоставляются реальность и вымысел.

Роман состоит из трех частей. В первой некий юноша из колена Эфраима по имени Шлом-Ам («мир народу») рассказывает о своем детстве и юности и о том, как он оказался в Иерусалиме при дворе безумной царевны. Во второй части царевна, совершенно нормальная женщина по имени Михаль, рассказывает Шлом-Аму о своем неудачном браке с Давидом. В третьей выясняется, что Шлом-Ам – не кто иной, как Иеровоам («умножит народ»), речь идет о распаде еврейского государства и том, как Иеровоам стал царем. Поскольку рассказ ведется от имени очевидцев, предполагается, что они излагают факты.

Факты же просто сенсационные. Оказывается, Михаль вовсе не любила Давида, это было так, мимолетное увлечение. А любила она всю жизнь своего второго мужа Палтиэля, благородного пахаря и воина, предательски убитого по приказу Давида. Шауль – идеальный царь, прекрасный муж и отец, преданный своему народу и своей семье, скромный и ответственный. Плюс к тому он одарен пророческим даром, но отказывается от карьеры пророка потому, что должен возглавить сынов Израиля. И вовсе у него не было припадков безумия, все это клевета придворных летописцев Давида. Дети Шауля, принцессы Мейрав и Михаль и принц Йонатан, – патриоты, обожают простой народ и очень привязаны друг к другу, но их прекрасную семью разрушает авантюрист Давид, обладающий непонятным волшебным обаянием. Давид становится женихом старшей дочери Шауля Мейрав, но та его не любит, зато в него влюбляется Михаль, – впрочем, ненадолго, как уже было сказано. Йонатан тоже влюблен в Давида и из-за этого не хочет жениться. Михаль ревнует Давида к любви народа – она хочет, чтобы он все время проводил с ней, а не на армейских сборах. Поэтому она не препятствует интригам Авнера бен Нера против Давида – она хочет, чтобы Давид вернулся во дворец. Но Давид недоволен тем, что из главнокомандующего превратился в царского музыканта, он злится на Михаль и охладевает к ней. В конце концов Шауль узнает о том, что Давид готовится к пугчу и тайно собирает особую армию колена Йеуды. Но Михаль, которая чувствует себя

виноватой в том, что ее отец возненавидел Давида, помогает мужу бежать. Так заканчивается их семейная жизнь.

После побега Давид устраивается на службу к царю филистимского города Гата и выдает ему военные тайны Израиля, а затем возглавляет шайку разбойников-рэкетигов. И мало того (слушайте, слушайте!): вовсе не Давид убил Голиафа, этот наглец приписал себе подвиг скромного юноши Эльханана бен Яири. Давид – холодный и злой честолюбец, неспособный к любви и нежности. Его единственная страсть – власть. Михаль и Йонатан для него – ступеньки к трону. Он способствует возвышению колена Йеуды только потому, что стремится к власти. Став царем, он фальсифицирует историю, о чем рассказывает Мейрав:

Сын Ишаия нанял на службу множество писателей и поставил во главе их Серайю, самого талантливого писателя в Йеуде. Эта команда распространяет устрашающие рассказы о папе. Сегодня я услышала одну из историй от служанки во дворце... и почувствовала, что еще раз убивают папу... История настолько ужасная, что я не могу пересказать ее. Сыны Йеуды пытаются убедить народ Израиля, что папа не погиб смертью героя, защищая свой народ, а наказан Б-гом Израиля за свои грехи [II](#).

Ничто не может остановить Давида на пути к трону, даже клятвопреступление. Давид поклялся Шаулю, что сохранит жизнь его потомкам, но после его смерти приказал убить всех его сыновей и внуков. Но тут он просчитался: сын Михаль от Палтиэля успел завести роман с Цруей из колена Биньямина, и она в глубочайшей тайне родила ему сына. Вот этот-то правнук Шауля, единственный оставшийся в живых потомок царя, и есть Шлом-Ам, который позднее примет имя Иеровоам и станет царем Северного Царства.

На фоне этих сенсационных сообщений просто меркнут другие открытия. Михаль – вовсе не надменная принцесса, разлюбившая Давида оттого, что он унизил себя пляской перед Ковчегом. Это тоже клевета. На самом деле к тому времени Михаль уже давно поняла, что за обаянием Давида скрывается душевная пустота. Сама Михаль – серьезная, мудрая и в то же время простая и демократичная. В отличие от вульгарных жен, заполнивших дом Давидов после развода с ней, она безразлично отстраняется от интриг, связанных с престолонаследием.

Царь Шломо, сын мерзкой авантюристки Бат-Шевы, бездарно растратил государственную казну на никому не нужное строительство чудовищно дорогого Храма. В целом он полное ничтожество, которому придворные писатели льстиво приписали нечеловеческую мудрость. Неудивительно, что сын Шломо Рехавам, столь же бестолковый, как его отец, теряет власть над десятью коленами. Пророк Натан – мастер черного пиара. Пророк Шмуэль – прожженный политический комментатор, напоминающий скандально известного Гидеона Леви из газеты «А-арец». Вообще, вся история Древнего Израиля оказывается удивительно похожей на сегодняшнюю, когда различные группы населения и общины без конца делят власть при помощи голосований в кнессете и взаимных нападок в прессе.

История, которую рассказывают два повествователя в трех частях романа, очень занимательна. Динамичный сюжет, полный загадок и разгадок, – большое достоинство «Третьей книги Царств». Первая часть романа повествует о юношеском бунте Шлом-Ама против родителей и против власти иерусалимского царя, о том, как он ищет разгадку своего происхождения и таким образом – свою сущность. Все семейные истории, которые он слышит в детстве, оказываются неправдой. В каждой главе он получает новый кусочек паззла и заново складывает всю картинку. И каждый раз история

выходит другой. Мать и отец оказываются приемными родителями. Родная его мать, Цруя, прожила всю жизнь в пещере прокаженных. Когда Шлом-Ам срывает покрывало с лица Цруи, она оказывается здоровой. Из рассказа Михаль во второй части романа Шлом-Ам узнает, что он ее внук, то есть правнук царя Шауля и законный претендент на престол. В третьей части Шлом-Ам становится царским наместником в области Эфраима и оказывается талантливым администратором и дипломатом. Он настоящий потомок Шауля – энергичный, скромный, преданный семье и народу. Неудивительно, что ему удается завоевать любовь простонародья, которому осточертело безумное мотовство Шломо и огромные налоги на строительство и содержание Храма. Шлом-Аму удается разложить налоговое бремя так, что основная его тяжесть ложится на богачей, а не на бедняков. В то же время ему удается убедить зажиточных людей, что лучше потерпеть, потому что альтернатива – полная разруха, так что они не ропщут. Поэтому, когда народ поднимается на бунт, Шлом-Аму удается возглавить «чистое восстание» – без всякого кровопролития отложиться от единого государства и стать царем Израильского царства. Последняя фраза романа – «Да живет Иеровоам, сын Невата, царь Израиля!» – проясняет все предыдущее повествование. «Ах вот кто такой этот Шлом-Ам!» – должен воскликнуть здесь читатель по замыслу автора...

Но зачем же Брандес переписывает историю с точки зрения Иеровоама? Должен же здесь быть какой-то смысл, какая-то идеологическая подкладка. О да, идеология этого романа не менее захватывающая, чем его сюжет. Но об этом мы поговорим в следующем номере.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

Книжные новинки

Жемчужина еврейской Атлантиды

Дер Нистер

Семья Машбер

Пер. с идиша М. Шамбадала; под общей ред. М. Крутикова

М.: Текст; Книжники, 2010. – 891 с. («Проза еврейской жизни».)



Решив завершить символистский этап своего творчества и перейти к реалистическому, идишский поэт, журналист и прозаик Пинхас Каганович, столь удачно скрывшийся под псевдонимом (Дер Нистер означает «скрытый [цадик]»), что его творчество лишь сейчас приоткрывается русскоязычному читателю, написал монументальную эпопею о двух с половиной братьях – уважаемом и состоятельном купце, известном и уважаемом странствующем хасиде и душевнобольном, мало влияющем на сюжет и редко заходящем в кадр, – а также об их друзьях, врагах, должниках и кредиторах. Получился роман отменно длинный, насыщенный и реалистический до этнографичности. От символизма, впрочем, в нем остались подаваемые в изобилии сны и весьма многозначительная топография.

«Семья Машбер» Дер Нистера (не путать с «Семьей Мускат» Башевиса Зингера) – не столько даже семейная сага, в которой должны быть и ups, и downs, сколько состоящий из одних почти downs роман-разрушение – процветающего бизнеса, человека, семейства и – намеком – общины, города и целого уклада:

Но посторонний человек, попав сюда, сразу же почувствует запах неладный. Он поймет, что скоро, очень скоро здесь запахнет падалью <...> что пороги, на которых сидят сторожа, – это пороги траура, что тяжелые запертые двери, замки и засовы никогда уже не будут заменены новыми, что для полноты картины посреди базарной площади следует поставить поминальную свечу.

Мир штетла и описывающая его идишская литература – этакая еврейская Атлантида, скрытая водами англо-, иврито- и русскоязычной новой еврейской культуры, а Дер Нистер – дважды скрытый житель этого затонувшего острова. Идишскую Атлантиду сначала десятилетиями топили, поборов жалость и ностальгию ради интеграции в современность и «большую культуру», теперь же вокруг нее плавают со всякими

приборами рафинированные водолазы-ученые, трепетные и в меру пафосные. И если какой ретроград захочет повторить в адрес идишской литературы расхожее «фе» – жаргонное, мол, провинциальное бытописание, – то водолазы ему доходчиво разъяснят, что идишские писатели и европейскую поэзию знали наизусть, и в Париже живали, и в лучших кругах вращались. А если кто упрется и скажет: хоть и вращались в лучших кругах, а сами-то все равно авторы вторичные и третьесортные, – то и тут водолазы не оплошают и растолкуют, что речь идет не об арьергарде гвардии, скажем, Серебряного века, а о самодостаточной гвардии со своими гениями, скрытыми гениями и просто талантами, со своими жанрами и литературными традициями, уходящими в глубь веков, со своей культурологической значимостью и, наконец, с целой наукой, которая эту гвардию изучает.

Оптика водолазной маски делает процесс знакомства с Атлантидой куда более оптимистичным, посему обязательно читайте роман вместе с чрезвычайно содержательным и уместно комплиментарным предисловием Михаила Крутикова. В случае же крайнего дефицита времени читайте одно предисловие, а роман оставьте на потом.

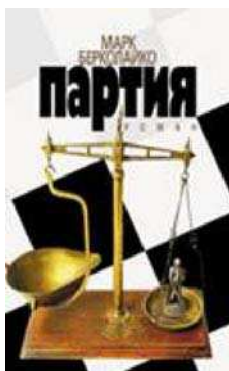
Давид Гарт

БИЗНЕСМЕНЫ ПРОТИВ ТОРКВЕМАД

Марк Берколайко

Партия: Роман и повесть

М.: Анаграмма, 2009. – 448 с.



Новая книга воронежского писателя, ученого и предпринимателя Марка Берколайко включает два произведения, которые на первый взгляд заметно различаются между собой – и по жанру, и по форме, и по стилистике, и, кстати, по объему тоже. Если повесть «Седер на Искровской», рассказывающая о судьбе семейства бакинских евреев, отчетливо документальна и явно тяготеет к художественной мемуаристике (персонажи повести – сам автор-рассказчик и его близкие), то заглавный роман являет собой сложносочиненное и многофигурное построение, прихотливо выстроенное в виде титанической шахматной партии, которую ведут сквозь века Создатель с Люцифером, он же Рафаэль. Линия «современности» (2003 год) в романе сюжетно привязана к эндшпилю Большой Игры, а все флэшбеки, упакованные в разделы «Дебют» и «Миттельшпиль», разведены друг от друга как в пространстве (Испания, Италия, Россия, Великобритания), так и во времени (от Цезаря до Черчилля).

Впрочем, при всем видимом несходстве, у мемуарного сочинения и сочинения беллетристического немало общего. Прежде всего, объединяют обе вещи образы главных героев – сильных личностей, творцов собственных судеб, людей, способных подняться до прежних высот даже после поражений и житейских катастроф.

В «Седере на Искровской» таким предстает дед рассказчика, могучий Герш Аврутин. Он родился в местечке, был учеником кузнеца, учился в хедере, закончил гимназию с золотой медалью, уехал получать образование в Европе, вернулся в Одессу уже будучи доктором химии Римского университета и магистром философии Сорбонны, вступил в совладение первым в России заводом по производству лимонной кислоты, все потерял при большевиках, переехал в Баку и начал все заново на новом месте, стал в СССР крупным спецом-нефтехимиком, был и в опале, и в фаворе, пережил «борьбу с космополитами», заработал орден Ленина (который, однако, почти не таясь называл бляшкой) и умер при Брежневе. «Родня, восхищенная интеллектуальным дедовым могуществом, тянулась к нему, как когда-то их предки в тоскливых местечках тянулись к раввину, ребе, чтобы поделиться последними новостями, чаще плохими, и полюбопытствовать, что говорится в Торе, в поучениях светочей еврейства о еще большем озлоблении и без того изрядно злого мира».

В «Партии» бывший боксер и честный предприниматель Георгий Бруткевич, 55 лет от роду, предстает таким же self-made man'ом, умеющим начать бизнес на пустом месте, увлечь людей и заработать там, где прочие терпели убытки: к примеру, возродить сельхозпроизводство в зоне рискованного земледелия (в городе Недогонеже, где разворачивается действие современных глав, легко угадывается Воронеж).

Отечественная литература уже испробовала на зубок подобных героев нашего времени (достаточно вспомнить олигархов из нашумевших романов Юлия Дубова или Юлии Латыниной), однако персонажи эти, как правило, представляли фигурами в лучшем случае амбивалентными, а в худшем – жесткими прагматиками, умеющими, если надо для дела, запросто пройти по человеческим головам. В отличие от них Бруткевич обходится без подлостей и не готов взлелеять свою удачу на чужих бедах. Да, писатель романтизирует своего героя, но при этом не превращает его в нечто картонно-схематическое, в эдакий «идеальный газ» из учебника физики. И хотя «в гнусные времена черное объявляется белым и кажется, что выбора нет», выбор всегда есть, подчеркивает автор. Как и Гершу Аврутину, Бруткевичу приходится жить под прессингом и постоянно принимать решения: бороться – или отступить, приспособиться – или пойти на принцип, свернуть налево и потерять коня – или свернуть направо и почти наверняка сложить буйну голову...

Сближают произведения не только герои, но и исторические параллели. Поступок Великого инквизитора Торквемады, который в XV веке задумывает изгнание евреев из Испании («еврейская кровь – это тавро, выжженное до рождения», «поганный народ, порча католической Испании... исчезнет»), «рифмуется» с едва не осуществившимся планом Сталина: автор вспоминает, как слышал разговоры о том, что «сучары-евреи-врачи-отравители изничтожают русских людей», как по городу уже ходили слухи о «предстоящей высылке евреев» и о составленных списках на депортацию и как его семья держала наготове собранные чемоданы.

К счастью, пойти по стопам Торквемады Сталину было не суждено: «В еврейских головах мелькнуло, что Сталин сгинул как раз перед Пуримом, а о “врачах-отравителях” заткнулись незадолго до Песаха... А Всевышний ли за нас заступился или соратники обожравшегося крови старика вдруг испугались, что слишком уж быстро

охватывает его безумие, – да какая разница!» И вслед за радостью от несбывшегося ужаса к героям повести приходит трезвое понимание: «Пусть считают нас какими угодно – жестокими, зловещими, жадными или пархатыми. Главное, чтобы знали: никогда больше мы не будем беспомощными жертвами». К подобному выводу приходит и главный герой романа «Партия» – униженный и обобранный, потерявший любимую женщину, но все-таки не сдавшийся. А значит, точка не поставлена. Продолжение следует...

Роман Арбитман

Завет надежды

Джонатан Сакс

Достоинство различия. Как избежать столкновения цивилизаций

Jerusalem: Gesharim; М.: Мосты культуры, 2008. – 336 с.



«2020-й год... Падение правительств в Африке привело к вспышке кровавых локальных войн. В то же самое время революции в Египте, Иордании, Алжире и Саудовской Аравии привели к победе фундаменталистских режимов на Ближнем Востоке. Глобальная экономика находится в кризисе, и безработица достигла рекордного уровня во многих странах... Сотни тысяч умирают ежегодно в результате стихийных бедствий, вызванных изменением погодных условий – засух, наводнений, тайфунов, усилившихся в результате глобального потепления...»

О том, как избежать такого – всего лишь одного из возможных – сценария, размышляет в своей книге лорд Джонатан Сакс, главный раввин Великобритании. Высокотехнологичная «практопия» Элвина Тоффлера и либеральное общемировое равенство из «Конца истории», каким представлял его Фрэнсис Фукуяма, так и остались отчасти сбывшимися теориями, а мир, похоже, на всех порах летит к сумрачному будущему из книг чуткого провидца Рэя Брэдбери. И как не допустить предсказанного Сэмюэлем Хантингтоном столкновения цивилизаций?

Рав Сакс считает, что единственной опорой для человека в текущем современном мире остается религия, непреходящие моральные ценности. Именно в их свете он переосмысливает и экономические, и социальные явления. Конечно, речь идет об иудаизме, но отнюдь не с подтекстом: смотрите, мы, евреи, от века знали истину! Помимо священных текстов Сакс обращается к массе источников, от античных и средневековых философских трудов до новейших экономических исследований.

Автор сопрягает иудаизм с широким интеллектуальным, социальным и политическим контекстом, неоднократно подчеркивая: аналогичные идеи могут встретиться практически в каждой религии. Именно за это, а точнее, за утверждение теологической истинности всех мировых религий книга Сакса подверглась резкой критике со стороны многих еврейских религиозных лидеров, автору даже пришлось вносить изменения в текст.

И все же традиционные понятия иудаизма в работе Сакса обретают животрепещущую актуальность. Творческое, а не исключительно материальное значение труда, – человеческая рыночная экономика. Цдака – благотворительность как способ преодолеть все растущую пропасть между богатыми и бедными. Образование – основа иудаистского общества – как возможность для миллионов детей по всему миру раскрыть свои таланты и стать достойными людьми. Идея завета, открытого и долгосрочного соглашения между людьми – как основа гражданского общества, живущего по законам доверия и взаимного уважения. Провозглашенная в Танахе ответственность человека за сохранение природы – прообраз новой экологической концепции.

И конечно, коренной принцип «достоинства различия»: увидеть в другом, человеке чужой веры и культуры, лик Б-жественного Другого. Это борьба с «духом Платона», на многие века утвердившего в европейском сознании идею духовного абсолюта, истины в ее единственном предельном воплощении. Б-г создал нас разными как раз для того, чтобы мы познавали эти различия и радовались им, и делились ими друг с другом, и становились от этого богаче. Проще говоря, прекрасна не абстрактная идея листа, а каждый конкретный, неповторимый, живой листок на дереве у вас за окном.

Но это же просто и естественно! Да, причем настолько, что невольно задумываешься: неужели мы уже докатились до того, что приходится напоминать себе: «Каждый из нас имеет уникальную и неотчуждаемую ценность»? Мы не просто легко заменяемые винтики в мировой политической и финансовой системе, мы несем моральную ответственность за свою судьбу, более того – за судьбу наших детей и нашей планеты. И самое главное – вовсе не покупать машины последней модели, а «совершать добрые дела, заботиться о близких, быть готовым на жертвы ради других, принадлежать к общине, преданной своим идеалам. Именно эти ценности создают устойчивость в жизни и придают ей достоинство». Так просто. Так невыполнимо?

Алла Солопенко

Историк над бездной

Самсон Мадиевский

Публицистика (1998–2007)

Кишинев: Preprintiva SRL, 2009. – 336 с.



Вышло посмертное издание трудов Самсона Мадиевского, выпущенное стараниями его супруги Л.С. Авербух и включающее, кроме разножанровых (статьи, рецензии, письма) текстов самого историка, биографические материалы, а также библиографию его трудов.

В период работы в Молдавской академии наук Мадиевский зарекомендовал себя как тонкий и тщательный балканист, в эмиграции же сумел сказать свое слово о проблеме, которая волновала его всю жизнь: еврейский народ перед лицом тоталитарных идеологий XX столетия.

Мадиевский показывает, что попытки исследователей свести тоталитарный феномен к какому-то одному доминирующему фактору или даже группе факторов не оправдывают себя. Разумеется, важно понимать, что стремление подменить рыночные и демократические процедуры системой бюрократической регуляции не может не оборачиваться кровавыми агрессиями против собственного народа и народов окружающих. Однако из факта бюрократической централизации не вполне вытекает ярость (по существу – самоубийственная) этих агрессий.

Социальные сдвиги, распад традиционных картин мира и возросшие потребительские ожидания бюрократий и масс в индустриальную эпоху, связанные с этими ожиданиями чаяния материального перераспределения за счет «классово чуждых элементов», «инородцев» и покоренных земель – одна из несомненных предпосылок разнонаправленных тоталитаристских агрессий. Но контроль над огромными территориями и человеческими массивами плюс содержание ненасытных силовых аппаратов в конечном счете подтачивают и самую экономическую базу тоталитарных режимов.

В литературе много говорится о том, сколь велика в генезисе, функционировании и преступлениях тоталитарных систем роль веками накопленных традиционных народных предрассудков: дискриминации «чужака», зависти, бытовой и религиозной ксенофобии. После второй мировой войны этот «народный» социально-психологический синдром стал основным сюжетом книги Теодора Адорно «Авторитарная личность»; в последующие десятилетия анализ этого синдрома стал одним из существенных покаянных мотивов немецкой христианской мысли.

Эта проблематика неупразднима. Однако Мадиевский задается вопросом: возможно ли было на основе этого полуархаического синдрома выстраивать «рациональные», планомерно-организованные машины массового убийства людей? И отвечает: синдром архаической ксенофобии – необходимое, но далеко не достаточное условие тоталитаристских преступлений.

Обращаясь к осмыслению идейных и духовных предпосылок «индустриальной» практики народовбивства, автор выделяет труд немецкого историка Гуннара Хайнзона «Почему Освенцим?». Резюмируя его концепцию, Мадиевский указывает, что дальней мишенью гитлеровского «национального социализма» были не «раса» или «абстрактный гуманизм», но сами духовные ценности европейской культуры и прежде всего их историческая основа – библейские, иудейские смыслы, то самое, что нацисты называли «еврейским духом». Примат милосердия, любви к ближнему, понимания другого оказывался барьером на путях «сверхчеловеческих» утопий безграничной экспансии и власти. Так что нынешний антисемитизм во многом вырастает на базе взаимодействия архаического «бессознательного» и современной квазинаучной, военно-индустриальной «рациональности».

Как полагает Мадиевский, сам факт существования еврейского народа и его духовной культуры объективно мешал осуществлению «крутых» социально-политических амбиций и ленинско-сталинского государства. Историк прослеживает это обстоятельство и на свидетельствах периода русской революции, и на истории организации и деградации Еврейской автономной области Хабаровского края, и на материалах антисемитской кампании в пору агонии сталинского режима. И здесь – сходная бездна ненависти на базе неосуществимых квазирациональных притязаний «самой передовой» и «единственно верной» идеологии.

И потому Мадиевский так высоко оценивает попытки вырваться из этой бездны – будь то труды казненного нацистами пастора Дитриха Бонхеффера и его сегодняшних немецких последователей, нынешнего российского историка сталинского антисемитизма Геннадия Костырченко или пусть робкие, половинчатые, но все же реальные действия современного германского государства по восстановлению еврейской общины в своей стране...

Однако мрачные страницы прошлого – увы – не закрыты. Большинство населения России, вынесшей на своих плечах основную тяжесть борьбы с германским фашизмом, знать не знает и ведать не ведает о злодеяниях прошлого века, 60–70% населения Германии хотело бы «подвести черту под прошлым».

Так что бездна мрачная не заклята и не перекрыта...

Евгений Рашковский

РАСЦВЕТ И УПАДОК ЕВРЕЙСКОГО ПЕТЕРБУРГА

Арон Перельман

Воспоминания

СПб.: Европейский Дом, 2009. – 264 с.



Арон Филиппович (Аарон Фишелев) Перельман (1876–1954) вошел в историю как один из деятельных участников движения за равноправие евреев, как соратник Семена Дубнова, журналист и издатель; наконец, как мемуарист. Его воспоминания воссоздают события 1900–1930-х годов – периода от становления общественной и культурной жизни российского еврейства до ее планомерной и последовательной ликвидации.

Перельман родился в Одессе, по матери и по отцу принадлежал к знатым семьям «мужей науки». Сдав экстерном экзамены за полный гимназический курс, он вынужден был уехать в Европу для продолжения образования. В 1906 году, проведя почти десять лет в Германии и Швейцарии и получив диплом химика, вернулся в Россию и обосновался в Петербурге, где прожил до конца жизни, участвуя в работе многочисленных еврейских изданий и организаций вплоть до прекращения их деятельности. Местом его службы было издательство «Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон», где Перельман к 1915 году стал ответственным управляющим и главой «Нового энциклопедического словаря», а после эмиграции Ефрона в 1918 году возглавил издательство и оставался его владельцем до закрытия в 1930-м. Впоследствии Перельман составлял учебные пособия для школ, писал и редактировал рукописи для московских издательств. Годы блокады провел в Ленинграде, работая в Ленрадиовещании.

К мемуарам Перельман обратился зимой 1941/1942 годов, «в темной, нетопленной холодной комнате <...> когда все кругом было мрачно, когда смерть косила <...> родных, друзей и знакомых» и «возникла потребность перенестись мысленно в давно прожитые годы, которые в эти тяжелые дни казались более светлыми, чем они были на самом деле». Поначалу текст воспоминаний создавался как «устная история»: Перельман рассказывал жене и дочери о событиях своего детства и юности. Жена посоветовала ему записывать рассказанное – и он писал, «лежа в кровати с полубомороженными руками в перчатках, водянистыми чернилами, еле двигая рукой в перчатке, перелистывая конторскую книгу».

Перельман рассматривал свои записки как семейную хронику, предназначенную для чтения потомков, и в соответствии с этой установкой первые главы носили сугубо «внутренний» характер. Однако, начав писать, он не удержался и вышел за избранные жанровые рамки – и не только потому, что «как в древней еврейской письменности “один грех влечет за собою следующий грех”», но и потому, что давно и серьезно интересовался мемуарной литературой и побуждал многих своих знакомых писать воспоминания. Перельман был убежден, что ценны любые мемуары, даже неудачные с собственно литературной точки зрения, поскольку они служат памятником «уходящего или уже ушедшего близкого прошлого» и представляют необходимый материал для будущих историков. Именно с этой позиции он рассматривал и свои воспоминания.

Композиционно книга вполне соответствует представлениям автора об историко-культурном предназначении мемуарных текстов: структурообразующим элементом здесь является не хронологическая последовательность, а персона и/или событие. «Воспоминания» представляют собой корпус рассказов о деятелях русско-еврейской культуры и событиях культурной и общественной жизни еврейского Петербурга-Петрограда-Ленинграда. Отчасти подобная специфика обусловлена ориентацией на классику жанра, особенно на «Былое и думы», до конца жизни входившее в круг любимых книг Перельмана. Определенную роль сыграли и обстоятельства внешнего, нелитературного порядка: к моменту начала работы над воспоминаниями у Перельмана не сохранилось практически никаких архивных материалов (его архив был изъят в 1933 году при аресте дочери), и мемуарист понимал невозможность точного, детального воссоздания событий в строгой временной последовательности.

«Воспоминания» состоят из семи завершенных очерков («Мой отец», «Наши праздники», «С.М. Дубнов», «Еврейский мир», «Ю.И. Гессен», «Закат еврейского Петербурга», «В издательстве “Брокгауз и Ефрон”»), незавершенного отрывка «В советских издательствах» и «Проекта предисловия к моим воспоминаниям», предпосланного основному тексту. Если судить по названиям, очерки представляют собой «портреты» («медальоны») и «жанровые сцены», сменяющие друг друга в зависимости от того или иного поворота авторской памяти. Однако это впечатление обманчиво: все тексты построены как взаимоналожение и взаимопереплетение первого и второго, что создает впечатление «живой жизни» в ее непосредственном течении и представляет весь спектр «еврейской общественности» в лицах.

Судя по сохранившимся наброскам 1953 года, Перельман собирался продолжить работу и написать как минимум еще одну главу, однако выполнить задуманного не успел. Но и та часть, которая была завершена и по прошествии более чем полувека увидела свет, при всей ее фрагментарности, дает исчерпывающее представление о людях и событиях едва ли не самого драматического периода в истории еврейского Петербурга и российского еврейства в целом.

Ольга Демидова

Как мать вам заявляю и как женщина

Шестидневная война и еврейское движение в СССР.

Очерки социальной истории

Отв. ред. Х. Бен-Яков

М.: Сэфер, 2008. – 200 с.



Примерно четверть книги – полсотни страниц – занимают отклики «простых советских людей» на «очередное преступление сионизма на Ближнем Востоке», то есть «агрессию Израиля против миролюбивого арабского народа», то есть на Шестидневную войну. Вообще-то здесь есть много чего еще: есть большая академичная (столь академичная, что авторская ирония не сразу замечается) статья Зеэва Ханина и Бориса Морозова, где Шестидневная война рассматривается в основном с позиции советского правительства в контексте как внешней, так и внутренней политики; есть воспоминания активистов еврейского движения в СССР, которые впоследствии и в Израиле заняли заметное место в политике, культуре, науке, журналистике (Иосиф Бегун, Зеэв Гейзель, Феликс Кочубиевский, Дов Контонер); еще есть предисловие и заключение, написанные Хаимом Бен-Яковом.

Но все-таки самое сильное чувство вызывают упомянутые отклики – и чувство это довольно сложное, чуть ли не ностальгическое. Некоторые письма – по классической русской формуле «смех и грех» – заставляют усомниться в психическом здоровье их авторов, но основная масса – это произведения действительно ничего не знающих и не понимающих людей, которые верят сфабрикованной «наверху» информации (другой-то нет), верят в навязанные идеалы (кто в них фанатично не верил, тот не писал писем в редакции), думают чужой головой и говорят чужими словами – вообще, в манере высказывания господствуют попытки имитировать помпезно-патриотический стиль, разбавив его газетно-фельетонными штампами. Сейчас, конечно, такое невозможно: и информацию фабрикуют иначе (просто «топят» реальные факты в море журналистского словоблудия и светской хроники), и в навязываемые идеалы никто не верит (а старики-пенсионеры – меньше всех), и многие даже находят, что честнее и комфортнее открыто тосковать по временам диктатуры. Психопатов меньше не стало, скорее наоборот, но с эволюцией СМИ и они сейчас самовыражаются иначе – все больше через интернетные блоги. Косноязычие приобрело другие формы – теперь канцелярит сочетается с диалектизмами и матерщиной. Затратив время, проявив настойчивость, занудство, знакомство с компьютерными технологиями и умение фильтровать информацию, в принципе, можно получить более или менее внятное представление о том, что действительно происходит в стране и мире, – а во времена «железного занавеса» это было практически невозможно без конфликта с властью.

Кстати, о ней, родимой. Рядом с письмами «простых советских людей» составитель подборки Александр Локшин, а также Зеэв Ханин помещают обкомовские информационные письма, секретные постановления ЦК, донесения из Совета по делам религиозных культов из украинских архивов – официальные бумаги, отражающие точку зрения «верхов», тех, кто понимал, что к чему, контролировал и планировал развитие событий. Тоже по-своему характерный документ эпохи.

Не говоря уж о статьях Ханина, Морозова, Локшина и Бен-Якова, эти три подборки – письма «возмущенных», воспоминания «выстоявших» и внутренний обмен

информацией самих представителей власти и их помощников – рисуют столь яркую и контрастную картину советских настроений, связанных с Шестидневной войной, что книгу можно смело рекомендовать не только историкам еврейского национального движения, но и всем, кого интересует это своеобразное и загадочное существо – русский еврей.

Михаил Липкин

Графическая хореография

Хореограф Вера Шабшай

Jerusalem: Gesharim; М.: Мосты культуры, 2008. – 120 с.



Любое искусство несет в себе огромную силу. Нужно только научиться управлять ею. Это с успехом продемонстрировала Вера Шабшай, танцовщица и хореограф, работавшая, в основном, в 20–30-х годах прошлого века. Время было бурное, стране, создававшей новую жизнь, требовались новые символы. Танец как нельзя лучше подходил для этого: визуальное искусство способно влиять на людей больше, нежели любое другое. Нужна была пластика человека, как бы рожденного заново, – человека, который отбросил прошлое.

В попытке отойти от классического балета Шабшай обратилась к древнему еврейскому танцу. Задача эта необычайно сложная, и здесь Шабшай была первопроходцем. В стремлении реконструировать аутентичный еврейский танец она опиралась на сохранившиеся ассирийские, египетские, средиземноморские барельефы, дошедшие до нас древние статуэтки, по крупницам восстанавливая, как могла бы плясать пророчица Мириам, радуясь исходу из Египта и гибели фараоновой армии в волнах Красного моря, как танцевал Давид перед ковчегом и т. д. И все это – с учетом опыта неклассического балета начала XX века. По сути она создала синтез фольклора и авангардных форм.

Поскольку издание этой книги приурочено к выставке в рамат-ганском Музее русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных, а ее героиня – еврейка, родившаяся в Киеве и жившая, по большей части, в Москве, то книга вышла на двух языках. Ее можно читать и справа налево, и наоборот.

А отделяют русский от иврита фотографии с фрагментами постановок Веры Шабшай. По ним видно, насколько точно проработаны все движения в ее танцах. Некоторые кадры – явно постановочные: например, Шабшай в «Танце рабыни» или в «Еврейском гетто в Испании». Другие, наоборот, – выхваченное из танца движение, то, что почти неуловимо глазом, так как зритель воспринимает танец целиком, а не разбивает его на составные части. В этом издании много таких удач.

Куратор рабат-ганской выставки, Леся Войскун, впервые встретила имя Веры Шабшай в 2003 году в статье Яна Топоровского. Потом услышала его еще раз – от хранителя балетного отдела тель-авивской библиотеки «Бейт-Ариэла» Виктории Ходорковской, случайно познакомилась с наследниками танцовщицы. Постепенно появлялся материал. Но кто эти люди на фотографиях, что можно о них узнать, когда и к чему были сделаны эти снимки? Фотографии, афиши – мало было всего лишь найти их, надо было еще их разговорить: датировать, описать, связать с эпохой. За выставкой и за книгой – громадная проделанная работа.

Издание выдержано в стиле тех лет: четкие ломаные линии, два цвета в оформлении. Возникают ассоциации с Окнами РОСТА. Жизнь Веры Шабшай выложена как каменная кладка, в которой виден каждый камешек. Авторы четко прописывают каждую деталь – где, при каких обстоятельствах и почему поставлен тот или иной танец. Описание его: так искусствовед представляет картину. Нет ни одной случайной фразы. Полное погружение в эпоху конструктивизма, когда искусство было подобно лодке, смело пустившейся в плавание по штормовому морю.

Евгения Бродская

АННОТАЦИИ

Символ. Журнал христианской культуры

Париж – Москва, № 53–54, 2008. – 832 с.

Спецвыпуск журнала (впрочем, в «журнале» под тысячу страниц, периодичность – два раза в год, то есть нынешний сдвоенный выпуск – это «годовой отчет») целиком посвящен Вячеславу Иванову. Среди прочих любопытных материалов – переписка главного героя с Мартином Бубером (по Иванову, «еврейский праведник с глазами, глубоко входящими в душу»), Львом Шестовым (споры Иванова с которым в предреволюционном Петрограде воспринимались современниками как полемика «лукавого, тонкого эллина и глубокого своей единой думой иудея») и философом и историком культуры Евсеем Шором. Последнего Иванов в 1933 году, когда Шор столкнулся с необходимостью бежать из Германии, убеждал эмигрировать в Америку: «Поехать в Палестину значит для Вас как бы принять... нечто вроде орденского обета. Но Вы вступили бы в орден, Вам не соответствующий ни в каком смысле. Вы не сионист... При всей святости этих заветов, Вы человек другого призвания и другого посвящения. Вас задумал Б-г свободным исследователем и искателем духовных путей, Ваша духовная свобода – Ваш долг». Уговоры, впрочем, не помогли – Шор уехал в Тель-Авив, где и умер в 1974 году.

Анатолий Косичев. Философия, время, люди

М.: Олма Медиа Групп, 2007. – 383 с.

Удивительная книга, целиком написанная языком партийного отчета и выдающая соответствующего уровня мышление. Из мемуаров Косичева, более полувека проработавшего на философском факультете МГУ и 10 лет, с 1978-го по 1987-й, возглавлявшего его, вырисовывается – против воли автора, разумеется, – картина тотальной деградации советского философского сообщества. Споры персонажей, их

проблематика, используемая аргументация производят впечатление кошмарного кошмара, в котором все живое, казалось бы, должно немедленно увядать. Но на самом-то деле что-то такое на этом самом факультете теплилось, недаром выпускник 1952 года Александр Пятигорский уверял, что и в самые мрачные времена уровень предлагаемого там образования был «чрезвычайно высок». В общем, загадка. При всем том в книге немало любопытного. Например, из главы об антикосмополитической кампании выясняется, что основной мишенью ее философского извода оказался профессор Белецкий – одна из самых мрачных фигур советской философии 40-х, полуобразованный «красный профессор», идейный доносчик, долгие годы портивший жизнь всем мало-мальски грамотным людям на факультете и вокруг. В конце концов он допек не только факультетское начальство, но и партбюро, которые единогласно назначили его главным космополитом и успешно сопротивлялись давлению со стороны ЦК, пытавшегося Белецкого отстоять. И кто здесь, спрашивается, злодей, а кто праведник?

Русские евреи в Америке. Книга 3

Ред.-сост. Э. Зальцберг

Иерусалим – Торонто – СПб.: Гиперион, 2009. – 304 с.

Восемнадцатый том серии «Русское еврейство в зарубежье» и одновременно третий выпуск «подсерии» «Русские евреи в Америке». Рецензенты двух предыдущих выпусков (см. Лехаим. 2005. № 11; 2008. № 4) в один голос отмечали: странно выглядит смешение под одной обложкой серьезных исторических публикаций и апологетических очерков о наших современниках. Понятно, что и Лев Троцкий, и Сергей Брин – евреи, – но ведь существуют и другие критерии отбора материала... Но, разумеется, рецензенты издателям не указ, так что в новом выпуске представителям третьей эмиграции уделено еще больше места. Нам же остается лишь выполнить свой рецензентский долг и обратить внимание читателей на те публикации, которые представляются нам наиболее ценными и содержательными. Эмма Путятова воссоздает картину колонизации российскими евреями аргентинских степей в конце XIX века и в первые десятилетия века XX-го, Ольга Демидова описывает, как послевоенный Нью-Йорк постепенно замещал Париж в роли «столицы русской эмиграции» и как негодовали по этому поводу русские парижане, а Виктория Журавлева констатирует, что нью-йоркская пресса столетней давности, дружно сочувствуя жертвам кишиневского и других погромов, в то же время сомневалась, пойдет ли на пользу Америке массовая еврейская иммиграция (статья сопровождается репродукциями весьма любопытных карикатур). Виктор Кельнер рассказывает о жизни известного социалиста Льва Дейча в Нью-Йорке в 1910-х годах, Филипп Холландер выбрал себе в герои энтузиаста ивритской культуры Менахема Риболова, Муся Гланц «портретирует» художника Бориса Крамера, а Рашит Янгиров предлагает хронику участия выходцев из России в американском кино 1920–1930-х годов.

«Сохрани мою речь...». Выпуск 4, ч. 1—2

М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2008. – 808 с.

Разумеется, среди множества материалов, вошедших в новый выпуск серии, издаваемой Мандельштамовским обществом, есть немало так или иначе связанных с еврейской тематикой. Укажем лишь на две такие публикации. Леонид Кацис, комментируя пассажи о родословной поэта из «Второй книги» Надежды Мандельштам, приходит к выводу, что, хотя далекая от еврейской традиции мемуаристка писала о не вполне понятных ей материях, без приводимых ей сведений невозможно понять, как Мандельштам выстраивал свой «генеалогический миф» на стыке реальной биографии, семейных преданий и культурной мифологии. А Аркадий Ковельман добивается неожиданных результатов в интерпретации нескольких стихотворений Мандельштама

(прежде всего из книги «Tristia»), прочитывая их как тексты, насыщенные библейскими и талмудическими аллюзиями.

Над аннотациями работал Михаил Майков

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ИСКУССТВО БЫТЬ АРХЕОЛОГОМ

Жанна Васильева

9 апреля в Музее искусства и истории иудаизма в Париже открывается выставка Гриши (Григория Давидовича) Брускина «Алефбет». «Иудаизм в силу известных исторических причин не создал художественного эквивалента своим духовным инициативам. Я всегда ощущал некий культурный вакуум, который мне хотелось на индивидуальном, артистическом уровне заполнить», – писал художник, предвзяв выставку «Алефбет» в 2006 году в ГМИИ им. А.С. Пушкина. В свою очередь искусство Гриши Брускина началось с того момента, как оказался заполнен вакуум национальной самоидентификации. Пункт «пятый» стал пунктом «первым».



Гриша Брускин. Начало работы над шпалерой «Алефбет». Москва. 2004 год

Обыкновенно художники создают своих героев. В случае Брускина все произошло ровно наоборот. Герой создал автора. В 1969 году никто не мог ожидать явления этого персонажа на картине свежеспеченного члена Союза художников,

которого только что приняли в СХ с ученическими работами, интеллигентного еврейского юноши 24 лет из хорошей академической семьи. Тем не менее фигура человека в талите появилась на его полотне. Это была первая картина, подписанная именем, которое теперь знают все, кто интересуется современным искусством. Подпись «Гриша Брускин» выглядела по-мальчишески несерьезной, зато предельно серьезным был персонаж – человек, обращенный к Б-гу. Тут интересно заметить, что своего героя Брускин никогда в глаза не видел. «Своего героя я придумал, вообразил, – напишет позже художник в эссе “О двух темах”. – В то время в России еврейская бытовая и религиозная жизнь практически отсутствовала. Читая книги, я узнавал, как одеваются хасиды и митнагдим, что означают черные полосы на талите, как и когда его носят, сколько узелков на цицит и что они символизируют, какие существуют варианты повязывания тфилин и что внутри коробочек <...> Надо сказать, что я был весьма удивлен, встретив много позже реконструированного мною человека в Нью-Йорке и Иерусалиме».

Тем не менее, раз явившись на полотне, «реконструированный человек» не исчез, а повел художника от живописи в сторону книги и текста, шпалеры и скульптуры, фарфора и фотографии... И что, может быть, не менее важно, он задал позицию автора – ученика, осваивающего азы иврита, и составителя словаря фундаментальных истин, искателя истины и любителя древностей. Одним словом, художника-археолога.



Шпалера «Алефбет». ГМИИ им. А.С. Пушкина. 2006 год

«Осколки еврейской Помпеи»

Нельзя сказать, что любовь к археологическим древностям – большая редкость среди художников. Живописные руины на фоне мирного сельского ландшафта со времен

Пуссена были едва ли не обязательной частью любого пейзажа, претендующего на философскую глубину. Вслед за любителями античных акведуков, портиков и колонн пришли романтики, которые отдали дань развалинам средневековых замков и крепостей. А в начале XX века увлечение следами былых цивилизаций сменилось интересом к формам искусства архаических и примитивных культур.

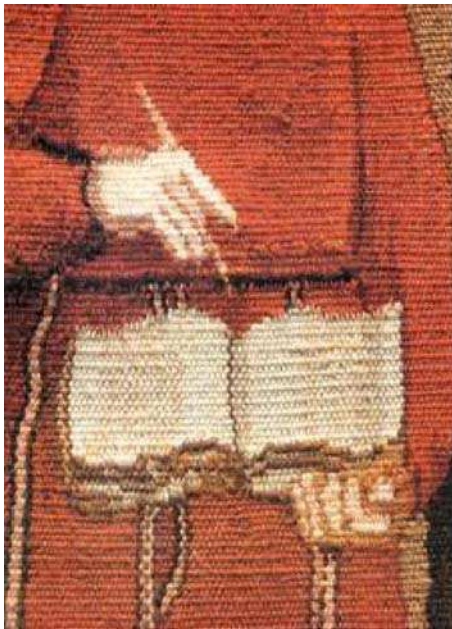
Но Брускина интересовала не древность сама по себе, а древность еврейской культуры. Культуры, которая, во-первых, не оставила живописных архитектурных развалин, а во-вторых, равно противостояла и языческим богам античности, и христианству средневековой Европы. Более того, путь к реконструкции архаических форм и работы с ними был тоже заказан – их не было, поскольку в иудаизме существует запрет на изображение видимого мира. В результате задача начинала выглядеть абсолютно фантастической: обнаружить след прошлого там, где следов заведомо быть не могло. Но прошлое-то было. Оставался один путь – воображения и воссоздания следов, какими они могли бы быть. Изобретения следа былого, стертого катастрофами и напластованиями времени.

Другой парадокс был связан с собственно прошлым. Очевидно, что, если его бесполезно искать в городах и весях, остается только одно: пытаться обнаружить его в настоящем. В семейных рассказах во время застолий, в песнях на идише родственников из провинции, в фотографиях из старых альбомов, многие персонажи которых утратили имена, но оставили (в силу присутствия в фамильной коллекции) свидетельство причастности к жизни рода... Наконец, прошлое было в книгах – Талмуде и каббале, Еврейской энциклопедии и Торе. Иначе говоря, следы прошлого проступали ярче всего в мерцающем мире книги, текста, языка. Как написал французский исследователь Режи Дебрэ, «евреи могли отправиться в изгнание, оставаясь сплоченными (объединительная функция Единого Б-га), потому что они уносят с собой свою “территорию”, материализованную в “мертвом” тексте, который, однако, чтение ритуально оживляет на собраниях и в проповедях. <...> Вынужденная децентрация уже не является бедствием, когда Центр – некий Текст».

Образ Текста становится ключевым для произведений Гриши Брускина. Текст является буквально фоном гобелена «Алефбет» (2006). Причем текст реальный. Художник писал, что он «заимствован из книги Танья – важнейшей для хасидов направления Хабад». Сплетения букв и сплетения нитей становятся одним целым. Как точно заметил Евгений Барабанов, текст и текстиль происходят от одного корня. 160 персонажей, каждый из которых несет символический смысл, тщательно зафиксированный в авторском комментарии к шпалере, образуют «лексикон идеальных значений», альфу и омегу иудаизма. Проще: его «Алефбет», открытый любому взгляду и закрытый для понимания профана; ключ к тайному знанию и само знание; мир, переведенный на язык букв и жестов. Как мы сейчас бы сказали – виртуальная копия мира, но закодированная не в цифре, а в языке. Брускин в своем «Алефбете» создает визуальный аналог языкового кода. Точнее, он соединяет два кода – древнего текста и современного изображения, но их означаемое остается по-прежнему ускользающим. Автор пишет еще и словарь-комментарий, толкующий аллегории шпалер. Словарь, по сути, оказывается самостоятельным произведением, напоминающим забывшим все, что знали, малую часть того, о чем они забыли. Не столько толкующим, сколько указывающим направление движения. Огромный ковер похож на словник словаря мира, но и на шпаргалку, узелки на память и придорожную стелу с письменами.

Впрочем, кроме символического образа текста, который никогда не может быть ни закончен, ни восстановлен до конца, образа слова как воплощения живой традиции и

живой истории, шпалера создает еще одно пространство – дома и Храма. Ковер, который легко свернуть, разумеется, напоминает свиток Торы. Но ковер, висающий на стене, – это защита и тепло. Собственно, это дом, который всегда с тобой. Ковер становится одновременно носителем текста и символом несущей конструкции. Текст как храм и убежище, как дом языка и всякого говорящего на нем, явлен в «Алефбете» даже не как метафора – как спасительная очевидность.



«Алефбет» (фрагмент)

«Монумент момента»

Поиски «осколков еврейской Помпеи» и навык отыскивать прошлое в настоящем дали также непредвиденный результат. Как написал художник в эссе «О двух темах», «у меня появилось желание взглянуть на мир, окружающий меня, сквозь призму религиозного мифа, через “талмудические очки”». Так появился «Фундаментальный лексикон».

Впрочем, использование одного и того же оптического средства – пусть и столь нетривиального – не означает сходства результата. Начать с того, что мотивы применения «талмудических очков» в первом и во втором случае сильно различались. Изначально они появились как способ самоидентификации автора, как протест против давления окружающей среды, вытесняющей если не право, то желание быть евреем. Они были и способом, и результатом обращения к традиции иудаизма. Талмуд приближал к истинному знанию. Соответственно «очки», формирующие взгляд, служили лупой, увеличительным стеклом, позволяющим различить исторические слои палимпсеста.

Совсем иная ситуация сложилась при использовании их для настоящего. Они были способом дистанцирования от «царства общих мест» или, как выразился Марк Липовецкий, «фантазмов общего пользования». Брускин написал однажды по поводу прототипов героев «Фундаментального лексикона» – гипсовых пионеров, спортсменов, пролетариев и комсомолок с веслом и без оно: «Попытка всерьез отождествить себя с “героем” означает отказ от себя, от своего “я”». Систематизация визуального лексикона советских «средств массовой агитации и пропаганды» определялась прежде всего нежеланием становиться в безликий ряд тиражированных героев. Нежеланием

отказываться от себя. Точкой опоры в этом противостоянии идеологическому прессу становилась идентификация себя как еврея. Соответственно, взгляд сквозь «талмудические очки» на архетипы советского настоящего был не приближением-увеличением, а удалением, перевернутым биноклем. В общем, для описания архетипических образов советского человека «талмудические очки» требовалось перевернуть. На мой взгляд, их использование вовсе не означало идентификацию автора в качестве «советского еврея». Оно означало прямо противоположное – оппозицию национальной идентификации советской типовой классификации. «Талмудические очки» конструировали еврейскую идентичность автора и одновременно служили для деконструкции размытой идентичности «советского человека».

Наконец, если поиск визуального кода для «Алефбета» вел к текстам прошлого, к истории, то серийные фигуры «Фундаментального лексикона» – в противогазах и с автоматами, а кто с книжкой и с линейкой, оказывающие первую помощь и выступающие на собрании, марширующие и крадущиеся к врагу – были отрезаны от истории и законсервированы в настоящем. Они не вели в глубину традиции, а воспроизводили штамп. Эти персонажи не ведали о третьем измерении – их мир был двухмерным, как плоскость плаката. Только благодаря художнику они превращались в «монумент момента».

Конечно, это был тот мир, который окружал художника Гришу Брускина. В этом смысле это был тоже «его мир». Но это тот мир, из которого он хотел катапультироваться, от которого жаждал дистанцироваться. «Фундаментальный лексикон» – это его машина времени, позволяющая почувствовать себя «гостем из будущего».

Поэтому его «лексикон» не попытка фиксации сакрального знания, а разговорник, собирающий диковины новояза. Он отсылает, конечно, к языку идеологии, но одновременно – и к повседневной речи. И если хранилище языка – книга и алфавит, то сосуд речи – устное слово. Поэтому органичное дополнение к «Фундаментальному лексикону» – записи в Книге отзывов с выставки «Всюду жизнь» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Абсурдные, нелепые, смешные, трогательные, они – росчерк настоящего, который художник-археолог подшивает в архив. Из архива – личной памяти и коллективного прошлого – складываются коллекции художника. Книжки, похожие на узелки на память или послания в будущее, сложенные загодя, – в ожидании очередного переселения народов или прихода Мессии.

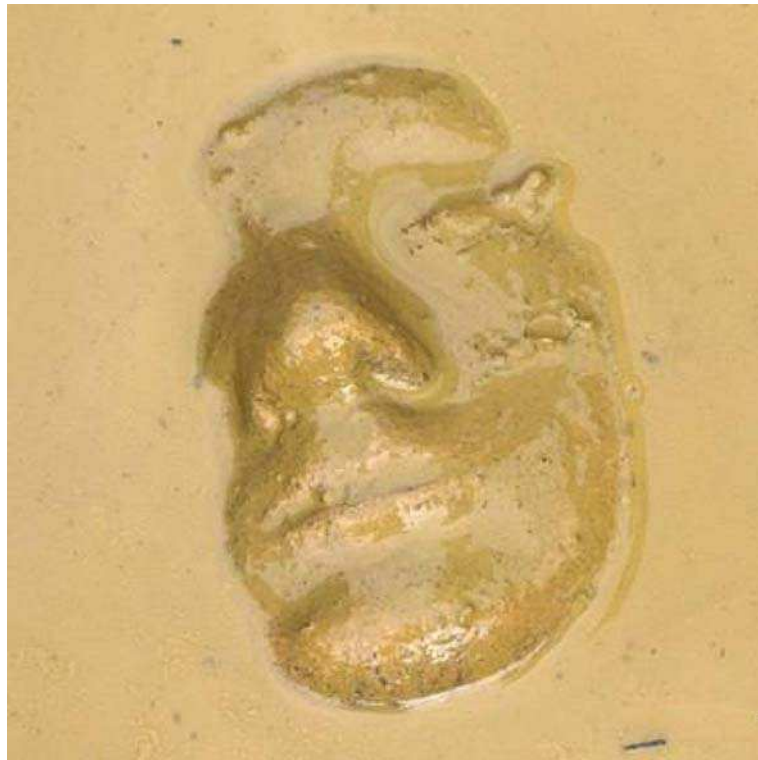


«Фундаментальный лексикон». Часть 2. Фрагмент. 1986 год. Частная коллекция.
Германия

Руина как несущая конструкция будущего

Взгляд на настоящее как минувшее был опробован в «Фундаментальном лексиконе» в бородатом 1987 году и, казалось, имел все шансы исчезнуть вместе с ушедшим под воду истории СССР. Между тем в прошлом году в Нью-Йорке был показан новый проект Брускина «Гибель богов». В этом проекте в художественной археологии автора наметился еще один неожиданный поворот. Если в 1987 году Гриша Брускин предстал в роли археолога из будущего, расшифровывающего послания настоящего, то двадцать лет спустя он неожиданно выступил в роли отправителя сообщения в неведомое завтра.

В 2009 году в солнечной Тоскане местные жители стали свидетелями странной церемонии. Блицы фоторепортеров, суетящихся вокруг огороженного пространства раскопок, техника и рабочие, бережно извлекающие из земли странные иссиня-черные фигуры с коричневатыми отблесками. Некоторые чересчур впечатлительные особы заподозрили эксгумацию останков времен второй мировой. Но все оказалось проще. Проще и сложнее. Извлеченные фигуры были бронзовыми скульптурами, похороненными в итальянской земле за год до того. Бронза была покрыта не воском, предохраняющим от воздействия окружающей среды, а морской солью. Поэтому влага, почва, воздух за год оставили на ней свои следы.



Здесь и далее фотографии Гриши Брускина из проекта «Гибель богов»

То, что проделал художник, на первый взгляд пародирует практику «посланий в будущее», которые отправляли потомкам строители коммунизма. Они запечатывали свои послания потомкам, закладывая их в «краеугольные камни», запечатывая в бутылки или в обычные конверты. Но пародийный элемент, похоже, едва заметен в новом проекте Брускина.

Физический след времени, а значит, и само время – главное действующее лицо нового проекта. Оно превращает блестящую скульптуру в руину. Отмечает ее знаком тления и смерти. Фотографии, сделанные во время раскопок, оказываются документальным свидетельством власти Хроноса. И одновременно – фальсификацией факта смерти. Скульптуры, репрезентирующие «мертвое» прошлое, никогда не принадлежали ни к миру прошлого, ни к миру живых. Именно раскопки и фотографии, которые фиксируют «смерть» бронзовых фигур, на самом деле являют их миру. Становятся моментом их рождения.



Иначе говоря, если раньше Брускина интересовало «Рождение героя», то сегодня его интересует рождение мифа. Любопытно, что при этом настоящее, живое, легкомысленное, полное абсурда и бодрости, предстает как момент смерти. Вступление в «реку времен» выглядит перманентной катастрофой, которая в трактовке Брускина становится прологом к жизни в мифе.

Нетрудно заметить, что перед нами – автор, который шагает из прошлого в будущее, но всегда попадает из настоящего в прошедшее. Этот герой подозрительно напоминает персонажей Хармса, догадывающихся о мистических чудесах бытия, но в реальности сталкивающихся с абсурдом ужасного. Тем не менее он несет память о романтическом герое, поверявшем науку археологии личным воображением. Например, о том персонаже с полотна Карла Брюллова «Последний день Помпеи», в котором многие исследователи видят автопортрет художника.

...По крайней мере одна Помпея Брускина продолжает жить найденной. В земле Тосканы лежит второй комплект бронзовых скульптур, которые еще не ожили при свете солнца и вспышек фотографов. Они ждут своего часа. И – выставки Гриши Брускина в Москве. Она обещана в 2011-м.



ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

Еще посмотрим

От Бёрне до Райх-Раницкого. Евреи и публицистика во Франкфурте-на-Майне и начало модерна

Франкфурт, Музей Юденгассе, до 25 апреля

В прошлом году на берегах Майна отмечали столетие со дня смерти Леопольда Зонемана, основателя знаменитой газеты «Франкфуртер цайтунг». В связи с этим Еврейский музей вспоминает яркие страницы в истории франкфуртской публицистики и издательского дела, начиная со времен Великой французской революции. На примере десяти наиболее ярких горожан прошлого и настоящего кураторы напоминают об оборотной стороне борьбы за свободу прессы и права человека – цензуре, антисемитизме, преследованиях и изгнании. Среди героев экспозиции – великий социолог и кинокритик Зигфрид Кракауэр, популярнейший литературный критик последних десятилетий Марсель Райх-Раницкий и один из нынешних лидеров Партии «зеленых», вождь студенческого Парижа в 1968-м Даниэль Кон-Бендит.

В раскрытии такой непростой темы помогают видеоинтервью, демонстрируемые в залах.

Радикальная еврейская культура. Музыкальная сцена Нью-Йорка

Париж, Музей искусства и истории иудаизма, до 18 июля

Превращение Нью-Йорка в культурную столицу мира – в 1980–1990-х годах он потеснил в этом звании Париж и Лондон – сопровождалось бурным расцветом на берегах Гудзона еврейской музыкальной культуры. Модными оказались прежде всего традиции Восточной Европы. Влияние клезмера вдруг стало обнаруживаться и в роке, и в панке, и в джазе, и даже в современной музыке. Многочисленные альбомы и фестивали тех лет напоминают о роли Стива Райха, Телоиуса Монка, Алена Гинзберга и других композиторов, музыкантов и поэтов в этом ренессансе. Их свое-нравные последователи известны сегодня всему миру: Джон Зорн и Дэвид Кракауэр, Энтони Колеман и Марк Рибо... Посвященная музыкантам разных поколений выставка (как ни странно, это первый проект на эту тему) включает в себя и огромную музыкальную программу. Помимо выступлений живьем, многие записи звучат прямо в зале, здесь же показывают редкие, а то и не публиковавшиеся ранее фотографии и видеосъемки с легендарных концертов.



Джон Зорн в Нью-Йорке. 1987

Фриц Шварц-Вальдег. Путешествия художника сквозь «я» и мир

Вена, Еврейский музей (дворец Эшкелес), до 25 апреля

Фриц Шварц-Вальдег (1889–1942) считается одним из классиков австрийского экспрессионизма. Вместе с Йозефом Флохом, Георгом Меркелем и Францем Лерхом он принадлежал к группе «Hagenbund», основанной под влиянием Эгона Шиле и Оскара Кокошки. В 20-х годах Шварц-Вальдег успел попутешествовать по Европе: виды Дании, Франции, Боснии и Италии соседствуют в залах с зарисовками с русского фронта, где он был во время первой мировой, и большеформатными аллегориями 1918 года.

После аншлюса Австрии его лишили ателье, модный некогда художник-франкофил перешел на нелегальное положение, жил у сестры, рисовал немногочисленных друзей и покровителей, затем был схвачен и депортирован в Минск, где и погиб. Этой бездомностью последних лет и спецификой нацистской музейной политики объясняется то, почему большинство из 25 картин и 70 листов графики, отобранных для выставки, происходят из частных коллекций. Но представлены в залах на Доротеумгассе и знаменитые собрания, такие, например, как венский Бельведер («Признание», 1920).



Ф. Шварц-Вальдег.

Александр Моисси в «Живом труп» Л. Толстого. 1919 год. Частное собрание

Марк Ротко (1903–1970)

Москва, Центр современной культуры «Гараж», с 15 апреля до конца лета

Уроженец Двинска (Даугавпилс) Маркус Роткович – настоящее имя художника – уже в семь лет оказался с родителями в американском Орегоне. Увлекаясь поочередно экспрессионизмом, сюрреализмом, греческой мифологией и архетипами Юнга, он приходит в итоге к абстрактной живописи. Если можно, конечно, назвать живописью этот яростный спор о цвете, непримиримый диалог оттенков, ведущийся на его полотнах. Краска становится главным действующим лицом Ротко, отказывавшегося следовать приметам реальности и предпочитавшего заниматься структурой пространства как такового. Впрочем, это не мешает многим видеть в динамизме его картин влияние американского пейзажа, – дескать, это его бескрайние дали определили зрение художника. Но что же делать тем, кто не побывал в Орегоне? Думать о космосе? Возможно. Об ощущении потерянности, чувстве собственного ничтожества перед лицом бесконечности? Опасно. Не это ли ощущение привело самого Ротко к самоубийству?

Алексей Мокроусов

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ДЕСЯТАЯ ПЕСНЯ

Валерий Дыминц

Аркадий Гендлер поет песни Зелика Бардичевера

Фрейен зих из гит!

(Радоваться – хорошо!)

Еврейский общинный центр Петербурга, 2009.



Зелик Бардичевер (1903–1937) мог совсем превратиться в легенду, но от него все-таки осталось девять песен.

Кто он, этот Зелик, чья фамилия так похожа не то на титул хасидского цадика, не то на прозвище бродячего музыканта? Народный учитель в нищей Бессарабии. Люмпен-интеллигент, обучающий грамоте детей зажиточных сельских евреев. Поэт, умерший от чахотки. Канонический народный поэт, от чьих чудных песен в памяти народной должны были бы сохраниться напев или строчка, а как там дальше – забыл, но, ах, что за песни были и как их любил покойный, допустим, дед...

И все-таки героя романтической легенды из Бардичевера не получилось. Черновицкий «шансонье» Лейбу Левин успел записать от умирающего Бардичевера, а потом издать девять песен – слова и ноты. Такое вот «полное собрание сочинений» на девяти страницах. Некоторые из этих песен (две или три) вошли в репертуар многих известных исполнителей и до сих пор часто звучат со сцены.

В своих стихах Бардичевер – продолжатель большой европейской традиции литературной «народной» песни. Его творчество заставляет вспомнить о Бёрнсе, Бёльмане, Беранже, в особенности о последнем. Эти песни почти всегда – монолог, высказывание «честного бедняка», а иногда, как в песне «Мелохе – мелухе» («Ремесло – царство»), – целый хор голосов еврейских ремесленников. Но, в отличие от поэтически беспомощной лирики американских еврейских пролетарских поэтов предыдущего поколения, в них вовсе нет пустой риторики, зато много чисто беранжеровского изящества и ярких языковых экспериментов.

И все-таки настоящая легенда должна жить в устной традиции. И вот легенда возвращается – потому что есть, слава Б-гу, Аркадий Хунович Гендлер из Запорожья, замечательный исполнитель еврейских песен и сам – поэт-песенник.

Он родился в молдавском городе Сороки (тогда это была Румыния) в 1921 году. Его старший брат был дружен с Бардичеве́ром. Гендлер вспоминает: однажды братья целый вечер слушали, как поет Зелик, пели вместе с ним и пили густое бессарабское вино. Гендлер-младший (тогда – шестнадцатилетний) хорошо запомнил эти песни, все девять – и еще одну, десятую, неопубликованную и до сих пор никому не известную. Это «Цип-цоп, хемерл» («Цип-цоп, молоточек») – рассказ о трагической судьбе политзаключенного, вырастающий из фольклорной детской считалки. Это была бы классическая песня протеста – появилась она лет на тридцать позднее, да не на идише, а на английском...

В 2005 году Аркадий Гендлер спел эти десять песен Зелика Бардичевера для участников фестиваля «Клезфест в Петербурге». Едва он начал рассказ о своей встрече с Бардичеве́ром, запел его песни, как легенда, стряхнув бумажные лохмотья, снова стала тем, чем она и должна быть – устной традицией, не исчезнувшей вопреки всему. Свое исполнение Гендлер сопроводил рассказом о поэте и его песнях. Говорил, естественно, на идише. И как младший может деликатно поддержать старшего под руку, так голос Гендлера был поддержан скрипкой и аккордеоном Майкла Альперта. Да-да, того самого Майкла Альперта из Нью-Йорка, «отца» всемирного klezmer revival, создателя «Brave Old World», который... Ах, да есть ли среди любителей клезмерской музыки тот, кто не слышал о Майкле Альперте?



Выступление Аркадия Гендлера на фестивале «Клезфест в Петербурге». 2005 год

Одним словом, Бардичеве́р, Гендлер, Альперт – три чуда за один вечер, такое, согласитесь, бывает не каждый день.

Этот концерт был записан на видео. В кадре не только поющий Гендлер, но и Альперт, не скрывающий своего восторга от этого пения, и внимательные лица участников «Клезфеста», среди которых немало восходящих звезд клезмерской сцены. Но записать концерт, даже профессионально, – это полдела. Надо еще смонтировать запись и сделать из нее фильм – фильм на идише, но такой, чтобы он был понятен не только знающим идиш. Фильм-концерт и фильм-учебник, где есть оригинальная версия, и версия с субтитрами на русском, и версия с субтитрами на английском, и версия с субтитрами на идише, и подробное предисловие о Зелике Бардичеве́ре...

Тираж дисков фильма-концерта «Фрейен зих из гит!» наконец-то вышел. Этот фильм создал Еврейский общинный центр Петербурга, тот самый, который начиная с 1997 года ежегодно проводил эти незабываемые питерские «Клезфесты» и, будем надеяться,

продолжит их проводить. Неудивительно, что на всю сложную работу по превращению записи в фильм ушло долгих четыре года, зато работа сделана безупречно. И теперь потерянная десятая песня звучит рядом со своими девятью песнями-сестрами и не потеряется уже никогда.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

НОВЫЕ ДВАДЦАТЫЕ МАКСА РААБЕ

Борис Барабанов

Своей славой в России Макс Раабе и его «Palast Orchester» обязаны пиратам. Нелегальное скачивание с файлообменников тогда еще не было распространено так, как сейчас, и флибустьеры звукозаписи делали состояния на альбоме «Super Hits» (2001) коллектива под названием «Palast Orchester» («Придворный оркестр»). Вопреки стереотипным представлениям о немецком чувстве юмора, запись, включавшая ретрообработки хитов Бритни Спирс, «ABBA», Тома Джонса и «Queen», а также дискотечные боевики из репертуара Лу Бега и «Eiffel 65», слушалась как грандиозный пародийный аттракцион. Сложно было поверить, что иронические кавер-версии – лишь случайный вираж на пути оркестра под руководством оперного певца Макса Раабе.



Макс Раабе выступает на церемонии открытия Берлинского кинофестиваля. 11 февраля 2010 года

Макс Раабе провел детство в городе Люнене (земля Северный Рейн – Вестфалия) и первые шаги в музыке сделал в церковном хоре. В возрасте 22 лет он переехал в Берлин, где закончил Университет искусств по специальности «оперный певец». «Palast Orchester» появился на свет в 1986 году, когда Макс Раабе познакомился в пиццерии с музыкантом по имени Вернер Леонард. Они собрали группу единомышленников, чтобы исполнять старые ресторанные шлягеры и песни из фильмов

первой половины XX века. Собственно, самая справедливая аналогия для «Palast Orchester» – оркестр из фойе кинотеатра. Зрители собираются, киномеханик заряжает пленку, звучит легкая музыка. На сцене – ритм-секция, шестеро духовиков, гитара, фортепиано и немного аутичный фронтмен с нежным карамельным баритоном.

«Palast Orchester» играл в основном на танцах. Весь Берлин обожал Раабе и его музыкантов, в 1988 году они уже выпустили дебютный диск, но серьезный рывок произошел лишь четыре года спустя, когда на телевидении появилась песня «Kein Schwein Ruft Mich An» – тонкая подделка под кабаре 1920-х годов. Название переводилось как «Почему ни одна свинья не звонит мне?». Макс Раабе выдерживал образ денди времен Веймарской республики с блеском, балансируя на грани стилизации и откровенной карикатуры. Нация дружно закачивала хит себе на автоответчики, а позже песня стала одним из первых рингтонов-бестселлеров. В 1994 году масла в огонь популярности «Palast Orchester» подлил кинематограф. Звезда Макса Раабе всходила одновременно со звездой Тиля Швайгера. Малоизвестный актер снялся в фильме «Самый желанный мужчина», который тут же стал предметом всеобщего обсуждения благодаря неоднозначной трактовке темы гомофобии, и там же случился кинодебют «Palast Orchester». Режиссер Зонке Вортманн буквально влюбился в «Palast Orchester». Они продолжили сотрудничество в фильме «Тетка Чарли» – вольной интерпретации английской пьесы конца XIX века, послужившей среди прочего основой для бессмертной отечественной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!». А в конце десятилетия в фан-клуб Макса Раабе записался сам Вернер Херцог. Оркестр появился в его фильме «Непобедимый». Для Берлина «Palast Orchester» был уже чем-то вроде национального достояния. Свои дни рождения коллектив справлял на любимой горожанами площади для танцев Вальдбюне, и первый же праздник собрал 17 тыс. зрителей. Однако, чтобы добиться признания за рубежом, оркестру потребовался еще один серьезный рывок.

В 2000 году ради шутки «Palast Orchester» записал для альбома «Krokodile und andere Hausfreunde» («Крокодилы и прочие домашние питомцы») кавер-версии песен «Kiss» Принса и «We Will Rock You» «Queen». Волшебный ключ к сердцам зарубежных слушателей оказался в руках Макса Раабе. В альбом «Super Hits» (2001) наряду с переизданными «Kiss» и «We Will Rock You» вошли хиты «Blue (Da Ba Dee)» «Eiffel 65», «Super Trouper» «ABBA», «Bongo Bong» Ману Чао, «Oops. I Did It Again» Бритни Спирс, «Sex Bomb» Тома Джонса, «Mambo № 5» Лу Бега, а также популярное тогда произведение из репертуара группы «ATC» «Around The World (La La La La La)», авторство которого принадлежало музыкантам российской группы «Руки вверх!». На волне успеха «Super Hits» диск «Palast Orchester» записал диск-сиквел и альбом рождественских песен и на этом закончил «хождение в попсу», хотя в концертном репертуаре оркестра блестящие римейки поп-хитов, конечно, остались.

Типичный концерт «Palast Orchester» в 2000-х начинался с какого-нибудь паркового джазового шлягера вроде «Night And Day» Кола Портера, затем следовали вечнозеленые ретрохиты, включая неизменную «Bei Mir Bist Du Schon» Шолома Секунды, потом «Palast Orchester» вспоминали свои альбомы, посвященные бразильской музыке, и лишь в середине вечера обращались к мировым хитам. Макс Раабе представал на сцене в комическом амплуа. Он выглядел, как невозмутимая кукла с остановившимся взглядом из «Необыкновенного концерта» Сергея Образцова, и, как положено кукле, за комедийный эффект отвечала единственная деталь, а именно – бровь. Смеша, Макс Раабе четко давал понять, что не намерен отступать от своей исследовательской линии, и вперемешку с «super hits» давал Курта Вайля, Марио Ланца, Александра Вертинского и Леонида Утесова. Лишь к концу вечера Макс Раабе позволял коллегам расслабиться и, выбежав на авансцену, вдоволь оттоптаться на актуальных хитах. В середине десятилетия масштаб

предприятия герра Раабе был таков, что на берлинских шоу оркестру ежевечерне помогал настоящий балет не хуже «Фридрихштадтпалас».

В начале 2010 года Макс Раабе выпустил диск «Ubers Meer» («За морями»), в котором, пожалуй, впервые за годы успеха «Palast Orchester» обошелся без его помощи и практически вышел из образа комического конферансье. Единственный участник «Palast Orchester», принявший участие в записи, – пианист Кристоф Израэль. Он играет на рояле, а Макс Раабе исполняет песни немецких авторов еврейского происхождения, прославившихся во времена Веймарской республики и вынужденных эмигрировать после прихода нацистов. Вальтер Райш, Ханс Май, Фритц Роттер, Вернер Р. Хайманн – искать эти имена стоит, скорее, в энциклопедиях кино, причем в их американских транскрипциях. Макс Раабе в очередной раз взял на себя серьезный исследовательский труд, вытащив на свет Б-жий поэтов и композиторов, которых и в родной Германии сегодня помнит далеко не всякий.

Фактически Макс Раабе вернулся к корням. Когда в 1987 году участники Palast Orchester выбирали песни для своего дебютного диска, старые диски и нотные тетради им приходилось искать на блошиных рынках и в пыльных библиотеках. При нацистах ноты многих известных шлягеров 1920-х годов были конфискованы у владельцев в силу происхождения их авторов. А между тем именно они служили источником вдохновения не только целым поколениям немецких музыкантов, но и, например, Леониду Утесову, который, согласно легенде, создал свой «Теа-джаз» в 1929 году после поездки в Берлин.



Вальтер Райш

Журналист «Радио Свобода» Юрий Векслер вспоминал в программе, посвященной «Palast Orchester»: «В основе всего лежал уникальный репертуар, блистающие остроумием тексты тех авторов, которые были вынуждены в 1933 году покинуть Германию. Может быть, кастрация тогдашнего репертуара оркестров в конечном итоге и навела нацистов на мысль вообще запретить танцы как таковые, что привело к безработице чудесных оркестров. А до нацистов никого не интересовало происхождение, например, участников легендарного вокального ансамбля “The Comedian Harmonists” – первого в мире мужского эстрадного вокального квинтета, в котором вместе пели и евреи и немцы». Макс Раабе, к слову, не обошел вниманием «The Comedian Harmonists». Песни из их наследия входят в репертуар «Palast Orchester» наряду с пятью

сотнями шлягеров, возвращенных к жизни коллективом. В частности, «Veronika, Der Lenz Ist Da» («Вероника, пришла весна»), песня Вальтера Юрманна, австрийца, сотрудничавшего с поэтом-песенником Фритцем Роттером. Юрманна высоко ценили Рихард Штраус и Имре Кальман. После прихода нацистов Юрманну и Роттеру пришлось эмигрировать. Авторам-песенникам повезло: они, как и их коллеги Вернер Р. Хайманн, Фридрих Холлендер и Миша Сполянский, нашли работу в Голливуде. Однако потрясение от расставания с родиной было столь сильным, что Вальтер Юрманн, например, прекратил сочинять музыку в 1943 году, когда ему было 40, оставив свое ремесло на долгих 28 лет, которые ему было суждено прожить.

Записывая «Ubers Meer», Макс Раабе каким-то образом сумел остаться в привычном образе, но уйти от кондитерской приторности, свойственной хитам «Palast Orchester». Он чувствует себя в среде немецкой музыки 1920-х как рыба в воде и теперь, получив всемирную славу, может говорить о музыке, которую любит, не только с соотечественниками, но и со своими поклонниками за рубежом, там, где о воспеваемой им эпохе знают преимущественно по фильму Боба Фосса «Кабаре». Удивительным образом Макс Раабе оказывается в той же роли исследователя немецкого мифа, использующего инструменты поп-культуры, в которой долгие годы уютно чувствуют себя «Rammstein». Только в жанре, который исповедует герр Раабе, ему не обойтись без отсылок к мифу еврейскому.

ДИНАСТИЯ «ЕДОКОВ» ЛЮБАРОВА

Оксана Алексеева

В московской галерее «Дом Нащокина» проходит выставка художника Владимира Любарова «Едоки». Первое, что подмечаешь: герои всех картин новой серии едят. Причем так же, как и живут. Но независимо от того, что они едят – отварную картошечку, квашеную капустку, макароны по-флотски или фаршированную щуку, – делают это с искренним и нескрываемым удовольствием и за праздничным столом, и на малогабаритной кухне, и на лужайке в погожий день. Надо сказать, от еды, питья и общения «любаровцы» получают настоящее удовольствие, умеют в полной мере радоваться жизни и совсем не страдают модной анорексией.



Владимир Любаров. Рыба Фиш. 2001 год

А художник внимательно наблюдает за своими едоками. «Гастрономическая реальность» важна ему не сама по себе, а как возможность «проявить» людей, их мечты, помыслы, чувства. И напротив, людские эмоции, потаенные мысли материализуются в «любаровских застольях». По еде-питью «едоков» легко читаются их судьбы. Откуда у художника такое кулинарное чутье, такое удивительное, ироничное и философское понимание взаимосвязи образа жизни человека с его вкусовыми и гастрономическими пристрастиями? Откуда это у вас, Владимир?

– От бабушки Сони. Она всю свою жизнь волшебным образом готовила! Это очень нравилось всем вокруг! Она родилась в конце XIX века в Польше, жила в разных местечках на Украине. Рассказывала мне про тесноту и бедность той жизни и про то, что есть такой человек раввин, очень мудрый, к которому все приходят за советом. Еще до революции она открыла свою харчевню, у нее были постоянные посетители, харчевню

любили и ходили есть «к мадам Любаровой». Помимо собственной харчевни у бабушки было четверо детей (один из них мой отец) и дедушка. Дедушка был картежником и с завидным постоянством проигрывал то, что бабушка зарабатывала.

– Какое самое яркое кулинарное воспоминание детства?

– Конечно же гефилте фиш! Фаршированная рыба! Это было, прежде всего, колоссальное действо, не столько приготовление еды, сколько священнодействие. А есть рыбу я, как и большинство детей, не очень любил. Куда вкуснее для меня были тейгелех, сладкие медовые шарики-печенья.

Оказалось, Владимир Любаров пишет не только портреты «едоков», но и не менее трогательные рассказы о них, в которых также немало вкусного.

Рыба-фиш

Рыба-фиш, она же гефилте фиш, она же фаршированная рыба, появлялась на нашем столе в праздники. Когда бабушка Соня готовила рыбу-фиш, даже наши соседи, которым обычно позарез нужно было начинать готовить, стирать и мыться на кухне тогда же, когда это делали мы, переставали мельтешить и уважительно поглядывали на бабушку Соню из коридора, поскольку понимали, что это – священнодействие.

Я помню, как накануне мы с бабушкой ходили в соседний «Гастроном». Шли напрямик в рыбный отдел. Там продавщица в резиновом фартуке и резиновых перчатках по локоть вылавливала из гигантской деревянной бочки здоровенных щук. Продавщица бабушку знала и, видимо, уважала в ней специалиста, потому что без обычного своего раздражения доставала из бочки рыбин, одну за другой, и демонстрировала их с гордостью, будто сама поймала.

– Красавица! – говорила она бабушке, поворачивая разными боками очередную щуку. Бабушка оглядывала ее взглядом хирурга – и забраковывала по одной лишь ей ведомой причине. В конце концов из всех щук выбиралась самая «ровная», и мы с энтузиазмом тащили в авоське домой пахнущую тинной страхолюдину, щерившуюся навстречу проходим.

Дома бабушка извлекала из-под их с дедушкой кровати огромную плоскую кастрюлю, чудом уцелевшую с тех самых дореволюционных времен, когда бабушка держала харчевню «У мадам Любаровой».

Кастрюля для рыбы-фиш, единственная свидетельница бабушкиной кулинарной славы, пережила все скитания семьи и даже не погибла в эвакуации, что было совсем удивительно, учитывая ее размеры. Кастрюля ставилась на две, а то и на три керосинки – недостающие нам почтительно одалживали соседи. Но до этого бабушка специальным ножом аккуратно вырезала из щуки всю мякоть – так, чтобы не повредить кожу.

Вооружившись двумя парами очков – в одних она уже плохо видела, – бабушка, что-то бормоча себе под нос на идише, рассматривала щучьи внутренности. Какие-то забраковывала, какие-то откладывала в сторону, а потом промывала в семи водах. Обязательно в семи! Мою мать, свою невестку, она однажды заподозрила в том, что внутренности были промыты лишь в пяти водах, и с той поры при готовке рыбы полностью отказала ей в доверии.

Потом щучья мякоть, промытые внутренности, вымоченный в воде белый хлеб и порезанный лук прокручивались в мясорубке. По-моему, тоже не один раз, этого я почти не помню, потому что, сидя в уголке кухни на табуретке, на стадии мясорубки начинал клевать носом и уплывать в пропитанный пряными запахами сон. Но бабушка меня не гнала, она почему-то любила держать меня свидетелем своего звездного часа.

Я совершенно не понимал, почему все провернутое требовалось засунуть назад в рыбу кожу – так, чтобы опять получилась щука, но с другой начинкой. В этот момент, пока бабушка-хирург зашивала щуку, все старались не дышать и не произносить ни слова.

В отличие от меня, мой отец считал наполнение щуки фаршем очень важным и полезным делом. Потому что главным достоинством рыбы-фиш мой отец называл безопасность.

– Ты меня извини, – растолковывал он всякий раз мне, имевшему неосторожность однажды поинтересоваться, зачем из щуки сначала все вынимают, а потом запихивают обратно. – Рыбу есть вообще опасно – в ней сотни мелких костей. Можно подавиться и задохнуться. – А рыба-фиш, – говорил он, подняв вверх указательный палец, – в этом смысле АБСОЛЮТНО безопасна!

Дно кастрюли выстилалось ровно нарезанными ломтиками свеклы и моркови. Еще туда добавлялся чеснок, перчик, лавровый лист и специи из бабушкиных тайных мешочков, которые она засыпала в кастрюлю как алхимик, тихонько бормоча нараспев какие-то, как мне казалось, древние заклинания.

С превеликой осторожностью на свеклу с морковью кусочками, но сохраняя первозданную форму, выкладывалась фаршированная рыба, поверх нее доливалась вода, и начинался процесс варки, длившийся три-четыре часа.

Пока рыба варилась, вся наша коммуналка наполнялась волшебным ароматом. Все мы ходили с добрыми, слегка тревожными лицами и кивали друг другу при встрече, как посвященные в великую тайну.

В какой-то миг, известный одной лишь ей, бабушка подсакивала и бежала гасить керосинки. Рыба-фиш специальными лопаточками выкладывалась на дно глубокого длинного блюда и заливалась небольшим бульонным озером, из которого по мере остывания получалось желе. Перед подачей на стол, что обычно происходило на следующий день, весь наш коллектив украшал рыбу-фиш кусочками лимона, кустиками укропа и петрушки, морковные и свекольные дольки вырезались зубчиками, и в конце концов наша щука становилась столь прекрасной, что ее было даже жалко есть. Ею хотелось любоваться.

Рецепт

1 кг рыбы (щуки или карпа); 3–4 средние свеклы; 3 моркови; 2 яйца; 120 мл холодной воды; 1/3 батона бездрожжевого хлеба или 2–3 листа мацы; 2–3 луковицы; 1–2 щепотки *молотой корицы*; 1 ч. л. *сахарного песка*; 3–4 лавровых листа; чеснок, соль и *черный молотый перец*.

Рыбу очистить от чешуи. Сделать продольный разрез, аккуратно, не повредив кожи, вынуть, отсортировать и промыть внутренности, вырезать мякоть у позвоночника, отделить филе от костей. Рыбное филе пропустить через мясорубку

вместе с сырым луком и замоченной в воде булкой. В полученный фарш добавить яйцо, соль, перец. Заполнить фаршем рыбу и зашить ее. На дно кастрюли уложить кольца репчатого лука, ломти свеклы и моркови, на них аккуратно положить рыбу и залить холодной водой так, чтобы рыба была закрыта. Варить при открытой крышке часа три.

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

В СТОРОНЕ ОТ ШУМА, ИЛИ ШУМ ВОКРУГ «ШИНА»

Марк Зайчик

Глядя на этого грузного, слегка прихрамывающего человека, трудно представить, что это тот самый поджарый, длинноногий юноша, который еще совсем недавно вел за собой полузащиту сборной страны. И не только полузащиту, он всю команду вел. Тем не менее это он – Ицхак Шум, бывший капитан сборной Израиля по футболу, неутомимый, оригинально мыслящий, умевший отбирать мячи даже у самых техничных нападающих, обладавший сокрушительным ударом с обеих ног.



Ицхак Шум

Ицхак Морисович Шум родился в СССР в 1948 году, в возрасте 10 лет репатрировался в Израиль. Свободно говорит по-русски. В основной состав клуба из Кфар-Сабы попал в 16 лет. В национальной сборной Израиля отыграл 12 сезонов – 76 матчей, 9 голов. Участник двух Олимпиад – 1968 и 1976 годов и чемпионата мира 1970 года. Всего этого он добился под руководством замечательного тренера израильской сборной Эммануила Шеффера.

В мире футбола Ицхак Шум известен как третье составляющее звено линии полузащиты израильской сборной. Остальные два игрока той же линии – Гиора Шпигель

и Мордехай Шпиглер – также фигуры легендарные в израильском футболе. Фамилии всех трех футболистов начинаются на букву «шин» – вот и стали их называть «три шина».

Тренерская карьера Шума не менее яркая, запоминающаяся. Восемь лет, с 1992 по 2000 год, он был вторым тренером сборной у главного наставника Шломо Шерфа, затем два года работал «вторым» у датчанина Ричарда Нильсена, сменившего Шерфа на посту главного в национальной команде Израиля. Шум ждал назначения на должность старшего тренера сборной и после каденции Шерфа и Нильсена, и после нынешней каденции Дрора Каштана. На наш взгляд, он был достоин этого поста, однако так его и не получил: ни тогда, ни сейчас.

Шум ярко отработал на посту тренера клуба «Маккаби» (Хайфа), выиграв чемпионский титул и кубок страны и выведя эту команду в групповой турнир Лиги чемпионов – впервые в истории местного футбола. После этого -он добился сходного успеха с греческим «Панатинаикосом», что расценивалось многими как невероятное достижение для малоизвестного иностранного специалиста. До сих пор Шум для греческих яростных фанов – маг, футбольный чародей. У себя же на родине – совсем наоборот. Судьба тренера, особенно футбольного, во всех странах Средиземноморья без исключения очень непоста и непредсказуема.

Всего Ицхак Шум работал тренером в восьми командах, среди которых такие клубы, как «Алания» (Владикавказ), «А-Поэль» (Тель-Авив), «А-Поэль» (Кфар-Саба).

В Израиле Шум выигрывал дубль (золотые медали и кубок страны) со столичным клубом «Бейтар», показывая со своими подопечными яркий, атакующий футбол. Шум часто говорит, что предпочитает атаку обороне, и подтверждает свои слова делом. Он доказывает это всей своей тренерской карьерой и «почерком» своих команд, которые играют только вперед, зачастую вопреки футбольной логике, да и возможностям тоже.

Из «Бейтара», популярнейшей в Израиле команды, Шум уходил два раза, по одним и тем же, рутинным для людей его профессии, причинам. В Иерусалиме Шум пережил разные периоды: влюбленности фанатов клуба, страшного раздражения неблагодарной торсиды команды, полной несовместимости с руководителями «Бейтара» и, что совсем печально, со своими же игроками. Так бывает: когда ни у кого нет уверенности в будущем, футболисты не хотят играть под началом именно этого тренера, а болельщики требуют отставки даже после побед и ничьих. Шум ушел из «Бейтара» сам, под молчаливый гул одобрения трибун, игроков и администраторов – он не был ни в чем виноват, команда по ряду причин попала в финансовый кризис и показывать уверенный футбол просто не могла.

Своих футбольных знаний и амбиций Ицхак Шум не растерял, остался тренером, который 25 часов в сутки думает только о футболе. Имя Шума называли среди тех, кто может унаследовать пост главного тренера национальной сборной Израиля после Дрора Каштана. Последний не смог вывести команду в финальный турнир чемпионата мира в ЮАР и расстался со сборной в подавленном и раздраженном состоянии. Его можно понять, ведь объективно выход в финал, несмотря на оптимистические прогнозы, был почти невозможен. Поиски нового тренера сборной Израиля проводились энергично и долго, их возглавила специально созданная комиссия, во главе которой стоял бывший коллега Шума, один из трех «шинов», Мордехай Шпиглер – Мотеле, как называет его вся страна, несмотря на возраст, авторитет и седины. И тут президент Федерации футбола Израиля Ави Лузон заявил, что тренером сборной должен стать иностранный специалист,

выделив для этой цели рекордную по меркам местного футбола сумму – 10 млн шекелей. Шпиглер с коллегами стали искать тренера за рубежом. Реальной была также кандидатура умного тактика, удачливого практика Эли Гутмана из «А-Поэля» (Тель-Авив). В Израиле активную пиар-кампанию проводил бывший игрок сборной, девять сезонов удачно отыгравший в английской премьер-лиге, Эйяль Беркович. Шум остался несколько в стороне от этого шума – период времени не совпал с его звездным футбольным часом. Вопрос, кого же все-таки выберут израильские специалисты, остается пока открытым.



**Ицхак Шум на тренировке афинского «Панатинаикоса» перед Лигой чемпионов.
Штутгарт. 21 октября 2003 года**

А тем временем прошла жеребьевка ЧЕ 2012 года. Израиль опять получил в соперники Грецию, Сербию, Латвию (с этими командами израильтяне уже встречались в последних отборочных циклах) и Грузию. Игры нового отборочного турнира должны начаться уже в августе этого года.

И тут из Греции поступило сообщение, которое можно было бы сравнить со взрывом небольшой кассетной бомбы: Федерация футбола Греции предложила Ицхаку Шуму пост главного тренера своей национальной команды! Согласно греческим, российским и израильским СМИ, Шум уже побывал в Греции и подписал рабочий контракт с ФФГ. Официального сообщения об этом еще нет, оно задерживается по понятным причинам: тренер сборной Греции, 72-летний Отто Рехагель, знаменитый немецкий специалист, почти обожествленный греками за победу в ЧЕ-2004 в Португалии, пока еще продолжает работать с командой. Судя по некоторым источникам, Ицхак Шум займет свой пост 1 июля этого года.

Жизнь часто закручивает такую сюжетную спираль, которая не придет в голову и самому невероятному фантазеру. Ну кто бы мог подумать, что в отборочном турнире 2012 года сборной Израиля будет противостоять сборная Греции под руководством израильского тренера Ицхака Шума! И что теперь возразят те, кто ни в какую не хотел видеть Шума на посту тренера израильской сборной?

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

ВЛАДИМИР МОТЫЛЬ.

РЕЖИССЕР НАЦИОНАЛЬНОГО МИФА

21 февраля в Москве скончался выдающийся отечественный кинорежиссер, народный артист России Владимир Яковлевич Мотыль.



Есть фильмы, которые отвечают за состав мифологического национального сознания. Немногим режиссерам удастся за свою жизнь снять более одной такой кинокартины. Владимир Яковлевич Мотыль снял три таких фильма.

Режиссер театра и кино, сценарист, народный артист России, Владимир Мотыль родился в белорусском городке Лепель в еврейской семье. Его отец, уроженец местечка Гостынич Варшавской губернии, слесарь минского завода «Коммунар» Яков Давыдович Мотыль, через три года после рождения сына был арестован по обвинению в шпионской деятельности и отправлен в лагерь на Соловки, где меньше чем через год погиб. Мать, выпускница Петроградского педагогического института имени А.И. Герцена Берта Антоновна Левина, работала воспитательницей в колонии для малолетних преступников под руководством А.С. Макаренко и впоследствии завучем детского дома для детей репрессированных в городе Оса Пермской области. Детские годы Владимир Мотыль провел с матерью в ссылке на Урале. Дед и бабушка по материнской линии также были сосланы на Дальний Восток, а после возвращения в Белоруссию погибли в гетто в годы немецкой оккупации.

В уральских городках мать Володи работала сутками, и для школьника единственным средством познания мира была узкопленочная передвижка. Черно-белые немые киноленты завораживали. Тогда и возникла вера: «Вырасту – буду делать кино». В начальных классах школы в городе Оса Володя организует кружок, ставит одноактные пьесы, где сам играет главные роли и расписывает картонные декорации. Режиссер вспоминал, что тогда для полного счастья ему нужен был только журнал «Советский экран», который для него выписывала мать...

Владимир Яковлевич Мотыль в 1948 году закончил актерское отделение Свердловского театрального института и через девять лет заочно исторический факультет Свердловского университета. Работал режиссером Свердловского драматического театра,

затем актером и режиссером в театрах в Сталиногорске (ныне Новомосковск Тульской области) и в Нижнем Тагиле. С 1955 года – главный режиссер Свердловского театра юного зрителя. В 1957–1960 годах был режиссером Свердловской киностудии. Свой первый фильм, «Дети Памира», Мотыль снял в 1963-м на Таджикской киностудии. В 1967-м снял комедию на военную тему «Женя, Женечка и “катюша”» по сценарию, написанному совместно с Булатом Окуджавой. Всенародную известность режиссеру принес фильм «Белое солнце пустыни». В 1975 году Мотыль выпускает фильм «Звезда пленительного счастья» о судьбах декабристов. В 1976–1985 годах Владимир Мотыль руководит Студией художественных фильмов творческого объединения «Экран». В 1990-х годах часто выступает как художественный руководитель в фильмах молодых режиссеров.

В 2004 году Владимир Яковлевич приступил к съемкам фильма, действие которого основано на реальных фактах из жизни его родителей, под названием «Багровый цвет снегопада».

«Женя, Женечка и “катюша”», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» – любое из этих названий с лету вызывает в памяти либо строчки песен, либо кадр, либо реплику. Одно упоминание этих фильмов провоцирует у зрителя безусловную реакцию – снова и снова их пересмотреть. Кто откажется еще раз улыбнуться, услышав «Махмуд, поджигай!», или «Таможня дает добро!», или когда Спартак Мишулин после очередной заварушки пожимает плечами: «Стреляли!» Несомненно, общество должно быть благодарно Владимиру Яковлевичу за крепкое вживание в народные чаяния образов безвестных красноармейцев и знаменитых декабристов. За выдающиеся роли великолепных актеров, за мелодии, остающиеся на слуху у нескольких поколений. За народный миф и национальный дух, им питаемый, ибо режиссеры такого легендарного уровня есть бесценное достояние нации.

Александр Кузнецов

ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2010 НИСАН 5770 – 4(216)

Оксана Алексеева журналист, ведущий редактор журнала «Shape-Меню». Лауреат премии ФЕОР «Человек года – 2002».

Роман Арбитман (р. 1962) литературный критик. Автор «Истории советской фантастики» и нескольких детективных романов (под маской Льва Гурского).

Борис Барабанов (р. 1973) журналист, музыкальный обозреватель Издательского дома «Коммерсантъ».

Илья Баркусский (р. 1972) специалист по истории восточноевропейского еврейства в XIX веке. Преподаватель Академии им. Маймонида и кафедры иудаики Института стран Азии и Африки при МГУ.

Жанна Васильева арт-критик, сотрудничает в изданиях «Литературная газета», «Сегодня», «Персона» и др.

Матвей Ганапольский (р. 1953) журналист, теле- и радиоведущий. Лауреат многих журналистских премий: финалист «Тэффи», «Телегранда», премии ФЕОР «Человек года – 2009».

Михаил Горелик (р. 1946) эссеист, публицист, литературный критик. Автор книги «Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем» (2003).

Хаим Граде (1919–1982) крупнейший еврейский писатель XX века. Писал на идише. Получил светское и традиционное еврейское образование. Дебютировал как поэт, был членом литературной группы «Юнг Вильне». Автор стихов, романов «Безмужняя жена», «Цемах Атлас», сборника рассказов «Немой миньян».

Борис Гройс (р. 1947) философ, теоретик искусства и медиатеории (Высшая школа дизайна [HfG], Карлсруэ). С 2009 года профессор Нью-Йоркского университета (NYU).

Ольга Демидова историк (русская эмиграция, женское творчество, русско-еврейские культурные связи. Профессор РГПУ им. А.И. Герцена.

Валерий Дымшиц (р. 1959) этнограф, литературовед, переводчик («Тяжба с ветром» [Антология еврейской литературной сказки]; «Книга рая» Ицика Мангера). Директор центра «Петербургская иудаика».

Марк Зайчик (р. 1947) журналист («Континент», «22»), прозаик («Сделано в СССР», «Иерусалимские рассказы»).

Александр Иличевский (р. 1970) прозаик, поэт: «Случай», «Не-зрение», «Ай-Петри». Лауреат премий им. Ю. Казакова (2006) и «Русский Букер» (2007).

Анна Исакова журналист, прозаик («Ах, эта черная луна!»). Литературный обозреватель газеты «А-арец».

Борис Клиш (р. 1970) журналист, обозреватель газеты «Известия». Лауреат премии ФЕОР «Человек года – 2006».

Аркадий Ковельман (р. 1949) историк, заведующий кафедрой иудаики Института стран Азии и Африки при МГУ. Основные работы: «Риторика в тени пирамид: массовое сознание римского Египта», «Эллинизм и еврейская культура».

Сергей Костырко (р. 1949) критик, эссеист, прозаик: «Шлягеры прошлого лета», «Простодушное чтение». Литкуратор сайта «Журнальный зал».

Евгений Левин (р. 1973) журналист, переводчик, автор пособий по еврейской традиции.

Михаил Липкин (р. 1966) переводчик с английского и иврита («Пять отцов-основателей сионизма» Бенциона Нетаньяху).

Александр Локшин (р. 1950) историк. Автор статей и публикаций по истории и культуре евреев России и СССР.

Ирина Мак журналист, обозреватель «Известий».

Афанасий Мамедов (р. 1960) писатель. Автор романов «Хазарский ветер» и «Фрау Шрам».

Алексей Мокроусов (р. 1965) литературный и художественный критик, печатается в «Коммерсанте» и «Ведомостях».

Синтия Озик американская писательница, автор более десятка книг – романов, сборников рассказов и эссе. Награждена множеством премий, в том числе премией Бернарда Маламуда.

Нелли Портнова литературовед, доктор философии. Автор-составитель хрестоматии «Быть евреем в России».

Евгений Рашковский (р. 1940) поэт, переводчик, доктор исторических наук, специалист в области библеистики, философии и отечественной истории.

Елена Римон литературовед, переводчик, доцент кафедры еврейского наследия в израильском университетском центре «Ариэль».

Ицхак Стрешинский (р. 1980) библеист, переводчик, автор статей по еврейской истории.

Михаил Шнейдер (р. 1957) доктор философии Еврейского университета в Иерусалиме. Перевел на русский сидур «Теилат Ашем», «Законы основ Торы» и «Законы раскаяния» Рамбама.

Андрей Шпирт (р. 1979) историк, специалист по еврейско-христианским отношениям в Восточной Европе XVI–XVIII веков. Сотрудник Центра украинистики и белорусистики МГУ.

Адин Эвен-Израэль (Штейнзальц) (р. 1937) раввин, педагог, ученый. Основатель новаторских учебных заведений и просветительских организаций в Израиле и СНГ,

в том числе Института изучения иудаизма (1990). В 1988 году удостоен высшей награды еврейского государства – Премии Израиля.